йозеф хазлингер

венский бал



Венский бал
Йозеф Хазлингер

Аннотация
Йозеф Хазлингер. Венский бал
Оператор
  Инженер. Пленка 1
  Фриц Амон, полицейский. Пленка 1
Освобождение
  Инженер. Пленка 2
  Фриц Амон, полицейский. Пленка 2
Испытание
  Инженер. Пленка 3
  Фриц Амон, полицейский. Пленка 3
Назад, в Старый свет
  Инженер. Пленка 4
  Фриц Амон, полицейский. Пленка 4
  Инженер. Пленка 5
Контракт
  Рихард Шмидляйтнер, фабрикант. Пленка 1
  Фриц Амон, полицейский. Пленка 5
  Инженер. Пленка 6
  Клаудиа Рёлер, домохозяйка. Пленка 1
  Инженер. Пленка 7
Боль воспоминаний

Рихард Шмидляйтнер, фабрикант. Пленка 2
Инженер. Пленка 8
Клаудиа Рёлер, домохозяйка. Пленка 2
Инженер. Пленка 9
Рихард Шмидляйтнер, фабрикант. Пленка 3
Реквием
Инженер. Пленка 10
Клаудиа Рёлер, домохозяйка. Пленка 3
Блуждая в поисках истины

Аннотация

Йозеф Хазлингер – австрийский писатель, драматург, эссеист. Лауреат многих престижных литературных премий.

Роман «Венский бал» вышел в 1995 году, а вскоре по нему был снят фильм. И действительно, эта динамичная, напряженная, захватывающая проза словно специально создана для яркой экранизации.

Герой романа, известный тележурналист, в прямом эфире видел смерть собственного сына. И теперь он занят расследованием страшной трагедии – гибели сотен людей во время ежегодного светского бала в Венской опере, трансляция которого шла в реальном времени на десятки стран.

Кто был заинтересован в этой трагедии – некие экстремистские организации, политики, полиция, а может быть, средства массовой информации?

Эта жесткая книга сейчас читается как пророчество катастроф в прямом эфире, будь то 11 сентября в Нью-Йорке или захват и штурм «Норд-Оста».

Йозеф Хазлингер
Венский бал

РЕЗО ДОРФ ОСТАЕТСЯ «КРЕСТЬЯНСКИМ ВОЖАКОМ»

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ВНОВЬ НА ТРИБУНЕ

Начальник венской полиции Резо Дорф, сумевший снискать широкую известность энергичными выражениями в простонародном духе, начинает свою речь на площади Героев по случаю приведения к присяге новых руководителей районных управлений с ноты горестного раздумья.

– Разве это не испытание? – вопрошает он, имея в виду катастрофу в Опере. – Не тяжкое испытание, выпавшее на долю страны в мирное время?

После этих слов оратор переходит в более жесткую тональность.

– Почему, – гремит он над головами новоиспеченных начальников, – почему мы вовремя не рванули вожжи? Почему подставили лбы этому отребью? Почему не склепали стальным молотом еще не до конца расползшиеся швы? Почему не выгребли, не вымели, не вырвали с

корнем сорняки, когда они только проклюнулись?

– Власть без сильной руки, – вразумлял Резо Дорф застывших по стойке «смирно» деревенских «молодцев», – не только обречена на захирение, но и пускает под откос государство.

В марте, при вступлении в должность, Резо Дорф назвал себя «крестьянским вожаком». Полицейский, по его словам, должен быть таким же недоверчивым, как и крестьянин.

Речь перед начальниками нового призыва с каждой фразой становится все более образной. Цитируем дословно:

– Мы недооценили этих выродков, мы считали этих фанатиков чуть ли не шаловливыми щенками, мы позволяли им паскудничать, лапать все и вся, глумиться и осквернять. «Это же хлюпики, – говорили мы. – Это бздёх в трамвае, надо просто зажать нос и открыть окошко». И мы еще смеялись. Кое-кто из нас наверняка вспомнит свои шапкозакидательские заверения: «Они у нас под колпаком!», «Если обнаглеют, из шлангов

с улиц смоем!», «Прогоним их за Дунай!».

Но всем стало вдруг не до смеха, когда выяснилось, что в этих рассадниках полуобезьян, крыс и навозных мух вызрели такие злодеи, опаснее которых еще не знала страна. А когда гром грянул, когда было уже поздно кулаками махать, наш щит оказался трухлявой деревяшкой.

И вот наше терпение уже на пределе, а мы знай себе принимаем делегации борцов за права человека, лебезим, показываем им тюрьмы. Это, видите ли, в духе либерализма, толерантности, плюрализма мнений, права на демонстрации. Но все, черт побери, имеет свои границы.

Когда паршивый пес задирает ногу… Я знаю, меня будут костерить почем зря за мои обороты речи. Но изящная словесность тут вовсе не уместна, – сказал Резо Дорф и не преминул прояснить смысл своей метафоры: – Когда пес задирает ногу, его зловонная метка вскоре исчезает в песке на обочине. Но с этими тварями все иначе. Мы отдали им обочины, не подозревая о том, что уж тут удержу не будет, что смрадная жижа потечет рекой, что

нам всюду придется шлепать по лужам нечистот, которые зимой покрываются тонким ледком с желтыми пузырями, что все дороги уже подмыты вонючими ручьями, что клоака беспрерывно взбухает, заболачивает плодородную почву и поражает гнилью все здоровое, пока не скопится огромное мочехранилище, море жидкой мерзости, лоно смрада, смерти и тления, где разовьются такие существа, которых еще земля не носила. С этим надо было кончать одним ударом, но мы проваландались, прохлопали…

В церемонии принял также участие президент Республики. По окончании торжества на вопрос о том, как ему понравилась речь Резо Дорфа, он ответил: «Я бы использовал иные выражения, но в принципе начальник венской полиции, конечно же, прав».

АПН[1]**».**

---

[1] Примечания: 1
Агентство австрийской печати.

Оператор

Фред мертв. Французы не защитили его. Когда людей истребляют, как насекомых, вся Европа наблюдает за этим по телевизору. Фред был среди погибших. «Все в деснице Божьей!» — слышал я еще ребенком. Мне рисовался в небе большой палец гигантской руки, который надвигается на землю, чтобы раздавить меня, как букашку. В минуты опасности или неуверенности Фред говорил: «Французы защитят меня».

В ту ночь я сидел за режиссерским пультом большого студийного автобуса. Передо мной — стена из мониторов. Задействована была как раз та камера, что в углу сцены. И вдруг по рядам танцующих пробежала какая-то странная дрожь, будто что-то тряхнуло всех разом. Музыка разладилась, переходя в какофонию, через три-четыре секунды инструменты один за другим онемели. Я переключил на крупный план камеру в ложе и пробежал глазами по мониторам. Везде почти одна и та же картина. Людей словно штормило: все пошатываются, ищут опоры, спотыкаются, исходят рвотой. Отчаянные усилия устоять на

ногах, удержать равновесие. Крики из сотен глоток больше похожи на предсмертные хрипы. Кто-то уже падает как куль. Одни кричат, другие лишь вскрикивают. Люди видят, чувствуют, что их убивают. Только вот кто и почему? От смерти им уже не уйти.

Фреда я не нашел на экранах. Он был тогда единственной моей мыслью, насколько могу сейчас вспомнить. Но, судя по записи, я механически сменил еще несколько ракурсов, пока слушались руки. Миллионы телезрителей всей Европы видели, как умирают гости на балу в Венской опере.

Фред стал мои сыном в полном смысле слова, когда ему было семнадцать и он не мог без героина. Я начал бороться за него. Он выкарабкался. Он не хотел отступать. Он уже не был опасен для самого себя. Фред держался. И вот его убили. Все мы видели это и ничего не могли сделать.

Со мной было несколько техников. У одного хватило самообладания, чтобы сменить меня за режиссерским пультом. Управляемые камеры стали давать лишь нечто вроде стоп-кадров, выхватывавших череду застывших движений. Беззвучное скольжение по роскошным высоким хоромам, устланным трупами. Сотни трупов в бальных нарядах, вповалку и вразброс лежавших

на залитом рвотой полу под россыпями розовых гвоздик. Три стационарные камеры снова начали ощупывать пространство. Никаких признаков жизни. Рядом со мной кто-то заговорил по-французски. На ватных ногах я шагнул к выходу навстречу шуму. В голове было только одно: я должен спасти Фреда. Снаружи царил хаос. Я пробивался сквозь толпу к дверям театра. И тут я понял, что никаким чудом Фреда уже не спасти. Вернувшись в автобус, я узнал, что должен связаться с Мишелем Ребуассоном, шефом ETB.

«Европейское телевидение» продолжало трансляцию на весь континент. Невыносимо беззвучное изображение. Отключены только две камеры, остальные давали неподвижную картину, каждая свою. Картины выходили на канал, не торопясь сменять друг друга. Кто-то надрывался по телефону: «Музыку! Врубайте же музыку!»

У нас в автобусе не было подходящей записи. Спустя какое-то время из студии, где в эту ночь оставалась только аварийно-техническая служба, стали передавать виолончельный концерт Брамса. Спор о том, ту ли выбрали музыку, длился до окончания второй части. Потом концерт прервали, предоставив эфир полиции и пожарным. Тем временем нашли «Реквием» Моцарта. Каме-

ры продолжали работать. Прошло около часа, пока в заваленных мертвыми телами коридорах Венской государственной оперы не появилось что-то живое, это были мужчины в противогазах и огненно-красных спецкостюмах.

Я видел массовое убийство на двадцати экранах одновременно. В голове одна-единственная мысль: среди трупов Фреда быть не может. Отправился за новой кассетой, спустился в туалет. Передал пятую камеру ассистенту. Вышел покурить. Фред — заядлый курильщик. В зале его нет. Нет, и все. И, однако, я видел, как крик раздирает ему рот, как он падает прямо на прилипшую к нему женщину. Я вижу его безжизненное тело, вижу, как рвотная жижа сочится у него изо рта на белый вечерний туалет дамы. Вижу, как он рывком откидывает голову, как, перевалившись через перила балкона, летит вниз. Я вижу его лицо, притиснутое к какой-то тарелке. Вижу, как судорога корежит его тело. Как его затаптывают сотни ног на парадной лестнице. Я не могу найти Фреда.

В движении всего три камеры. Пятая застыла, приблизив объект. Это, должно быть, ассистент. Фред понял ситуацию и убежал. Фреда уже нет в Опере. Французы защитили его. Ему нашлось де-

ло на Рингштрассе. Он дока по части подъемных платформ. Пятая камера больше не движется. Она уперлась в ложу с трупами. Фред, где ты? Движение прекращает последняя камера. Теперь лишь неподвижные картины неподвижных тел. Фред лежит где-то под горой трупов.

Целый месяц я умирал вслед за ним. Целый месяц я видел, как он умирает. В отснятом материале я нашел то, что можно назвать последними мгновениями его жизни. Целый месяц я изучал их в мельчайших подробностях вновь и вновь. Когда не было слез, я винил себя в душевной немощи, в предательстве. Я слушал «Tears in Heaven»[2] Эрика Клэптона, я слушал «Песни об умерших детях» Густава Малера. И вновь обретал способность плакать.

Помню его мальчонкой со школьной сумкой. В Лондоне. Он сидел на ступеньках у дверей нашего нового дома на Толбот-роуд. Он ждал меня уже не один час. Я должен был вернуться в два, а пришел только в пять. Я забыл про него.

«Раз в неделю, — возмущалась вечером Хедер, — один только раз, и то забыл!»

Фред сидел в своем желтом непромокаемом

---

[2] Примечания: 2
«Слезы небес» *(англ.).*

плащике. Он посмотрел на меня так, будто и знать не знал. Он не подал мне руки. Соседей слева не было дома, с другими мы еще не успели познакомиться. Я без конца просил у него прощения. Он не пошел за мной в дом. Не замечал меня, как пустое место. Я открыл дверь, он оставался сидеть на ступеньках. Я внес его на руках и посадил на диван. За весь вечер он не проронил ни слова. Раздев его и уложив в постель, я сказал, что готов исполнить любое его желание. Пусть просит все, что захочет. Он посмотрел на меня и заплакал. Я утирал ему слезы и гладил его до тех пор, пока он не уснул. Спустя годы, когда после его героинового кошмара мы снова оказались вместе, Фред признался: тогда он уже начал думать, что больше не увидит своих родителей.

Ребенком он часто слышал мои перепалки с Хедер. Препирались мы главным образом из-за него. Фред не был желанным ребенком. Хедер отказалась от аборта. Появление ребенка стало для нас непосильным испытанием, тем более что Хедер снова пошла работать. Она была сотрудником редакции культурных программ радио Би-би-си. Я работал на телевидении, в отделе документальных фильмов. Я внушал себе, что причина нашего раздрая — слишком маленькая

квартира. В конце концов мы переехали в тот район, где я растратил свои студенческие годы. Мы залезли в безмерные долги, когда купили дом на Толбот-роуд, улице, примыкавшей к Портобелло-роуд. Теперь-то сам Бог велел сосредоточиться на интересах профессиональной карьеры. В то время мое поле деятельности ограничивалось стенами студии, и рабочее время было более или менее регламентировано. Хедер же проводила в студии несколько часов до или после обеда, а по вечерам ее носило с одного культурного мероприятия на другое. Тем не менее именно на нее ложилась забота о Фреде. Мой черед приходил только вечером. Чаще всего я нанимал какую-нибудь студентку. И по-настоящему мог заняться им лишь раз в неделю, в те послеобеденные часы, когда Хедер надо было присутствовать на редакционном совещании. Мы ездили в зоологический сад. Мы целые часы проводили в игрушечном отделе универмага «Хэррродс». В который раз отправлялись на стадион, где устраивались собачьи бега. Фред любил собачьи бега. Больше, чем скачки. Больше, чем футбол или регби. И вот случилось так, что однажды я просто забыл про него. Я сидел в студии за монтажным столом. Где-то в половине пятого одна из сотрудниц с

удивлением спросила: «Как? Ты здесь? А Фред у друзей, что ли?»

Поздно вечером, когда Хедер вернулась домой в хорошем настроении и даже навеселе, я рассказал ей о случившемся. Хедер пришла в неописуемую ярость. Если бы я не убрался на улицу, она не пощадила бы ни мебели, ни посуды.

После убийства Фреда я месяц не вылезал из студии, и ничего, кроме последних секунд его жизни, не интересовало меня. Требовалось перекроить и смонтировать весь материал, чтобы получился компактный вариант на 115 минут. Но это было выше моих сил. Я искал Фреда, и я нашел его. Он все-таки на какие-то мгновения попал в фокус камеры, которая прекратила движение последней. Тот, кто управлял ею, явно уже не мог продолжать работу. Камера сама по себе панорамировала вверх, по направлению к люстрам. Сначала — груды мертвых тел в партере, потом резко меняется ракурс, объектив идет вверх, скользит по императорской ложе, захватывает окно комнаты дежурного режиссера и ближнюю к ней ложу, где была установлена пятая камера. Обычно вход в эту ложу невозможен физически, она плотно заставлена прожекторами, которые уже не помещались в осветительных люках. Но

накануне бала прожектора убрали. Фред был очень доволен найденной им позицией, поскольку в осветительской ложе ему не могли помешать участники бала и еще потому, что императорская — место сбора политической элиты — находилась как раз под ним, а значит, была недосягаема для пятой камеры.

Он даже не пытался спастись. Сбоку от него была дверь в режиссерскую. Она осталась закрытой. А оттуда он мог бы попасть в коридор и на служебную лестницу. Все, кто оказался на ней, покидая театр, остались в живых. Эта лестница не имела сообщения с вентиляционной системой здания. Фред не отходил от камеры. Он снимал до конца.

Целый месяц я раз за разом всматривался в последние кадры, снятые его коллегой. Я останавливал их и замедлял движение пленки. Взгляд тянулся вверх, к правому краю императорской ложи, через парапет которой перегнулась чья-то рука с белой манжетой, выпростанной из задравшегося фрачного рукава. И дальше — вдоль бархатной обивки с золотой накладкой к венку из букетов розовых гвоздик, пока не показались окно режиссерской и парапет осветительской ложи. И вдруг в кадре — Фред. Он делает шаг в

сторону, неестественно сгибается и открывает рот, как при рвотном спазме. Правой рукой он еще крепко держит ручку камеры, потом выпрямляется, оставляет камеру, вскидывает руки, теряет равновесие. Глаза безумно округлены. И тут голова исчезает из кадра. Объектив продолжает движение — клубки человеческих тел на верхнем ярусе. Руки, головы, ноги еще подрагивают в конвульсиях. Камера упирается в потолок, и все замирает, когда кадр своим краем захватывает хрустальную люстру. В ноль часов пятьдесят семь минут пятьдесят восемь секунд через микрофон, установленный прямо под пятой камерой, доносится предсмертный крик Фреда. За секунды до этого пятая была еще в объективе. В ноль пятьдесят семь сорок девять съемка оборвалась. Широким планом выхвачена ложа на противоположной стороне. Там сидит мертвая женщина в красном вечернем платье, привалившись боком к парапету, голова откинутая назад, перевесилась через спинку кресла. Глаза широко раскрыты.

На протяжении месяца я видел только этот кошмар. Вечерами сидел дома и пил.

«Would you hold my hand»[3] — молил я и ревел

---

[3] Примечания: 3
Если бы ты подал мне руку *(англ.)*.

в три ручья. Фред и на небесах не подал бы мне руки. Для этого у него были основания.

Когда-то в Брайтоне мы предприняли маленькое морское путешествие вдоль побережья. Фред сидел у меня на коленях. Ему еще не было и двух лет. Берега вовсе не интересовали его. Он смотрел только на море. Потом встал, уперевшись ножками в мои бедра, и взглянул вниз, на кильватерную струю. Я еще крепче обхватил его. Он был заворожен игрой волн. Тянулся вперед, голова была уже за линией поручней. Хедер испугалась: а вдруг я его выроню.

— Но я же держу его, — сказал я.

Она не могла смотреть на это, требовала, чтобы я опустил его на палубу.

— Да не выпущу я его. Чего тут бояться. Он у меня на руках.

Мы переругивались, а Фред смотрел на воду. Потом я снова посадил его на колени. У него покраснели глаза. По щекам катились слезы.

Вот такие воспоминания захлестывали меня, когда я пил рюмку за рюмкой и хватался за голову. Я представлял себе, как кильватерная струя уносит его маленькое тело, как заглатывает его, раскинувшего ручонки, все глубже погружая в мир, где ему не выжить, но которого уже не

избежать. А я даже не заметил этого.

После развода я жил в отеле. Фред остался с Хедер в нашем доме. К тому времени я стал военным корреспондентом Би-би-си и уже поэтому месяцами пропадал в командировках. Потом наступило время, когда войны приняли вялотекущий характер. Горячих точек было предостаточно, но создавалось впечатление, что люди с оружием в руках поистратили свои силы. Свирепые диктатуры, еще вчера ловившие и загонявшие в трудовые лагеря своих обличителей, рушились, не оказывая особого сопротивления. Несколько интервью с лидерами оппозиции, несколько картинок грандиозных манифестаций — и я мог лететь обратно. Я почти не вылезал из отеля в Бейзуотере,[4] уставясь в экран и следя за круглосуточным телетекстом Би-би-си с последними известиями. Я ждал настоящего дела. Чуть ли не через день мне звонили родители, уверяли, что я хоть сейчас могу занять свою комнату дома в Хэмпстеде.[5] А если угодно — и две. Нельзя же вечно быть постояльцем. Надо пристать к твердому берегу. Иначе с ума сойдешь. Родители

---

[4] Примечания: 4
Один из районов Лондона.

[5] Примечания: 5
Фешенебельный район Лондона.

говорили со мной по-немецки. Мать — с чешским, отец — с венским акцентом. — Не надо мне ничего твердого, — отвечал я. — Меня от него воротит. Я всегда разбивал себе нос о твердое.

Они не унимались. Я не говорил им, что давно уже подыскиваю подходящую квартиру. И главное — подальше от Хэмпстеда. Наконец я нашел маленький дом в Кенсингтоне. Он стоял в узком кривом переулке на задворках Хай-стрит. Здесь было тихо. Если на мостовой поставить автомобиль, второму уже не проехать. Комната и кухня на первом этаже и две спальни наверху — вот и весь домик. Мне этого вполне хватало. Свое бюро я разместил в нижней комнате, одна из спален предназначалась для Фреда или для гостей. Фред так и не переступил порог этого дома. На стене у входной двери я заприметил рисунок мелом. Какие-то горы и солнце над ними. Я не стирал рисунок, пока он не исчез сам собой, смытый дождями. Возможно, его сделал Фред. Мне хотелось так думать. Я платил алименты и по-прежнему оплачивал жилье на Толбот-роуд, но не поддерживал контактов с Хедер и с Фредом. До тех пор, пока однажды она не позвонила мне.

— Хочу поставить тебя в известность, что твой сын бросил школу и пристрастился к героину.

Я был готов встретиться с ним, но Хедер сказала, что не знает, где он болтается.

— Не удивлюсь, если он вдруг заявится, чтобы ограбить меня.

Позднее она сообщила, что, насколько ей удалось выяснить, он часто бывает на Уолворт-роуд. Я не раз доезжал на метро по ветке Бакелу до конечной станции Элефант-энд-Касл. Ни один из лондонских кварталов не имеет такого удручающе американского облика, как Уолворт-роуд, я исходил тут все вдоль и поперек, заглядывал в пабы Восточной улицы и во все фастфуды. Каждого встречного наркомана спрашивал про Фреда. Все впустую. Один из них в полной отключке сидел на парковой скамье. На лице — зеленая татуировка в виде паутины. От него я не добился ответа. Я тряс его за плечи. Он только смотрел на меня усталыми стеклянными глазами. Но, кажется, понимал, что от него требуется, он знал Фреда. Однако ответа я из него так и не вытряс. Мои поиски были безрезультатны.

Я позвонил Хедер. Она назвала день, когда должен прийти Фред. По крайней мере — обещал.

В ночь перед встречей я не сомкнул глаз. Я был уверен, что у меня ничего не получится. Я хотел предложить Фреду свою помощь. Он в любое

время мог бы рассчитывать на меня, даже если его пока интересовали только мои деньги. Я бы дал. Я выдавал бы их как бы на суточный паек, чтобы не терять контакта с ним. Но что, если он откажется от моей помощи и вообще не пожелает иметь дела со мной? Я ломал голову над тем, как приручить его, и ничего не мог придумать. В семь утра, даже не надеясь уснуть, я спустился в нижнюю комнату. Экран телевизора подсказал тему: начало войны в Заливе. Спустя три часа я уже сидел в самолете, уносившем меня в Саудовскую Аравию.

Мне все кажется, что он всего лишь вышел куда-то и скоро снова будет дома. Когда он погиб, я не хотел ни на минуту отпускать его от себя, как будто еще можно было что-то сделать. Он был где-то рядом. Я спиной чувствовал его взгляд. В Вене у него была квартира в том же доме, где жил я. Мне казалось, я слышу, как отпирают дверь, как ночью он возвращается домой с друзьями. Я выходил на лестницу, крадучись спускался вниз, дождавшись, когда на площадке погаснет свет. Стоял перед его дверью и прислушивался. Потом отпирал дверь, ложился на его постель. Я вдыхал запах Фреда. Я мог вообразить, как он смотрит в лицо смерти и все же не прекращает съемку. У

него был шанс остаться в живых. Людей в ложах и на верхнем ярусе смерть настигла чуть позже, чем тех, кто находился внизу. Они еще двигались, а в партере все уже замерло. Если бы он сразу решил, что надо спасаться, он был бы единственным оператором из тех, кому удалось уцелеть.

На маленьком мониторе он видит, как валятся на пол люди внизу. Он чувствует запах горького миндаля. Вот тут-то и надо было бежать в режиссерскую. Но он остается. Ему обжигает глаза. Его просто выворачивает. И он вдруг понимает, что и ему осталось жить считанные секунды. Но, даже не пытаясь бежать, он ведет съемку и приближает объект. Все вокруг размыто, предметы разбегаются, точно круги на воде. Его тошнит. Он делает шаг в сторону, чтобы исторгнуть рвоту. Но рука все еще на камере. Тело сводят судороги. Он оставляет камеру, ищет опору. И тут срывается, падает в какую-то пропасть, пролетает тысячи метров. Он уже не может дышать, не может управлять телом. Пропасть бездонна. Словно бой курантов, откуда-то издалека доносятся последние крики других умирающих. Он чувствует, как в нем занимается огонь, и с ужасающей быстротой пожирает его изнутри. Пока из него не извергся пылающий шар, пропавший

в далекой мгле.

Он просто опередил меня, и домой его уже не залучить.

В короткий промежуток времени между двумя войнами — в Заливе и в Югославии — мне впервые за несколько лет удалось повидать Фреда. Только не он пришел ко мне, а я должен был проследовать на его территорию. В качестве места встречи он назвал мне по телефону *шалман* на углу Стоквелл-роуд и Брикстон-роуд. Я никогда не был в этом квартале. Знал только, что здесь живут преимущественно черные и азиаты. Войдя в трактир, я был приятно удивлен. Вопреки моим ожиданиям — почти пустой зал, совсем не похожий на замызганный вертеп. Круглые черные столики, стулья из алюминия, разве что музыка звучала громковато. Фреда еще не было. Я заказал капуччино. В углу мерцал телевизор с отключенным звуком. На стене — две репродукции Хоана Миро. За низкими окнами мелькали пешеходы — чернокожие женщины и дети, иногда мужчины. Между ними лавировали подростки на велосипедах. Потом пришел Фред. Я с трудом узнал его. Голова обмотана палестинским платком. На ногах грязные стоптанные сандалии. Он сел напротив и с ухмылкой посмотрел на меня.

— Что будешь пить? — спросил я.

— Пиво. Вортингтонское горькое.

Я и себе заказал бокал. По всей видимости, Фред давно не мыл руки, под ногтями траур. Средний и указательный пальцы правой руки пожелтели и побурели от никотина. Он извлек табак из кармана штанов и свернул сигарету. Я видел, как у него дрожат руки. Самокрутка не получалась, он бросил ее на пол и принялся за новую. И опять неудача. Табак просыпался на стол, бумага порвалась. Я предложил ему свою сигарету. Он взял пачку и взглянул на штрих-код.

— Это можно поймать по радиосигналу. Они найдут тебя где угодно.

— Кто?

— Нацисты.

— С чего ты взял?

— Я схлестнулся с ними. Если бы не помогли французы, нацисты давно бы накрыли меня.

Из его рассказа следовало, что он находится под защитой французского посольства. А недавно в общественном туалете якобы встретил Франсуа Миттерана. Справляя малую нужду, президент якобы заверил Фреда, что ему нечего бояться. Я слушал и кивал. Сигарета истлевала на глазах. Курил он жадно. А пиво только потягивал. Он то

и дело вглядывался в содержимое бокала, рассматривал его на свет.

Он сказал:

— Они используют отравленную воду. Теперь она повсюду.

Потом поинтересовался, установил ли я фильтры на водопроводных кранах. Сам он пьет только профильтрованную воду. И Фред рассказал о новом water purifier.[6] Он даже знает человека, который изобрел эту штуку.

Неожиданно Фред встал и пошел. Я подумал, что он решил отделаться от меня. Но он просто пересел за столик ближе к стойке.

— Там слишком много лучей, — пояснил он.

Я с бокалами и сигаретами последовал за ним. Спросил, где он живет.

Он не торопился отвечать и опять с усмешкой посмотрел на меня.

— Там, где я живу, — сказал он, — окна заколочены наглухо. Нацистам меня не достать.

Я не знал, что ответить. Он добавил, что и французы советовали ему не сидеть близко к окнам.

Я спросил про лучи: разве они могут проходить сквозь дерево? Он пропустил это мимо ушей, зато

---

[6] Примечания: 6

Химический водоочиститель *(англ.).*

сообщил, что за последнее время четыре раза перечитал «Мадам Бовари». Затем вдруг задал вопрос насчет моей личности: кто я, не Стэн ли Паркер?

— Стэн Паркер?

— Так ты не читал «Древо человеческое» Патрика Уайта?

— Читал когда-то. Но это было давно. Тот человек, что умирает в конце, разве его звали Стэном Паркером?

Фред снова попытался смастерить сигарету. Я протянул ему свою пачку.

— Оставь себе.

Но он не взял. На его кисете не было штрихкода.

— На что ты живешь? — спросил я.

Он усмехнулся. Палестинский платок был надвинут до самых его рыжеватых бровей.

— Ты — не Стэн Паркер.

— Тебе нужны деньги?

— Я буду продавать water purifier.

— Стало быть, деньги есть.

— Дай мне сотню фунтов. До завтра. О'кей?

Я дал ему сто фунтов. Он вдруг заторопился.

— Встретимся завтра, здесь, в это же время, — сказал он.

Он поставил бокал и вышел на улицу. Я смотрел через окно ему вслед. Он шагал по Брикстон-роуд, направляясь, видимо, к станции метро, но потом свернул влево, на Электрик-авеню. Тогда я решил двинуться за ним, однако его и след простыл. У арки железнодорожного моста сидел тот самый наркоман с зеленой паутиной на лице.

Фред погиб. У него была густая рыжая борода. Как и у меня в молодости. Во время павильонных съемок он иногда отлучался покурить. Только в тот вечер, в Венской опере, изменил своей привычке. Я не велел ему выходить.

— В любой момент я могу задействовать твою камеру, — сказал я тогда. — Через нее лучше всего виден оркестр.

Инженер
Пленка 1

«Всякая культура имеет право развиваться без помех, всякая культура имеет право сохранять свою чистоту».

Эта мысль, как рассказывал нам *Нижайший,* осенила его в ту пору, когда он приехал в Вену и вынужден был повторить тяжкий путь своего отца. Отец его, деревенский паренек, отпрыск бедного семейства из лесной глухомани, в тринадцать лет был поставлен перед выбором: либо всю жизнь горбатиться батраком, либо пробиваться, стиснув зубы и полагаясь только на себя. Он выбрал второе, *увязал свои пожитки и рванул из родных краев.*

«Поскольку, — говорил *Нижайший,* — полвека спустя предстояло то же самое, это служит убедительным доказательством, что мы топчемся на месте, что вся Вторая мировая война была пустой затеей. В семнадцать лет я вынужден был пойти на то же почти непосильное решение, что принял отец в свои тринадцать. Если уж я решил пробиваться, надо было забыть про все остальное».

Есть некая нетронутая чистота души, «голос характера», как это называл *Нижайший,* что сильнее всякого опыта. Отца все урезонивали, отговаривали, хотели даже силком удержать дома. Батраков, видно, не радовало, что один из них пытается избежать убогой доли. Никакой иной они и представить себе не могли. Наверное, мысль о том, что несчастье их собственной жизни продлится в грядущих поколениях, для них как бальзам на душу.

«Обыкновенная жизнь, — с самого начала внушал нам *Нижайший,* — судьбопослушна. Не ориентируйтесь на планку обыкновенной жизни. Она видит свои высоты и бездны сквозь голубое бельмо телевизора. Ей до смерти страшно бросить вызов судьбе, ведь она боится честного взгляда на собственное убожество».

Несмотря на то что *Нижайший* строго пенял нам за всякие высказывания о его превосходстве над другими людьми, он не был человеком обыкновенным. И это казалось тем более очевидным именно потому, что подобные суждения возбранялись. Его присутствие было настолько ощутимо, что в этом смысле никто не мог сравниться с ним. Когда он входил, все сразу замечали это, даже не глядя на дверь. Никто не делал из

него лидера, главаря: он просто был таковым. Все становились его верноподданными. Часто для этого от него не требовалось ни единого слова. Достаточно было взглянуть ему в глаза, чтобы понять его мысли. Глазами он мог сказать все. Этот язык был не менее значим, чем произнесенные им слова. Может, полным согласием этих двух языков и объяснялась его уникальность. Он был самим собой, и только собой. Нет, он был нами. У меня ни разу не возникало ощущения, что он желает чего-то для себя. Он являл собою наше *Движение,* воплощая его с предельной полнотой и завершенностью. Мы обретали в нем себя. Не знаю, сумеете ли вы это понять. Ничто не могло укрыться от него. Он был всегда неотступен, что ли, всегда в нас. Когда он смотрел на меня, создавалось впечатление, что он видит насквозь все закоулки моих мыслей. Стоило ему бросить короткий взгляд — и я не знал, куда деваться от стыда. Хотя глаза его были само спокойствие. Включалась тончайшая мимическая техника. Согласованная игра бровей, век, ресниц и всей мускулатуры лица доносила мысль быстрее и непосредственнее всяких слов. В какой-то миг все это слагалось в чеканно-четкий рисунок — и каждый из нас понимал, что это означает. Его

глаза поучали и наказывали. Мимолетный взгляд — и порядок восстановлен. Как правило, этого было достаточно. Всем, кроме разве что Файльбёка в более позднее время. Но Файльбёк с самого начала считался у нас заблудшей овцой.

Взгляд *Нижайшего* мог и воодушевлять. Такой взгляд означал: «Что бы ни случилось, я с тобой. Можешь рассчитывать на меня до конца дней».

А ведь бывали минуты отчаяния, неприятности с полицией, стычки на работе или с прохожими, но стоило попасть в поле зрения *Нижайшего* — и все собственные болячки и обиды становились вдруг забавными пустяками в сравнении с общими задачами, которые сплачивали нас.

После возвращения *Нижайшего,* когда я завоевал его доверие, он рассказал мне о своих корнях и своей юности. Чаще всего мы беседовали уже за полночь в его маленькой квартире на Вольлебенгассе. Он наливал мне стаканчик виски и, поглаживая свои длинные пряди волос, говорил о былом. Он писал книгу о своей жизни и учении. Небольшие отрывки читал мне вслух. Рукопись, должно быть, еще где-то хранится. Отца он ценил, описал мне всю его жизнь, но не любил его. О матери я мало что узнал. Но когда он упомянул о ее смерти, я понял, что мать была для него всем.

Вопросов я почти не задавал, я слушал. Вообще он часто не давал ответов. Во всяком случае слышимых. Так повелось с самого начала. Но ставил вопросы сам. И если я не знал ответа, он отвечал вместо меня.

После долгих мытарств его отец нашел наконец место ученика в одной из мастерских почтового ведомства Австрии. Он ремонтировал почтовые автобусы и не успевал уворачиваться от оплеух. Через несколько лет сдал экзамен на подмастерье. Думал: теперь все будет иначе. Разве не добился он чего хотел? Он жил в городе, и ремесло было надежное. Однако он не мог отделаться от ощущения, что так и остался куском дерьма. Над ним возвышалась иерархия, которую и глазом не охватить, эта цепочка из бесчисленных звеньев и инстанций завершалась где-то генеральным директором. А внизу были просто сопляки и подсобники, которых он мог мордовать, как раньше мордовали его. И на этом всё? Предел? Нет, он хотел забраться повыше и записался в вечернюю школу. Те, с кем он работал, ходили по вечерам в кино и рестораны, а он корпел над книгами. В необычайно короткое время, за три года, он добился права поступить в высшее учебное заведение. Его отец охотно стал бы тем, кем стал

я, — инженером. Но заниматься серьезной учебой после тяжелого рабочего дня было ему просто не по силам. Получалось так, что он сломался на подходе к цели.

— А почему, — спрашивал *Нижайший,* — он все же чего-то достиг?

Я пожимал плечами.

— Да потому, что была война, — говорил он, — война давала шанс многим, потерявшим всякую надежду, в том числе и отцу.

В генерал-губернаторстве, как тогда называли Польшу, недалеко от Люблина, находились мастерские германского вермахта. Туда-то и был призван отец *Нижайшего.* У него под началом были в основном поляки, которых в собственной стране называли иностранными рабочими. Отец особо отличился при раскрытии актов саботажа. От его взгляда не ускользали ни подпиленные тормозные провода, ни проколотые уплотнители, ни сточенные грани коленчатых валов. Саботажников он вылавливал целыми партиями. О новых способах покушения на материальную часть германского вермахта он писал в подробных докладных с приложением руководства по наиболее эффективному предотвращению вредительства. И хотя свои письменные сигналы он

передавал по инстанции, на них на всех были означены адрес и адресат: Господину генерал-губернатору Гансу Франку, Королевский замок в Кракове. Он слышал, что генерал-губернатор устраивает в Кракове пышные застолья, в то время как в люблинских мастерских на исходе стратегически важные материальные ресурсы.

— Отец не уставал говорить об этом, — заметил *Нижайший.* Он покачал головой, и в смутном движении его губ промелькнуло нечто вроде иронической улыбки. Видеть, как улыбается *Нижайший,* доводилось очень редко. Поэтому я так хорошо запомнил тот случай. Он улыбнулся при мысли об отце и сказал: «Это был его подвиг. Об этом он рассказывал постоянно. Мне уже и слушать было невмоготу. Он проставлял на письмах какой-то чудной адрес. В этом выражалась вся отвага его жизни, чего, вероятно, даже никто и не заметил».

В 1944 году отца *Нижайшего* назначили начальником центральных мастерских «Ост». Незадолго до вступления в Люблин Красной Армии он заминировал и взорвал всю производственную территорию.

После войны отец *Нижайшего* оказался в числе самых востребованных кадров. Практически

не было такого поста в металлообрабатывающей промышленности, которого бы ему не предлагали. Социалистическая партия хотела доверить ему восстановление «Предприятий Германа Геринга» — тогда еще не придумали нового названия; Народная партия уже видела его директором заводов «Штейр». Шли разговоры о том, не поручить ли ему руководство восстановлением завода авиадвигателей или Федеральных железных дорог Австрии. Но всего заманчивее для него была служба на старом поприще — в почтовом ведомстве.

— Не будь войны, он, возможно, дослужился бы до мастера, — сказал *Нижайший.* — А тут его как управляющего всеми мастерскими Федеральной почтовой связи вводят в главное управление. Прошло еще несколько лет, и он узаконил свои отношения с одной из секретарш.

Из батраков — в высокопоставленные чиновники. Путь отца начертан красным мелом на стене дома в Литцльберге, на берегу озера Аттерзее, куда семья переехала после выхода отца на пенсию. В последние десять лет службы он вкладывал в этот дом все деньги. Каждую пятницу он отправлялся в Литцльберг. А возвращаясь по воскресеньям, все сокрушался на тот счет,

что рабочие в новом доме ни черта не сделали и опять устроили себе санаторную неделю. *Тяготы юности настолько приподнимали в его глазах достигнутое позднее, что оно казалось ему еще грандиознее, чем просто следствие его железного упорства и исключительной работоспособности. Это была гордость человека, сотворившего себя собственными руками, она заставляла его желать для своего сына такого же, а лучше бы, конечно, еще более высокого положения в жизни.*

Когда отец вышел в отставку и поселился на Аттерзее, *Нижайший* отправился в Креме, где поступил в духовную гимназию при известном монастыре. Едва он кое-как приноровился к монастырской жизни, как отцом уже завладела мысль о том, какое учебное поприще сына предстоит финансировать через восемь лет.

— Придет время, будешь изучать право, это откроет перед тобой все горизонты административной деятельности, вплоть до политики.

Так направлял он своего сына. Все ключевые позиции в его окружении занимали юристы. Но *Нижайший* хотел стать священником, потом — миссионером и, наконец, прелатом. Его идеалом был аббат ведавшего гимназией монастыря.

Будучи еще учеником младших классов, три-

надцатилетним семинаристом, он впервые удостоился особого внимания аббата, который пригласил *Нижайшего* в прелатские покои, угостил сигаретой и вином и завел разговор о христопродавце Иуде Искариотском.

После его возвращения нам захотелось узнать, кто были его учителя в Америке. Он ответил:

— Аббат из Кремса, и только он, открыл мне глаза. От него во мне возгорелся огонь мысли. А то, чему меня учили в Америке, было уже заложено во мне. Там просто раздували пламя, зажженное в Кремсе.

Аббат производил на *Нижайшего* столь сильное впечатление, что он стал обожать его и всячески ему подражать. Тогда он и представить себе не мог более достойной жизненной цели, нежели дорасти до такого сана.

Разумеется, пояснил он в разговоре со мной, он, *Нижайший,* даже не сознавал, в какие дали простирались мысли аббата. После отступничества от Церкви эти мысли как бы вовсе перестали влиять на ученика. Он намеревался окончательно распрощаться со всякой теологией, и лишь позднее, в Америке, до него дошло, что его разрыв с теологией был не чем иным, как последовательным исповеданием мыслей аббата из Кремса.

Когда *Нижайший* вернулся и я стал бывать у него чуть ли не каждый вечер, он как-то сказал: «Знаешь, в чем суть учения аббата из Кремса? В том, что будущность дается только через предательство».

Это дало мне пищу для размышлений. Если бы не его вразумление, я не сидел бы сейчас на Мальорке, а числился бы в списке погибших. Да. Как ваш сын. Нет, черт побери! *Нижайший* тоже мертв. Я думал, вы хотите знать все. Это был не я. Чем дольше размышляю над этим, тем все более убеждаюсь: это вообще были не наши. Вы хотите поставить точку или можем продолжить?…

Аббат из Кремса, приглашая *Нижайшего* в прелатские покои выкурить сигаретку и выпить вина, что с годами случалось все чаще, в конце концов дал понять, что поклоняется Иуде Искариотскому. Ведь Иуда — истинный герой христианства. Он принес себя в жертву, дабы свершился искупительный подвиг Христа, который, по словам аббата, стал уже не крепок в духе и, вместо того чтобы добровольно принять крестные муки, дал волю отчаянию в молении о чаше. А посему единственное, что оставалось Иуде, — это наложить на себя руки. Для приверженцев Христа он стал предателем, ненавистнейшим воплощением

греха, самого низкого из всех мыслимых. Никого не ненавидят так люто, как предателя, ибо никто, кроме него, не знает столь глубокого сомнения в собственных силах и правильности собственного пути; никто не дерзает так откровенно заявить о своем бессилии и своих блужданиях на ложном пути. Иуда, как неустанно подчеркивал в частных беседах аббат из Кремса, поддержал своими плечами искупительный подвиг. Отрекшись от собственного будущего, он сделал себя орудием христианской истории. Горстки христиан с их революционными идеями, подобно множеству других известных в истории человечества сект, исчезли бы во мгле прошлого, если бы Иуда не послужил толчком к тому, чтобы приверженцы учения Христова крестились не только водой, но и кровью. Великие идеи требуют кровавой дани, иначе они гибнут.

— Толкачи идеи пацифизма, — говорил *Нижайший,* — в конечном счете вынуждены пустить в ход атомные бомбы.

Это уже не мысли аббата, это, несомненно, их продолжение самим *Нижайшим.* Он, разумеется, знал, что для меня, как и для прочих, его идеи были своего рода Евангелием, откровением. Но только мне посчастливилось узнать, как они

рождались. И сегодня я по-прежнему вижу в этом особое отличие и впредь буду стараться не посрамить учителя.

Потому я и рассказал вам все это. Зарубите себе на носу: *Нижайший* был не просто какой-то там террорист, которому забавы ради или из ненависти к конкретным лицам вздумалось устроить катастрофу в Опере. В нескольких словах этого не объяснишь. Кремсский монастырь значил для *Нижайшего,* для его становления гораздо больше, чем обычно думают. Кому в ученические годы привелось вдыхать запах более чем тысячелетней древности и каждое утро слышать песнопения десятого века, тот, может, сам того не понимая, испытывает истинное благоговение перед великими идеями, которые возвышаются над всеми ухабами истории. И какие бы заварухи ни случались в нашей стране за тысячу лет: смена династий и форм правления, потопленные в крови восстания, военные поражения, опустошение деревень, бомбардировки городов, потери целых областей, переименованных на чужеземный лад; какие бы потрясения ни сокрушали все вокруг — монастырь в Кремсе устоял, остался целым и невредимым. В девятнадцатом веке там несколько раз на дню собирались монахи для хорового

пения на латыни, то же самое — и в семидесятые годы двадцатого, когда *Нижайший* был старшим причетником и пользовался особым доверием своего вероучителя аббата. Взгляд на историю с высоты монастырской цитадели был как бы милостиво дарованным правом смотреть вдаль sub specie aeternitatis.[7] И оно было дано *Нижайшему,* а позднее он научился пользоваться своим неоценимым преимуществом, открывающим новые горизонты мысли, и приобщать к этому нас.

— Истинные идеи, — учил нас *Нижайший,* — не могут быть поколеблены ни прессой, ни телевидением, ни еженедельными опросами общественного мнения. Они подобны зажженному фитилю. Слабенькое, трепещущее на ветру пламя коптящего огарка в любую минуту может разжечь мировой пожар.

В двенадцативековом незыблемом бытии монастыря *Нижайший,* вероятно, еще в юные годы увидел предтечу своих главных идей, которые сложились позднее, обоснование *священного приоритета собственной культуры.* Долговечность всего, что хранят библиотеки, зависит не от качества бумаги, но скорее определяется вне

---

[7] Примечания: 7
С точки зрения вечности *(лат.).*

книгохранилищ, доказуется огнем и мечом. Без сожжения ведьм и плахи для еретиков культура монашества не сумела бы сохранить свою чистоту.

В то время, когда отец в специальных журналах и в разговорах с бывшими коллегами добывал информацию о том, какой именно университет выбрать для сына, у того в удаленной от мира обители в корне менялись представления о собственном предназначении. Идеи и предписания Церкви уже не привлекали его, броня ежедневного распорядка с бесконечным повторением давно затверженного и отсутствие всякой надежды когда-нибудь сбросить ее день ото дня становились для него все невыносимее, и он понял, что и аббат вынужден жить закованным в ту же броню, даже если он тайно поклоняется Иуде. Неприятие вечного единообразия питает мечту о предательстве, но *Нижайший* был не из тех слабаков, которые тешатся мечтами вместо того, чтобы перекраивать свою жизнь. Он хотел целиком посвятить себя своим идеям и жить ими — так созрело в нем желание стать писателем. Втолковать это отцу было невозможно.

— Писатель? — ужасался тот. — Нищий сочинитель? Нет, пока я жив, об этом не может быть

и речи.

И так же, как когда-то отец пренебрег советами батрацкой голи, *Нижайший* решил действовать вопреки планам отца. И день ото дня все более укреплялся в своем устремлении. Вскоре начались первые трудности с учебой. Все, что ему давала гимназия, проверялось одним критерием — пригодностью для будущего литературного творчества. А то, что казалось неважным, он отторгал. Табель напоминал мозаику из хороших и плохих отметок. Несколько «очень хорошо» и «хорошо» были вкраплены в длинный ряд «удов» и «неудов». Отец все более напористо требовал подтянуться. И сын подтягивался, только не видел смысла тратить двенадцать лет на зубрежку, чтобы снова забыть зазубренное. Революционную переделку школьной системы он рассматривал позднее как одну из неотложных задач.

— Цель обучения, — говорил он, — *нигде и никогда* не должна сводиться к *затверживанию наспех проглоченных фактов и дат.* Суть вовсе не в том, — объяснял он нам, — *когда произошла та или иная битва, когда родился такой-то полководец или когда нацепил корону некий монарх (как правило, незначительная личность). Нет. Видит Бог, это не так уж важно.*

Но что же важно? *Нижайший* довольно рано понял, что мир монастыря с тысячедвухсотлетней историей и мир за его стенами утратили былое согласие. Здесь ежедневно освежались чистотой собственного учения и держались так, будто следующую тысячу лет можно одолеть играючи, а там был обречен на гибель весь континент. *Яд чужекровия разъедал* тело европейской культуры на востоке и юге, и даже Вена, старая культурная столица, все больше становилась чужим городом для коренного населения, как можно было заключить из всех поступающих сообщений.

У Нижайшего уже не было возможности изложить отцу истинные мотивы своевольного решения. Ибо, пока в нем нарастало недовольство интернатской жизнью и монастырской гимназией (хотя он сам еще не дошел до корней своего протеста), отец скончался от апоплексического удара. Неожиданная смерть как будто приостановила духовное развитие *Нижайшего.* Стремление сменить жизненное поприще ослабело, ибо такая перемена означала бы исполнение отцовской воли.

Теперь аббат был особенно расположен взять под свое крыло *Нижайшего.* Каждое воскресенье после вечерни тот нажимал на звонок у порога

прелатских покоев. Дверь открывалась с помощью электрического устройства, вдоль анфилады из четырех комнат с барочным интерьером и высокими дверями тянулась череда светильников. В кабинете возле письменного стола аббата стояла небольшая вращающаяся этажерка с книгами. На ней же — пепельница и два бокала. И хотя в комнате хватало стульев и пуфов, *Нижайший* никогда не садился на них. Всякий раз он усаживался в кресло напротив аббата и рядом с вертушкой, курил сигарету, пил прелатское вино и следил за живой жестикуляцией своего наставника.

Точно такая же кубообразная вертушка с книгами стояла возле дивана в доме на Вольлебенгассе. В ней же хранился и недописанный манускрипт *Нижайшего.* Он ставил на нее рюмку, наливал мне виски, садился напротив и изображал аббата из Кремса.

— Радикальное христианство, — говорил он, рубя рукой воздух, — не боится смерти. Оно ведет в ее лоно. Но радикальное христианство вовсе не склонно к безрассудным авантюрам. Оно взвешивает свои устремления и выверяет путь, которым лучше всего идти к цели. Не бояться смерти вовсе не значит легкомысленно растрачивать жизнь.

Два последних слова он произнес протяжно и сделал рукой размашистое движение, словно бросая за спину какой-то предмет. Тогдашнего аббата из Кремса, которого, возможно, сменил новый, я никогда не видел, даже на фотографии. Но я мог живо его вообразить.

Аббат убедил *Нижайшего* в том, что закрыть гимназию более чем целесообразно. Он почти не задумываясь мог назвать тех учителей, которых ненавидел *Нижайший.* Он рассказывал истории, в которых они представали жалкими, беспомощными тварями. Их бы давить, да куда там, их-то изволь поддерживать, чтобы сделать свободными натурами.

— В полном смысле слова бесхребетные субъекты, — продолжал наставник, — дрожат на всех ветрах и не знают, к чему приткнуться, это и толкает их на учительскую стезю. Школьный порядок и школярские ценности — только это и держит их на плаву. Была очередная встреча выпускников, — в доме на Вольлебенгассе *Нижайший* по памяти воспроизводил слова аббата, — я пригласил молодых людей к себе в прелатские покои. Все свелось к тому, что они не один час читали баллады и пародии на баллады. А это был отнюдь не плохой выпуск, в учебном процессе

участвовали профессора высшей школы. И вот бородатые мужи начинают вдруг хихикать, как тринадцатилетние девочки. Посмотрел я на все это и подумал: Господи, кого мы вырастили! Нет, не следует тебе относиться к учителям слишком серьезно. Ты должен просто использовать их, чтобы идти своим путем, но полемизировать с ними не стоит. Иначе будешь топтаться на месте.

На прощание, поведал мне *Нижайший,* аббат всегда обнимал его, долго держал в объятиях, а потом внезапно отталкивал. Прижимал к себе, громко сопя. И вдруг толчок, после чего душевной доверительности как не бывало. Аббат снова становился аббатом, а *Нижайший* — обычным воспитанником, коему надлежало уважать субординацию.

Вернувшись из Америки, *Нижайший,* желая сохранить свой приезд в тайне, менял адреса и не задерживался в одной квартире дольше нескольких недель. Из всей мебели ему сопутствовал лишь один предмет — та самая вертушка с книгами. Я видел ее только на Вольлебенгассе — в одной из его последних квартир. Файльбёк рассказывал нам о ней раньше. Стало быть, ему было позволено навещать *Нижайшего* и в других квартирах. На Вольлебенгассе он иногда брал с

полки какую-нибудь книгу, чтобы подарить ее мне или порекомендовать для прочтения. Случалось, он доставал свою рукопись и читал мне один-два отрывка, не более двух коротких абзацев каждый, словно боясь нарушить творческий процесс, если чуть больше приоткроет его.

— Все действительно важное помещается на этих полках, — сказал он, — остальное можно выбрасывать.

Однажды — пошел уже девятый год жизни нижайшего в Кремсе — аббат сам открыл ему дверь в свои покои. На сей раз не было ни сигарет, ни вина. Аббат сказал:

— Ты должен ехать в Вельс, в больницу, к матушке.

Судя по тому, как он прижал его к себе, как гладил его голову, можно было не сомневаться в том, что мать в безнадежно тяжелом состоянии. Несколько дней она пролежала в коме, потом приборы за ненадобностью отключили. Случилось так, что, выезжая из дома в Литцльберге по узкой, трудной для обзора подъездной дороге, она как-то неожиданно выскочила на шоссе и на ее машину налетел автопоезд. Машину буквально расплющило. Даже если бы матери удалось выжить, она больше никогда не встала бы на ноги.

Ей не было и сорока.

Спустя неделю после похорон он вошел в знакомые апартаменты, чтобы проститься со своим учителем. Аббат не смог ни на один день оттянуть его отъезд. Этот момент своей жизни он описывает такими словами:

— Отца я уважал, *а матушку любил. Уложив одежду и белье, с одним чемоданом в руке и неколебимой волей в сердце, я поехал в Вену. Я надеялся вырвать у судьбы то, что удалось взять у нее моему отцу полвека назад; и так же, как он, хотел состояться, но только в качестве* писателя, а ни в коем случае не чиновника».

Он приехал в Вену, когда был непонятно кем, вернее, никем. Даже образование незаконченное. Сиротская пенсия позволяла выжить. И хотя он ожидал наследства (прежде всего это был дом, в который отец вложил все свои сбережения), оно оставалось пока только мечтой. *Нижайшему* было семнадцать, стало быть, он считался несовершеннолетним.

В Вене он искал квартиру, искал работу. Ни того ни другого не нашел. Времена были те еще. Хочешь квартиру по сходной цене — давай в лапу при заключении договора, а это сумма от двухсот до трехсот тысяч шиллингов как бы в счет пога-

шения будущего долга. А если таких денег нет, как не было их у *Нижайшего,* оставалось две возможности. Одна заведомо отпадала. Квартиры, за которые не требовалось платить задатка, были, как правило, в хорошем состоянии, но месячная квартплата намного превышала сиротское пособие. Приходилось рассчитывать только на черный рынок жилья.

Пять ночей он шатался по городу, натыкаясь на кодла бездомных бродяг. От них несло алкоголем, даже от тех, что заряжались героином. На пятую ночь он, валясь с ног от усталости, устроил себе ночлег на скамье в городском парке. Проснулся уже без чемодана. Умылся водой из фонтана на Шварценбергплац, а потом весь день расспрашивал прохожих про жилье, останавливая чуть не каждого встречного. Наконец какая-то иностранка дала ему один адресок.

Дом находился на большом дорожном кольце — в квартале Лерхенфельдгюртель, — здесь он прожил почти два года и здесь же основал движение *Друзей народа,* этот дом мы и спалили, как только *Нижайший* съехал. Тут мы совершили ошибку. И не только потому, что полиция очень быстро напала на наш след. Личная месть, как мы поняли позднее, — самая последняя гнусность.

Наоборот, мстить за других, посвятить свою жизнь европейской культуре, а не шкурным интересам — вот на чем воздвигнется будущее христианского Запада. И на этом, после возвращения *Нижайшего*, утвердилось величие нового движения *Непримиримых.*

Верите вы или нет — мне по барабану. Повторяю: это был не я. Это не наши. У нас хватило бы пороху провернуть такое, но это были не мы. Мы же не самоубийцы. Если мы о чем таком и помышляли, так это был угарный газ. Чего это вы так осмелели? Припрятали где-то оружие? Нет? А если я пристрелю вас на месте? Что тогда? Ни одна собака не найдет вас в бурьяне за этими стенами. Давайте так: я держусь наших условий, а вы держите язык за зубами.

Нижайший платил за подвал на Гюртеле две с половиной тысячи в месяц. У него был свой закуток, в остальных жили два серба, босниец, орава из Сомали, румынская семья, анголка, египтянин и какой-то араб неизвестно откуда. На всех — один сортир, одна кухонная мойка и рожок душа. У двух из этих обитателей катакомб — у боснийца и араба — не было окон, в коридоре напротив входа были вкручены две лампочки, их зажигали и выключали с помощью какой-то

замысловатой кочерги. Подвальные окна с одной стороны смотрели прямо на тротуар, с другой — выходили во двор шестиэтажного дома. Трудно сказать, какая сторона лучше. Во дворе было тихо, но два огромных платана загораживали свет, и весь день в комнатах было темно, как в трюме, а потому терялось всякое представление о времени суток. На другой стороне было светлее, но прямо вдоль окон громыхали колеса грузовиков. Однако даже в комнатах этой половины не хватало света, чтобы читать без электричества.

Чтение было тогда основным занятием *Нижайшего.* Он наблюдал мир и истолковывал его в процессе чтения. Его тогдашнее мученичество стало опорой нашего *Движения,* гранитной основой, на которой мы строили нашу работу. Он собственной кровью внял опасность, почувствовал нависшую над нами угрозу. В нем в муках познания созревало решение: баста, нельзя больше сидеть сложа руки, когда все идет прахом. Впервые спустившись в этот затхлый крысятник, я своими глазами увидел, как можно испохабить жизнь нищетой, убожеством, грязью, мерзостью запустения, о чем раньше мне только рассказывали, и я заразился тревогой, которая мучила *Нижайшего:* «Беспечная белая культура. Она по-

гибла, если когда-нибудь на нее обрушится *поток* восставших *рабов,* вылезших *из этих жалких нор,* чтобы потребовать расплаты».

Найдите рукопись. Тогда вы наконец поймете, что на вашем сыне свет клином не сошелся.

Фриц Амон, полицейский
Пленка 1

Первый раз трое теледеятелей перешли нам дорогу днем, где-то около двенадцати. Мы как раз перекусывали булочками с ливерным паштетом, чего на службе делать вообще-то не полагается, тем более когда столько прохожих. Чтобы не нарисоваться у камеры наблюдения, мы не пошли, как обычно, к эскалатору на углу Оперы, а двинулись по Опернгассе к другому спуску — на краю Карлсплац: там народу поменьше. Если б не этот маленький крюк, мы не попали бы на экраны телевизоров. На углу кафе «Музеум» мы помогли какой-то женщине спустить в подземный переход детскую коляску. Инвалидные и детские коляски в венских переходах приходится в основном переносить на руках. Со времен последнего министра внутренних дел (или предпоследнего? Уж больно часто они меняются) нас приучили к транспортировке колясок. Только мы с напарником уговорились, кто идет спереди, кто сзади, тут и вываливают из кафе «Музеум» эти трое — и сразу же давай расстегивать свои баулы. Это была

съемочная группа ЕТВ, спутникового Евротелевидения. Мы сперва не обратили на них внимания. Подхватили коляску и маршируем вниз, во рту у каждого по булке, напарник впереди, я сзади. Тут из моей булки начинает лезть паштет, и отдельная его часть летит прямо в коляску. Телемэны не придумали ничего лучше, чем снять все на пленку, мы это заметили, только когда поставили коляску внизу, в переходе. Напарник устроил им вздрючку. Он чином повыше и знает, как обходиться со свободой прессы и авторским правом. Зато я собаку съел на уголовном праве. Так мы и дополняли друг друга.

— Пленка конфискована, — сказал он. — Если хотите нас снимать, надо предварительно испросить разрешение в пресс-бюро Федерального управления полиции.

Тот, на котором было навешано поменьше сумок, прямо-таки опешил:

— О, тысяча извинений! Я не думал, что вам это неприятно. Мы хотели только документально запечатлеть предупредительность венской полиции. Материал пойдет сегодня вечером прямо перед трансляцией бала в Опере.

Оператор туда же:

— Мы сделаем вас знаменитыми. Вся Европа

увидит пример единения полиции с народом.

В конце концов договорились переснять всю сцену. Булочки мы рассовали по левым боковым карманам униформы, а правые внизу оставили открытыми — чтобы сподручнее было вытаскивать пистолет. Мы потащили коляску наверх и снова обратно. А потом мамаша с коляской — тоже по сценарию — пожала нам руки, и мой напарник сказал:

— Не стоит благодарности, почтеннейшая сударыня!

Но что они показали-то?

На следующий день ближе к вечеру прихожу домой после тридцатипятичасовой службы, глаза слезятся, ноги подламываются — сколько трупов пришлось перетаскать, даже форма пропахла. И вот в таком виде вхожу в дверь, жена аж отскакивает. И как язык проглотила.

— Пить, — говорю и валюсь на кухонный стул. — Пить! На ногах не могу стоять.

Она принесла пива, села напротив и уставилась на меня. По радио всхлипывал министр сельского хозяйства. Теперь ему надо было возглавить правительство. «Самое подлое преступление в истории», — сказал он и снова заскулил. Жена все еще не может языком пошевелить. Потом

вдруг берет меня за руку и говорит: «У тебя изо рта паштет выпал». И это меня вконец доконало.

Эта телебратия подставила нас. Мне потом все подтвердили. Сам-то я не мог увидеть своими глазами. Накануне вечером, когда стало ясно, что во время бала мне придется задержаться на службе, я позвонил жене и попросил ее записать передачу. Но она в который раз включила не ту программу. Она думает, что видик пишет именно ту программу, которую сама смотрит по телевизору. Я уж устал объяснять. Один раз чуть мозоли пультом не натер, когда учил подключаться к нужной программе. Вроде бы научил. Но потом она вместо «Улиц Сан-Франциско» записала произвольное катание фигуристок. На сей раз вместо бала в Опере — «Призрак Оперы»,[8] да и то с середины.

Вам смешно, а так оно и было. Когда ЕТВ транслировало бал, Общественное телевидение передавало «Призрак Оперы».

Теперь о том дне. Вы ведь это хотели услышать. Дама покатила коляску дальше, а мы достали свои булочки. Эту часть перехода мы называли подмузейной. Здесь больше простора, чем требу-

---

[8] Примечания: 8
Экранизация романа Гастона Леру.

ется для редких прохожих, которые спускаются от кафе «Музеум», а потом поднимаются к Сецессиону. Большинство наловчилось просто перебегать улицу поверху. В общем, образовался вроде как тихий уголок, куда мы любим забредать, если охота малость передохнуть. Для бездомных там слишком холодно: два выхода рядом; для музыкантов — маловато публики, а наркоманы любят тусоваться в большом пассаже. Правда, заходят они и в подмузейный коридор, тут они свои дела проворачивают, а потом снова к своим. Чаще всего в этом месте отирался Мормон. По-моему, густопсовый американец. Раз в три месяца уезжает из Австрии, а потом возвращается в качестве туриста. Я несколько раз проверял документы. Стивен Хафф, если память не подводит.

— Я, — говорит, — миссионер.

— У нас тут, — говорю, — и так все христиане.

И что, думаете, он мне на это ответил со своим американским акцентом?

— Вы, — говорит, — еще не знаете, что скоро конец света.

Я ему:

— Нам об этом и свидетели Иеговы все время талдычат. Вы знаете, кто это такие?

Оказалось, не знает. Так мы с ним иногда пе-

рекидывались парой слов. Не скажу, что он был назойлив. Правда, старался всем всучить свои листочки. Мне бы и в голову не пришло, что он из террористов. Вы говорите, что после пожара на Гюртеле он был их беглым главарем? Ну, теперь-то он дождался своего конца света. Сначала в списке погибших он значился еще как Стивен Хафф. Его стали подозревать и разыскивать незадолго до бала, так как вроде бы он был на игрищах с костром в Иоаннову ночь. Поблизости от Раппоттенштайна. На видеозаписи, показанной в *Отделе по борьбе с государственной изменой и уголовными преступлениями против государства,* мелькнул человек, поразительно похожий на Мормона. Я тогда это подтвердил. Но, честно говоря, считал сходство случайным.

В подмузейном углу обходилось, как говорится, без происшествий. Но за этим местом стоило присматривать побдительнее — с тех пор, как однажды утром я там палец нашел. Натуральный мизинец без ничего. Дело было год назад, нет, вру, года полтора, весной, в ночное время. И когда в день бала мы случайно мимо этого места проходили, разве мог я подумать, что вечером с этим пальцем будут носиться как с писаной торбой. Он имел какое-то отношение к катастрофе. Я все

ждал, когда меня вызовут на комиссию для дачи показаний. Как-никак я первый его увидел. Я бы мог точно указать место. В ту ночь я случайно наткнулся на него во время патрулирования. Со мной был один новичок. У нас совпадало время дежурства. А новичков в полиции всегда поручают опекать кому-нибудь опытному. Этот всегда меня перед начальством защищал, если что. Отличный был парень. Теперь всё не так.

— Гляди-ка, палец, — сказал я ему. А он немного приотстал. Он сперва не поверил. Пока не подошел. Я поначалу решил, что это так, бутафория, карнавальная шутка. Он легонько пнул палец носком ботинка и нагнулся. Самый настоящий палец. У меня случайно оказался чистый носовой платок. Жена очень следит за этим делом. Каждый день спрашивает: «Взял свежий платок?»

Парень аккуратно завернул палец. В участке мы положили свою находку в морозильник. Не звонить же сию минуту дежурному врачу из-за отрубленного пальца. И что, интересно, он мог бы с ним сделать, если руки-то нет? Мы составили протокол, но никак не могли решить, с какой он руки: правой или левой. То и дело доставали его из морозильника, разворачивали и рассматривали. Обнаженная кость, обрывок сухожилия,

на лоскутках кожи — запекшаяся кровь или неустановленная грязь. Первые две фаланги — воскового цвета, почти белые. Ноготь имел продольные бороздки и был коротко обстрижен. Он казался прозрачным. Все сходились на том, что это — мизинец взрослого человека. У начальника патрульно-постовой службы было другое мнение. Он считал, что это указательный палец ребенка. Никто с ним не согласился. Но ведь он всегда знает все лучше других. Когда наконец выяснилось, что он не прав, он больше не заводил разговора на эту тему. Но если он вдруг оказывался прав — затыкай уши. Целыми днями он ни о чем другом говорить не мог. Такой уж человек.

Наш доктор обзванивал больницы, но никого с отрубленным пальцем обнаружить не удалось. Нам он был ни к чему, поэтому мы сняли отпечаток и передали находку судебным медикам. «…Поверхности сквозных рваных и резаных ран». Мы и сами могли бы сделать такое заключение. Это был палец очень молодого человека, мизинец правой руки. Еще в заключении экспертов было сказано, что в области рваной раны обнаружены следы татуировки. Но это мало что давало нам. Татуировки сейчас накалывает каждый второй юнец. Отпечатки отсеченных пальцев

получаются прекрасно, так как ничто не мешает добиваться нужной плотности приложения. Отпечаток вышел идеальный. По нему криминалисты сделали точную копию кончика пальца. И при встречах с молодыми людьми мы первым делом смотрели на пальцы. Интересно было узнать, из-за чего парень остался без пальца. Наркотики? Или торговля краденым? Почему палец оказался в переходе? Не было ни заявлений, ни срочных вызовов.

В дежурной части кое-что знали, чего нам не говорили. Дескать, работайте дальше, ищите. Отпечаток не зарегистрировали. Наш доктор считал… Вообще-то он чиновник медицинского ведомства, советник медицины Блехнер. Мы говорим «наш доктор», потому что он нам всегда помогает, если что надо. Он человек сговорчивый… ну, с ним хорошо сотрудничать, к тому же он играет в тарок, в общем, мы, можно сказать, друзья-приятели.

За картами мы с ним об этом деле перемолвились. Палец еще лежал у нас в морозилке. Тогда выпала редкая возможность посидеть узким кругом. Почти все наши ушли поддавать, бухать, жбанить и т. д. и т. п. Раньше были у нас даже любители преферанса, но они давно на пенсии.

Теперь и тарокистов-то не осталось. За картами доктор принимал с нами по стопке и становился разговорчивым… Так вот, наш доктор заявил: «Если хотите знать мое мнение — палец отрезан тупым ножом. Несчастный случай исключается».

Он извлек сверток из холодильника, развернул платок и прихватил палец щипцами для сахара. Края кожи и мышечные волокна были кое-где размочалены, а где-то более или менее ровно обрезаны. На торчавшем наружу сухожилии — что-то вроде зарубок. Создавалось впечатление, что его просто разодрали. Это кое о чем говорило. Значит, надо было рыть дальше. Тем более что начальство постоянно требует тщательно изучать место преступления. В данном случае лучше сказать — место находки. Этим делом никто не занимался как следует. Даже в оперативном отделе. У нас был палец, а они вышли на человека, который мог быть потерпевшим, и не поставили нас в известность. Вот такая у нас тогда была петрушка.

Только я один, пожалуй, и осмотрел место более или менее внимательно. Никаких следов крови. По моим соображениям, палец попал туда после трех часов ночи. Между часом и тремя в переходе

на Карлсплац делают уборку. Вы хоть раз видели, как это происходит? Сперва выкатывают две тележки с шампунем. Это два таких бочонка на колесах. Раньше к ним добавляли еще и баллон со сжатым газом. Вся эта штука фонтанирует, что твой огнетушитель. Один из уборщиков толкает тележку, другой держит брандспойт. Обратите внимание на пятна на полу в переходе. Это следы ночной уборки. В час ночи, как только загремят эти танки, даже нам не до шуток. Не успеешь вовремя унести ноги — бесплатная головомойка тебе обеспечена.

«Зеленые» настояли на отказе от сжатого газа — из-за озоновой дыры. С тех пор уборщикам приходится выводить шампунем каждое пятно. Один качает, другой разбрызгивает. За ними идут еще двое, у них — тачка с опилками и лопаты. Опилками посыпают уже ошпаренные химией пятна. А заканчивают уборку еще двое — с широченными метлами. Пальца все они просто не заметили, хоть он и лежал у самой стены. Как-то во время ночного дежурства я спускался в переход, чтобы расспросить бригаду уборщиков. Ни один из них по-немецки ни бум-бум. Я показал им слепок. Они чуть со смеху не покатились. Ничего путного из этой затеи не вышло.

Начальник и другие сослуживцы отказывались понимать меня, мой настырный интерес к делу, когда ни тебе заявления, ни даже потерпевшего. Но я уже закусил удила. Хотя бы потому, что наши подзаводили меня своими насмешками. «Ну, все, — говорили они, когда меня отряжали патрулировать, — теперь жди улова. Глядишь, еще какой бесхозный палец найдется».

А ведь, как потом выяснилось, я взял след крупного зверя, мне бы идти по нему дальше. Кто знает, может, я сумел бы предотвратить катастрофу. Тут уж меня бы зауважали. Тогда бы всем стало ясно, что Караульщик не лыком шит.

Караульщиком меня прозвали в начале службы, потому что я приехал в Вену из сельской местности. Мой старший напарник пресекал, как мог, попытки приклеить мне это прозвище. А в его отсутствие меня им то и дело подначивали. Но к тому дню, когда был бал, от меня уже отстали — для шуток нашелся служивый помоложе, тоже из деревни.

Единственный из тех, с кем я тогда работал и кого мне не хватает, — это мой прежний наставник. Теперь он — начальник патрульно-постовой службы в Майдлинге. Для полицейского он слишком уж мал ростом. Еле дотягивал до нижнего

предела нормы. А поскольку он был поперек себя шире, а у нас тогда служили парни вроде меня — длинные как на подбор, то он казался еще приземистее. Когда мы с ним отправлялись на обход, про нас за глаза говорили: недомерок с недоумком. Иногда я ему звоню — поболтать пару минут про старое. Он собирается пригласить меня на свое пятидесятипятилетие. Однако этой истерии с пальцем не придал значения и он. Мне бы стоять на своем. Я бы сам себя продвинул. Где этот беспалый? Высунулся разок и куда-то провалился. Какое он имеет отношение к делу, прогремевшему на весь мир? Мы все еще плутаем в потемках. А эта важная комиссия, которая якобы уж точно все распутает, тоже, видать, буксует. Иначе и быть не может. Стоит только взглянуть, кого в нее напихали. В общем, к нам в участок сверху присватали одного инспектора, такого же, как все мы. Чтобы лишить нас сверхурочных. Он и службы-то не нюхал. Зато теперь заседает в комиссии. А сдвигов-то никаких. Даже если в остальном есть какие-то успехи: мы же умеем вертеться, как-никак полицейский — видная фигура. А вот комиссия, даю вам гарантию, ничего не нароет. Я в то время и то, наверное, дальше продвинулся, чем они сейчас.

Я не хотел отступаться, не давал так просто оттереть себя. Даже когда дело с отсеченным пальцем закрыли и я уже не мог заниматься им официально, я все равно продолжал начатую работу. На чем сосредоточить внимание, я и сам толком не знал. Вероятно, надо было приглядываться ко всему, что бросалось в глаза, например к тем людям, у которых не хватало мизинца. Но, честно сказать, такие попадались нечасто, а еще честнее, не попадались вообще, но имело смысл понаблюдать за подмузейным уголком, так как в этой части перехода не было камеры наблюдения. Сброд, который боится света, забирается именно в такие щели. Правда, после истории с пальцем, на которой я заработал благодарность за внимательный осмотр места патрулирования, сделали запрос в отдел видеослежения за транспортным и пешеходным потоком. Было решено установить в переходе еще одну камеру.

«Дай-то Бог! — обрадовались наши. — Не надо будет лезть под землю ко всякой швали, начнем опять парки прочесывать».

Они перестали это делать. Со службой видеонаблюдения мы стали жить душа в душу с тех пор, как там начал работать зам по кадрам. А вот с его преемником каши не сваришь. Он стал замом

по кадрам, а вскорости и начальником патрульно-постовой службы. Никаких интересов, кроме собственных, у него не было. После катастрофы скакнул аж в начальники районного управления. А бывший зам по кадрам, который ушел в отдел слежения, был боец хоть куда. В гору пошел после такого заявления: «Запись на пленку действий полиции при исполнении служебных обязанностей недопустимо использовать против сотрудников». И тут он не отступал ни на шаг, не на словах, а на деле. Даже высшее начальство замандражировало. Ведь уж давно завели обычай крутить такие пленки по телевидению. И никто не знал, как вести себя при исполнении-то. Руки были буквально связаны. Всегда находился умник — а на суде почти наверняка, — который видел в наших действиях какое-нибудь нарушение или необоснованное применение силы. В общем, инициатива этого зама по кадрам показалась начальству крайностью. Инспектор сказал: «У нас так нельзя. Если пресса подловит нас, тут же начнет трубить про полицейское государство».

Тогдашний директор Службы безопасности был за компромисс: «Мы можем ограничить доказательный материал рамками наиболее серьезных

обвинений, но устранить его вообще — не дадут судейские».

Кадровик рассказывал нам все это сразу после заседаний. Он был крепкий орешек. Как-никак ведал личным составом и представлял нас в Федеральном управлении, а это не хухры-мухры. Его предложение затирали, то и дело перебрасывали на следующее заседание парламентского комитета. И так не меньше года. Наконец прежний директор Службы безопасности надумал решение. Зама по кадрам «передвинули» в начальники архивного отдела службы видеослежения. Теперь у нас так: если суд в течение недели не заявляет требования, то наиболее броские, как мы говорим, видеомагнитные пленки перезаписываются. А так как ни один наш суд за неделю на такое дело не раскачается, то и с нас взятки гладки. И все довольны.

Мы всегда были за то, чтобы решить дело миром. Сколько раз мы увещевали наркобратию: «Можете травить себя дома, но только не на Карлсплац! Мы же все-таки в цивилизованном городе. Сюда приезжают люди со всего света, чтобы культурой подзарядиться, винца молодого отведать, а у них под ногами наркоманы путаются. Дуйте уж прямиком в Гарлем». А они и слушать

не хотят. Упертые. «Вам предлагают разойтись по домам, — говорим мы, — вколите себе вашего зелья и идите с миром, но при одном условии — чтоб больше здесь духу вашего не было».

И думаете, помогло? На следующий день они опять тут как тут. Вот что характерно. И так несколько лет — некоторые нарушители плевали на наши мирные предложения. Пинки уже не действовали, уговоры тоже. С каждым месяцем балдежники становились все наглее. По вечерам, за стаканом вина, мы то и дело перетирали одни и те же вопросы: в чем тут дело? Чего это они так задираются? Чего им надо?

В день бала мы со стороны музея двинулись к главному пассажу и тут наткнулись на первого из этих типов. В том месте как раз ступени, а рядом пол идет под уклон. Если бы там были только ступени, никто бы не мог взять в толк, на кой ляд и каким болваном спланирован этот перепад. А так все идут по наклонной, и никто не замечает оплошности проектировщика. На ступенях сидел гитарист. Первым делом бросался в глаза ночной горшок, который он поставил перед собой. Ночной горшок. Разрешения на игру в общественном месте, конечно, не имелось. Мы не сразу приступили к перлюстрации, так как надо

было управиться с булочками. Что такое перлюстрация? Не слыхали? Сами же говорили, что у вас отец родом из Вены. Перлюстрировать значит у нас — тормознуть для проверки документов. Этого парня мы знали. Он был безобидный, даже какой-то утонченный, что ли. Мы вполне официально попросили его удалиться.

Пришлось поневоле изобретать какую-нибудь уловку — на случай действий в неоднозначной обстановке. Он играл без разрешения, но вокруг никого не было, так как в этом закутке даже киосков нет. Это повторялось из раза в раз. Кто-то совершал нарушение, например играл в общественном месте без разрешения, а в дураках оказывались мы, поскольку не было рядом свидетелей, которые могли бы дать показания. Зато теперь нас выручают параграфы о бродяжничестве, и мы можем принимать решительные меры. А раньше мы в таких случаях легко могли подставиться. Приходилось что-то придумывать. Эти музыканты прямо глаза мозолили, их за версту слышишь, а иногда по запаху чуешь, а потерпевших-то нет. Так было и на сей раз. При обыске гитариста… правильно, перлюстрации, вы быстро схватываете… не обнаружилось никаких свидетельств дальнейших преступных

намерений. Ни шприцев, ни самокруток, ни таблеток, ни соломки. В гитарном футляре — несколько струн, подставка для яиц и мертвая мышь. На кой ему мышь? Говорит, что это его талисман. Для задержания маловато, а для предупреждения больше чем достаточно. В общем, тот стандартный случай, когда юристы предоставляют полицейским выбирать меру воздействия. Этим надо было как-то воспользоваться. Мы этого музыканта малость пошпыняли, без особой надежды на понимание.

«На этот раз ты попался, другого уже не будет. Поблажки не жди. Встать, когда с тобой разговаривают! Документы! Как нет? Тогда пойдешь с нами, голубчик».

Но он вел себя спокойно, не давал повода для задержания. Мы официально потребовали, чтобы он убрался отсюда. Предписали ему явиться в пикет на Карлсплац, зарегистрироваться в журнале и сообщить, что он играл без разрешения. Мы были уверены, что он не сделает этого. А если бы и сделал, его из регистрационного пункта наверняка бы направили в следующую инстанцию, а там — то же самое. Это половинчатое решение мы называем официальным путем.

Но так только кажется. На самом деле офици-

альный путь у нас проделывают лишь бумаги. То, что вы считаете путем, это — настоящая служба, это называется патрульным обходом. А вот официальный путь я всегда представлял себе чем-то вроде невидимой стремянки с видимыми перекладинами. И сегодня — все то же самое. Правда, теперь нам легче, к примеру, можно чего-то жалобами добиться. Так как нас вроде бы больше зауважали, а начальник венской полиции Резо Дорф всерьез следит за тем, чтобы наши были довольны своей жизнью.

Ну не глупость ли несусветная — потребовались тысячи смертей, чтобы нам дали приличные оклады и надежное оборудование? В момент все нашлось. Уже обещают выдать электрошоковые жезлы. Вместо резиновых дубинок. По германскому патенту. Не надо будет никого дубасить, только прикоснись к нарушителю — и он света белого невзвидит. Для меня это дело неновое. Я еще в деревне видел такие штуки. Мы их тыкалками называли. Ими мясники загоняли убойный скот на грузовики.

До катастрофы жалоба имела смысл только тогда, когда ее подавали на подчиненного, да и то — если он не однопартиец министра. А жалобу на начальника лучше было держать при себе. Иначе

она, порхая по инстанциям, обращалась против самого заявителя. На самом верхнем шестке сидели два индюка, как мы их прозвали: министр и секретарь министерства. Мы все потешались над ними. А сейчас я вижу, как плохи были наши дела, когда полицейские и сельские жандармы смеялись над своим высшим начальством. Такое положение долго продержаться не могло. Если, допустим, венский полицейский встречал жандарма из Форальберга, им не надо было искать тему для разговора. Они рассказывали друг другу последние анекдоты про министра и секретаря — начальника канцелярии. Как называется болезнь внутренней политики? Шум в ушах министра.

Дело в том, что министр всегда говорил очень медленно и только то, что ему дул в уши секретарь, который вечно был под боком. Мы называли его наушным советником. А когда журналисты обращались к секретарю, тот заявлял, что не хочет затрагивать политические вопросы, так как тут все решает министр. Была еще такая шутка. Чем лечить секретаря? Каплями: он ведь не что иное, как шум в ушах министра.

Ежу было понятно, что секретарь лезет в министры. Все знали, когда-нибудь он подведет его под монастырь. Но никто толком не знал, что на уме

у нашего министра. С одной стороны, он всегда защищал полицию, ведающую делами иностранцев, как говорится, поднимал ее боевой дух, и в то же время на какой-то теледискуссии буровил что-то про избирательные права иноземцев. Чего же, спрашивается, он хочет: выдавить их или отдать им страну? В наших подразделениях никто уже не доверял руководству. Мы чувствовали себя как последнее дерьмо.

Вот, допустим, решил я подать жалобу на начальника нашей патрульно-постовой. А кому жаловаться-то? Его ведь министр лично на должность назначил. И тогда жалоба идет официальным путем, по инстанциям. Я, конечно, ничего такого не подавал, но ход дела могу точно обозначить: первым делом я должен вручить жалобу самому начальнику патрульно-постовой службы, он, даже если она деликатно составлена, тут же изменит табель нарядов и навалит на меня уйму дел по регистрации, а сам тем временем будет обзванивать своих приятелей — инспекторов по контролю и прочих шишек, рассказывая им про мою нерадивость, и пошло-поехало, а те еще и от себя чего-нибудь накропают да обсудят это дельце за стаканом вина с кем-нибудь из полицейского управления Нижней Австрии. А тот

и свое заключение составит, чтобы довести его до соответствующей инстанции в Федеральном управлении и до подчиненного ему кадровика. А с согласия кадровика, если не с его подачи, был когда-то назначен начальник патрульно-постовой службы. Да и сам начальник — бывший кадровик. А этот углядит в моей жалобе поклеп на самого себя, как будто я министру на его некомпетентность жалуюсь. И уж тогда накатает телегу втрое длиннее всех прежних, и попадет моя фамилия в тот самый список, в который заглядывают, совещаясь, кого поощрить и продвинуть по службе, а кого лучше попридержать. Пухлый конверт отправится в приемную министерства и дойдет до отдела личных дел. Потом, глядишь, доберется до самых верхних перекладин: комиссар, обер-комиссар, советник, старший советник, министерский советник, начальник секции, секретарь канцелярии — и обрастет солидными приложениями. После чего на стол министра ляжет целый том, состоящий из моей безобидной записки на его имя и десятка уничтожающих меня бумаг.

Министр спросит:

— Ну, что там опять?

Секретарь, то бишь начальник канцелярии,

скажет:

— Дисциплинарное дело. Не рядовому инспектору патрульно-постовой службы поднимать этот вопрос. К настоящему моменту наверняка все уладилось.

— А где наш ответ?

— А вот, господин министр. Как раз под письмом. Если позволите, я резюмирую: в результате всестороннего изучения имеющегося материала можно сделать вывод о нецелесообразности каких-либо организационных выводов. Вот здесь надо бы завизировать. Следующее дело более проблематично. Тут начальник патрульно-постовой службы не из нашей партии жалуется на полицейского из районного участка, нашего однопартийца…

Вот чем бы все обернулось. Это и есть официальный путь. Правила тут жесткие. Кто их знает, тот застрахован от неприятных сюрпризов. За все приходится платить свою цену, зато можешь быть уверен, неприятностей по службе у тебя не будет. Если же, к примеру, придет жалоба со стороны, ну, допустим, кто-то утверждает, что его избили — они ой как любят говорить про пытки, — то здесь официальный путь станет тебе щитом. Уж его-то никто не прошибет. Дисципли-

нарная комиссия стоит за своих горой. Смещение с должности не предусмотрено служебным правом, увольнение — мера исключительная. Для этого надо своими руками передушить семерых балдежников.

Другое дело — путь патрульных обходов. Тут можно нарваться на сюрпризы, а можно, если они тебе ни к чему, обойтись и без них. Патрулирование — дело в принципе запрограммированное. Но всегда найдется причина отклониться от пути. Булочки с паштетом — сами по себе еще не причина, но подмузейный пятачок в любой момент может преподнести сюрприз. Взять хотя бы тот палец.

Освобождение

Массовые захоронения и горы трупов всю жизнь, как проклятье, преследуют меня. Первой на моей памяти фотографией был снимок братской могилы. Сотни мертвых тел в траншее, голых и полуодетых. По телам расхаживают четверо мужчин, это — бывшие эсэсовцы из охранного подразделения концлагеря Берген-Бельзен. Война закончилась. Но этих задержали, заставив убирать отходы их собственного, так сказать, производства. Это выглядело так, будто после обильного ужина они забыли помыть посуду. На переднем плане — береза, в центре — эсэсовец, явно утомленный укладкой трупов, а слева — человек в британской военной форме, с винтовкой и насаженным на нее штыком.

Всего у отца было четыре фото, привезенных из Берген-Бельзена. На одном из них — крупный план — та самая братская могила. Груда обтянутых кожей, искривленных скелетов напоминает завязанную узлами цепь. Не так просто разобрать, где чья нога или голова, с каким торсом сочленяется тот или иной тазобедренный сустав.

Кое-где тела прикрыты лоскутьями одежды. На другом снимке — бульдозер, толкающий груду человеческих тел к краю ямы. И последнее фото — обернутая одеялом женщина. Мертвая голова обтянута белым платком. Руки сложены на животе. Застывший взгляд устремлен куда-то в сторону. Снимок сделан в тифозном бараке лагеря.

Во времена моего детства отец показывал эти фотографии каждому, кто бы ни побывал в нашем доме. Комментируя первый снимок, он неизменно указывал на британского офицера и пояснял: «Это я».

Гости сидели как воды в рот набрав, когда отец говорил о сладковатом трупном смраде, который облаком окутывал концлагерь и чувствовался даже издалека. Он рассказывал о горах трупов, обнаруженных англичанами в Берген-Бельзене. В первые дни после освобождения эти груды только росли, поскольку ежедневно трупов поступало больше, чем успевали захоронить. Одна женщина заплакала, увидев снимок братской могилы. Она искала на ней тело своей матери.

К нам приходило много людей. Почти все говорили по-немецки. В нашей части Хэмпстеда улицы уже именовали «штрассами» — настолько

велик был приток эмигрантов. Немцев и австрийцев я делил на две группы: на хорошую — это были люди, заходившие к нам, — и плохую, состоящую из убийц, которым чуждо все человеческое, но эти жили далеко от нас, на континенте. Я знал, где отец хранит фотографии, и часто рассматривал их. Будучи старым австрийским коммунистом, отец отлучил меня от всякого религиозного воспитания. И хотя в детском саду и в школе меня приучали к мысли о том, что после смерти люди либо возносятся на небо к Господу Богу, либо попадают в преисподнюю, к дьяволу, у меня была каша в голове. Я видел склеенные глиной глыбы трупов, видел бульдозер, перекатывавший их по земле, ломая черепа и кости, а ведь это всё были хорошие люди, чьи родственники навещали нас. И как же они могли вдруг очутиться в другом месте, если лежали здесь. Всемогущий Бог смахивал на Гитлера. Он был большим пальцем гигантской руки, который в любой момент мог показаться в небе и раздавить меня.

Однажды отец рассказал, как спустя несколько дней после освобождения он нашел среди трупов живого человека. Бульдозер сгребал смердящие тела в яму, а отец следил за тем, чтобы эсэсовцы не работали спустя рукава. И тут он заметил

ладонь, она шевелилась, несмотря на то что бульдозер еще не поддел клубок трупов, из которого она торчала. Он дал команду «стоп» и по мертвым телам взобрался наверх, где мелькнула рука. Она была теплой. Так удалось выяснить, что при освобождении среди мертвых могли оказаться и живые, которых еще теплыми просто сваливали в штабеля. А у них не хватало сил даже на то, чтобы голосом или шевелением подать какие-то признаки жизни. И меня преследовала картина: я лежу живым среди трупов, а бульдозер гонит этот вал к могиле.

Когда мне было лет двенадцать-тринадцать, фотографии притягивали меня уже по иной причине. Теперь для меня было важнее то обстоятельство, что я видел обнаженные тела. Я пытался определить, какой труп мужской, а какой женский. Это удавалось лишь в редких случаях, так как женщины от истощения стали совершенно плоскогрудыми. Но были и исключения. На переднем плане лежало сплошь измазанное глиной тело с большой грудью. Женщина не успела исхудать, должно быть, ее убили сразу, как только приконвоировали в лагерь. Я нашел это тело и на снимке с крупным планом. Тут она лежала головой вниз, опрокинутые груди свисали до плеч,

ноги были раскинуты. Рядом — вздыбленное вверх задом женское тело, верхняя часть фигуры погружена в скопище трупов, отчетливо видны гениталии. Эти трупы были первыми обнаженными женщинами, которых я видел.

Отец всю жизнь гордился тем, что был в числе освободителей Берген-Бельзена. Даже в почтенном возрасте, знакомясь с каким-нибудь человеком, он первым делом упоминал этот факт. Профессор колледжа, ученый-германист, он благодаря своей книге о Рильке снискал международное признание. Но почитатели Рильке встретили ее, естественно, без восторга, поскольку отец осмелился немного поскоблить отполированный до блеска олеографический образ немецкого святого от поэзии. В книге обстоятельно говорится о консервативных политических взглядах Рильке, о его преклонении перед Муссолини и об антисемитских выпадах поэта. Но не книга была предметом отцовской гордости. Однажды он сказал: «По воле случая я просто оказался первым, кто исследовал это».

Друзьям он предпочитал дарить не книгу о Рильке, а копии тех самых фотографий, где был запечатлен в качестве освободителя. А то, что в начале войны его как подозрительного иностран-

ца англичане интернировали, препроводив на остров Мэн, где пришлось голодать и спать на холодном полу, он, кажется, простил им. Хотя голод запомнился навсегда. Когда я возвращался домой из школы или со спортплощадки и говорил, что голоден, отец всегда поправлял: «Не голоден, а проголодался. Голод, сынок, — это совсем иное».

В Лондоне, еще до высылки на остров, он познакомился с чешкой по имени Бланка, то есть с моей матерью. Она была на несколько лет старше его и считалась квалифицированной преподавательницей английского. Свои симпатии к коммунистам, разделяемые столь многими эмигрантами, она благоразумно скрывала от властей. А поскольку она была чешкой, к ней относились лучше, чем к немецким или австрийским эмигрантам. Понятие Enemy alien[9] не стало ее клеймом. В ту пору, когда интернировали австрийцев и немцев, она получила место школьной учительницы. Отца она всячески опекала: поначалу он не знал ни одного английского слова. И вплоть до высылки она оплачивала его учебу в Лондоне. Вернувшись с острова, отец сразу же записался в действующую армию. У него

---

[9] Примечания: 9
Враждебно настроенный иностранец *(англ.)*.

была возможность отправиться по воде в Канаду вместе с другими эмигрантами. Он не захотел. Оставалось воевать со своими бывшими соотечественниками.

Мать рассказывала мне, что во время краткосрочного отпуска — это было еще до его участия в боевых действиях — отец уговаривал ее выйти за него замуж. Она же решила с этим повременить до окончания войны. Но когда война шла к концу, на свет появился я. А отец после войны еще почти год пробыл в Германии. Как военнослужащий британских войск, он пользовался свободой передвижения. В армии он получил псевдоним. На самом деле его звали Куртом Фейербахом. А в британской армии отца перекрестили в Керка Фрэйзера. Фамилию он сохранил и после войны. Мать мечтала о возвращении в Богемию. Отца же тянуло в Вену. В октябре 1945 года он туда уехал. Через две недели снова оказался в Германии. А в начале 1946 года вернулся в Лондон и женился на моей матери. И его английская фамилия стала моей тоже.

В Вену он рвался по трем причинам. Во-первых, для того, чтобы разыскать родителей, связь с которыми оборвалась в 1939 году. Во-вторых, хотелось взглянуть на квартиру, где он вырос.

Кроме того, он был готов возобновить контакт с Коммунистической партией Австрии.

В квартире жили чужие люди. Они делали вид, что понятия не имеют, кто нанимал ее раньше. Другие жильцы тоже не могли вспомнить, когда и почему отсюда съехали родители отца. «Давно это было, взяли вдруг и уехали» — вот и все, что он услышал. Депортационные списки конфисковали американцы, к тому же списки были неполными. Отец оставил матери в Лондоне все данные и адрес. Позднее от американцев пришло письмо, подтвердившее самое страшное. Стариков депортировали в Освенцим. Потом английская Комиссия по Освенциму, пользуясь данными, полученными от американцев, точно установила день, когда мои венские дед и бабушка погибли в газовой камере.

Вернуть старую квартиру не удалось. И хотя отец заполнил какую-то бумагу в какой-то венской конторе и оставил там свой лондонский адрес, эта контора больше не давала о себе знать.

С коммунистами у него тоже ничего хорошего не получилось. Старые товарищи посмотрели на его британский мундир и удостоили особого задания. Ему поручили вести агитацию среди попутчиков нацизма перед первыми выборами,

убеждая голосовать за коммунистов. Как солдат армии западных союзников, он мог бы рассчитывать на большее доверие австрийских граждан, чем, скажем, какой-нибудь эмигрант из Москвы. Отец сердечно поблагодарил былых соратников за почетное поручение и вернулся в свой гарнизон на территории Германии.

Пробиться в круг преподавателей колледжа первой сумела мать. В английской школе она получила столь лестные рекомендации, что ей доверили вести весь курс богемистики. Она заняла должность ассистента профессора. Мать не жалела усилий, чтобы выхлопотать отцу место на отделении германской филологии. Тут, несомненно, сыграли свою роль и его испытание войной, и заслуженные им отличия. Формально он закончил свою учебу, будучи уже преподавателем со стажем.

Позднее мне довелось прослушать несколько его лекций. Я думаю, он был хорошим профессором. Студенты чувствовали себя с ним, что называется, на короткой ноге. Многих из них он то и дело приводил домой. И наверное, за сорок лет его преподавательской работы в Ридженс-колледже не было ни одного германиста, кому он не показывал бы фотоснимков, сделанных в

Берген-Бельзене.

Шестидесятые годы были не самым удачным временем для завершения учебы. Мне, во всяком случае, это так и не удалось — я предпочитал околачиваться на Портобелло-роуд и ездить на остров Уайт, где проходили фестивали под открытым небом. Всякие попытки заняться учебой очень быстро заканчивались провалом. Когда отец перестал оплачивать мои расходы, я на Портобелло-роуд занялся продажей курительных принадлежностей и всевозможной заправки для них, какой баловались в ту пору. 1969 год провел в Индии. Откуда вернулся домой с отуманенными гашишем мозгами. Но и не без некоторых плодов познания. Продолжать учебу значило исполнять волю отца, а не следовать собственной.

В Лондоне я узнал, что полгода назад американцы высадились на Луне. В индийских селениях и в колониях хиппи эта новость до меня все-таки дошла.

Я получил место технического ассистента в отделе кинодокументалистики Би-би-си. Вначале мне надо было всего лишь возиться с кабелем и таскать алюминиевые чемоданы. У меня оставались длинные лохмы и окладистая борода. Но тогда среди младшего персонала Би-би-си воло-

сатиков хватало. Мне приходилось выполнять скучную работу, но производство документальных фильмов очень интересовало меня. Я подавал голос на совещаниях. Меня заметили. Я был освобожден от выездных работ и переведен в отдел планирования. При этом сыграло свою роль мое знание немецкого. Кроме того, я немного понимал и чешскую речь. Хотя говорить не умел. Когда мать заговаривала со мной по-чешски, отец почти всегда отвечал вместо меня: «Я тебя не понимаю». Потом она и со мной стала говорить только по-немецки. После женитьбы я иногда переходил в разговоре с ними на английский. Мать не испытывала при этом никаких затруднений. А отец поначалу противился такой практике.

«Говори по-немецки!» — осадил он меня однажды во время какого-то спора. Со мной он говорил исключительно по-немецки и надеялся, что я сохраню эту традицию в общении со своим сыном. Когда Фред был малышом, я еще старался придерживаться ее. Но не успел он усвоить первые немецкие слова, как меня уже стала утомлять такая воспитательная программа.

Теперь мои обязанности на Би-би-си состояли в чтении иностранной прессы, прежде всего немецкоязычной, и прослушивании радиопе-

редач на немецком языке. Каждую неделю я зачитывал на редакционном совещании обширный перечень тем, которые стоило отразить в информационных программах телевидения. Мои предложения охотно подхватывали. Я не ограничивался перечислением возможных тем, но всякий раз дополнял его своими соображениями относительно интервьюируемых персон и места съемки. Я стал, можно сказать, незаменим. Семья разваливалась, а профессиональные дела шли в гору.

Следующий карьерный взлет произошел в марте 1988 года, когда я раскритиковал документальный материал о поражении палестинского восстания и выступил против его запуска в эфир. При съемках использовались только контакты с палестинцами. На мой взгляд, фильм настолько однобоко представил суть конфликта, что это могло вызвать целый поток протестов и затруднить нашу работу в Израиле. При этом я не ставил под сомнение направленность фильма, я видел его недостаток лишь в том, что авторы не потрудились дать слово ни одному из членов израильского правительства и никому из еврейских поселенцев. С этого дня директор картины стал моим злейшим врагом. Но шеф отдела уже

успел проникнуться ко мне таким доверием, что передал эту работу мне, поручив довести ее до кондиции. Я обратился в посольство Израиля и открыто изложил суть проблемы. Дело закончилось тем, что мне целую неделю пришлось помотаться по передовым подразделениям израильской армии. Я брал интервью у военных, политиков и поселенцев, один из которых был уверен в том, что палестинцев, всех до одного, лучше перебить сегодня, чем завтра, чтобы не получилось наоборот. Отснятый материал обошел весь мир.

Несколько месяцев спустя я впервые оказался на усеянном трупами поле. Приехав в Локерби, я целыми днями снимал лишь один сюжет: собирание мертвых тел и останков, разбросанных по территории диаметром в несколько километров после теракта на борту самолета компании «Пан Американ».

С тех пор все мои маршруты вели в те места, где убивали людей. Во время войны в Заливе я принадлежал к избранному кругу репортеров, которых американцы допускали к работе на театре военных действий. Но мы не были фронтовыми корреспондентами, мы сидели в расположении части и ежедневно получали по-

дачки в виде готовых, отфильтрованных текстов и видеосюжетов — самые эффектные хиты. В кинопроекторской царило приподнятое настроение. Демонстрация успехов сопровождалась горячими аплодисментами. Никто из нас не знал, что на самом деле происходило за пределами части. Самостоятельные действия и всякие попытки добыть информацию на линии фронта совершенно исключались. Спустя месяцы мы узнали, что некоторые из отпразднованных удач оказались мыльными пузырями.

Мои репортажи были не лучше, но и не хуже работ моих коллег. Хороший материал удалось отснять только к концу войны, после того как иракская армия при отступлении несла большие потери в результате бомбардировок. Мы попали на дорогу, где не было видно конца искореженной и сгоревшей военной технике. Это были главным образом автомобили снабжения, но можно было разглядеть несколько приданных пехоте танков и совсем немного орудий. Повсюду лежали обугленные или растерзанные взрывами тела. Некоторые черными мумиями застыли за рулями машин, на месте глаз — выгоревшие впадины. Наш вездеход двигался вдоль дороги в нескольких километрах от нее. Картина, в сущности, не

менялась. Мы не нашли ни одного выжившего. Кассетные бомбы оставляют лишь небольшие воронки, но разрывают на куски всякого, кто пытается унести ноги из ада выжигаемой земли. Из отснятого материала удалось переслать только кое-какие фрагменты, так как британское правительство присоединилось к цензурному кодексу американских войск.

В то время как журналисты со всего мира устремились в Югославию, я готовил свой козырной ход. Мне удалось получить разрешение на съемки в Южном Ираке, который официально контролировался ООН, а на самом деле — американцами. Пентагон отказал мне. После заявлений, сделанных в ООН, решение было пересмотрено. Между тем поступали очень обстоятельные свидетельства о ходе войны. Выяснилось, что постоянно внушаемая нам, фронтовым журналистам, и подпираемая киноотчетами военных картина «чистой войны» — не более чем легенда. Один американский журналист установил, что иракским подразделениям, окопавшимся в песках пустыни, не оставили шанса сдаться. Их просто засыпали песком с помощью гигантски бронированных бульдозеров.

«А что вы хотите? — гремел рассерженный

генерал по Си-эн-эн. — Война есть война. И это была чистая стратегия. По-вашему, лучше, если бы мы их перещелкали поодиночке?»

Я потратил недели на сбор материалов о маршрутах выдвижения войск, наступавших со стороны Залива. На место прибыл в составе необычайно многочисленной команды, включавшей в себя топографа и четырех строителей, которых я хорошо подготовил к стоявшей перед ними задаче. Самая большая трудность состояла для меня в том, чтобы избавиться от сопровождения, для которого нам выделяли отряд охраны. Мы дали подписку, засвидетельствовав тот факт, что предпринимаем экспедицию на свой страх и риск и отказываемся от настойчиво предлагаемого сопровождения. Легко было догадаться, какое мы тем самым вызвали недоверие. Еще от нас потребовалось обязательство не покидать территорию, находившуюся под контролем ООН.

На трех вездеходах мы пересекли иракскую границу. Двигались по скрупулезно выверенной нашим топографом зигзагообразной линии того маршрута, по которому десять месяцев назад наступали танковые части американцев. Уже в первый день мы наткнулись на бронемашину, которая с виду не имела особых повреждений.

Очевидно, она застряла и ее попросту бросили. На третий день мы оказались в таком месте, откуда можно было разглядеть два танка и один бронетранспортер, занесенные песком больше чем наполовину. Наши строители откопали их. Пластины корпуса были изрядно повреждены, цепи разорваны. Ясно, что огонь по ним вели с северовосточных рубежей. Мы развернулись в ту сторону и по пути следования стали прощупывать песок составными зондами. Пройдя около километра, мы почувствовали, что щупы наткнулись на что-то твердое. Два дня мы исследовали грунт зондами. Таким образом удалось составить представление о размерах бункера. В длину он равнялся нескольким сотням, а в ширину — местами пяти, а кое-где и двадцати метрам. Вероятно, это была система довольно больших помещений, соединенных узкими ходами. Кое-где мы обнаружили ответвления, но отследили их не до конца. Топограф чертил диспозиции. Предстояло решить самую трудную задачу — найти вход. Можно было предположить, что вход, если он действительно засыпан, должен выглядеть скорее как холмик, нежели как углубление. Двухдневные поиски ни к чему не привели.

Вечером, когда наша усталая команда собра-

лась вместе, чтобы опустошить жестяные миски с ужином, один из строителей сказал: «Если это не отдельный бункер, а целая система, то вход может быть где-то в другом месте. А лучше всего прощупать каждый холм в округе».

И на другой день нам повезло. Вход находился под пятиметровой, никак не меньше, толщей песка. Мы встали цепочкой: впереди — строители, за ними — топограф, а потом — мы, съемочная группа. Поскольку у нас не было никакого материала, чтобы соорудить опалубку, пришлось прорывать очень широкую штольню. Но скоро мы поняли, что это напрасный труд. Когда ручьи пота и нешуточная усталость вынуждали нас сделать передышку, чтобы полить друг другу головы питьевой водой из канистры, стены вырытого нами колодца начинали на глазах осыпаться. Вечером поднялся ветер. А утром и без того ничтожный результат нашей работы был вовсе сведен к нулю. Мы предприняли еще одну попытку. Пришлось снять дверцы и капоты с наших вездеходов и использовать их в качестве опалубки. На сей раз мы проделывали узкий лаз, чтобы можно было хотя бы протиснуться. Стенки подпирали домкратами и пустыми канистрами. А потом в ход пошли даже запасные колеса и автомобильные сиденья.

В полдень над нами начал кружить вертолет. Мы догадывались, что это могло означать. И попытались ускорить процесс работы. Даже когда наши машины остались без колес и ветровых стекол, входа все еще не было видно.

Вертолет приземлился, к нам пожаловали гости — американская военная полиция. Без лишних слов нас арестовали. Пришлось все бросить как было. Вертолет доставил нас на территорию какой-то части в Кувейте. Там нас распихали по отдельным камерам, где офицеры Службы безопасности непрерывно допрашивали каждого. Ночью, после двухчасового сна, меня разбудили, чтобы еще раз задать всё те же вопросы. Им надо было во что бы то ни стало выяснить, на кого мы работаем. В то, что я затеял экспедицию по собственной инициативе, пусть даже и с ведома руководителя отдела, офицеры не хотели верить. Обходились с нами неплохо, хотя, конечно, не деликатничали, кормили нормально и силу не применяли. Донимали только бесконечными допросами. На четвертый день в мою камеру вошел британский офицер войск ООН. Он сказал, что мы можем лететь домой. Вся отснятая пленка конфискована. Мой ответ звучал так: «Никакой пленки мне не требуется, достаточно того, что у

меня в голове и что могут показать свидетели. Я расскажу о том, что ООН помешала мне обнаружить массовое захоронение».

На этом и расстались. Следующие два дня нас не беспокоили. В это время, как я узнал позднее, наш премьер-министр Джон Мейджор лично звонил моему шефу вне себя от ярости. Я оказался виновником дипломатической перепалки на самом высоком уровне. После двухнедельной отсидки нас освободили и перевели на жительство в гостевую казарму с кондиционерами, телевизорами и телефоном.

Женщина в погонах объяснила, какой код надо набирать, чтобы позвонить в Англию. Один first lieutenant[10] пригласил меня на ужин в казино. Протянув руку, он сказал: «Call me Dick».[11]

Извинился за то, что нас продержали под арестом. По его словам, это была вынужденная мера, так как своими действиями мы создали большую угрозу — он сказал даже calamity[12] — для интернационального контингента. Наши намерения

---

[10] Примечания: 10
Старший лейтенант *(англ.).*

[11] Примечания: 11
Зовите меня Дик *(англ.).*

[12] Примечания: 12
Большое несчастье *(англ.).*

они раскрыли с самого начала, но решили изъять пленки лишь после того, как мы добьемся какого-то результата. Ведь они сами весьма заинтересованы в изучении практических следствий своей боевой тактики. К сожалению, за нами вела наблюдение и иракская сторона, а потому пришлось вмешаться.

— Ну, и что теперь? — спросил я.

Он дожевал свою курицу и запил апельсиновым соком. В офицерском казино — сухой закон.

— Предстоят переговоры, — сказал офицер. — Для Саддама Хусейна нет никакого резона в том, чтобы его соотечественники видели, каким образом погибли их сыновья и братья. Никто не знает, как долго им удалось протянуть там, внизу. А нас это, естественно, интересует.

Потом first lieutenant пригласил меня к себе, в свою двухкомнатную квартиру. Одна из стен была сплошь увешана семейными фотографиями, другая — отведена милашкам из мужских журналов. У меня в глазах зарябило от этого парада обнаженных женщин. У каждой — сочные, слегка выпяченные губы, почти у всех — приоткрытые рты. Мой хозяин вел меня от портрета к портрету.

— Я отобрал их у солдат. Здесь мы должны хоть

немного считаться с законами страны. Но жалюзи у меня всегда опущены.

Когда я повернулся к стене с семейными сюжетами, он полез в платяной шкаф и из груды носков и подштанников извлек бутылку «Бурбона».

— Все в наших руках, — сказал он. — Нужна лишь толика организационного таланта.

Он открыл бутылку и наполнил бокалы почти по ободок, будто разливал яблочный сок. Затем поставил пластинку с Уилли Нельсоном. Поначалу просто слушал, потом начал подпевать.

— Ах, Америка, — сказал он. — Это — единственное, чего мне здесь не хватает.

— А женщины?

— При чем тут женщины? Хочешь перепихнуться?

— А здесь это возможно?

— Все в наших руках. Могу устроить. Но только уж не сегодня.

Он мог устроить все. В тот вечер он не раз предлагал мне марихуану. Когда я прилично захмелел, он поинтересовался моим происхождением. Я сказал:

— Мой отец освобождал Берген-Бельзен.

Для него это был пустой звук. Я пояснил: так когда-то назывался один концлагерь. Он при-

щелкнул языком и понимающе кивнул.

— Эти, евреи. Они не желают воевать по субботам. Найдется ли во всем мире самый разнесчастный христианин, который отказался бы воевать в воскресенье?

— Я наполовину еврей. И не стал бы воевать даже в будний день.

— А кто дал тебе твою свободу?

— Мою — что?

— Сукин ты сын! — рявкнул он. — Захотел и прикатил в Ирак трупы выкапывать! И еще спрашиваешь, что такое свобода?

Я ударил себя в грудь:

— Моя свобода здесь, внутри.

— Внутри у тебя кровь с дерьмом. Без нас ты был бы сейчас красной вонючей лепешкой на песке. А потом тебя бы сожгли бедуины.

— А люди в бункере?

— Это были наши враги, кретин.

— А как быть с их свободой?

Он вытащил пистолет и крикнул:

— Пошел вон, ублюдок!

Я встал и направился к двери, успев на ходу сказать:

— Благодарю за увлекательную беседу.

Commander[13] узнает о ней.

Он бросился за мною вслед:

— Я не хотел обидеть тебя, fellow.[14] Мне надо было разговорить тебя. Ну подзавелся малость. — Он на спортивный манер выбросил вперед руку, чтобы шлепнуть меня по ладони: — Give me five![15]

Я подставил ему ладонь. Он крепко ухватился за нее и втащил меня в комнату.

— А странная ты все же задница, — с некоторым недоумением произнес он. — Еврей, которого колышет свобода арабов.

— Я наполовину еврей. Другую мою половину колышет твоя свобода.

Он выпустил мою руку.

— Вот. Бери две бутылки «Бурбона». Для себя и своих друзей. А теперь вали отсюда.

Так нам и подфартило пять дней валять дурака, пить «Бурбон», любоваться кувейтскими принцами на телеэкране и ждать. Потом наконец было принято решение.

---

[13] Примечания: 13
Командующий *(англ.).*

[14] Примечания: 14
Приятель, дружище *(англ.).*

[15] Примечания: 15
Дай пять! *(англ.)*

Наша небольшая колонна выехала к иракской границе. Компанию нам составляли уже знакомый британский офицер и один французский — из частей ООН. Кроме того, нас сопровождали несколько солдат, first lieutenant и священник. Колонна состояла из двух бронетранспортеров, танка повышенной проходимости, седельного тягача на гусеничном ходу с экскаватором наверху и двух мощных грузовиков. За иракской границей нас ждали два бронетранспортера и порожние самосвалы. Горизонтальные поверхности машин были окрашены в белый и синий цвета — для того чтобы проносящиеся над нами самолеты-разведчики признали в нас подразделение ООН. Иракские военные встретили нас коротким и подчеркнуто официальным приветствием. Лейтенант протянул руку иракскому офицеру. Солдаты отдали честь. Дальше мы ехали вместе. Иракцы — во главе колонны. К тому месту, где мы начали раскапывать песок, прибыли вечером. Наших вездеходов там уже не было. Американцы собрали их по частям и переправили назад, в Саудовскую Аравию. Маленькая щель в песке осталась единственным свидетельством наших усилий. Мы уселись вокруг костра и принялись жевать ломти мяса, а иракцы молились, встав на

колени возле своих палаток.

На следующий день заработал экскаватор. Мы снимали. Лейтенант строго контролировал нас. Входить в бункер нам запретили. Мы могли снимать его только снаружи. В течение нескольких часов экскаватор нагружал песком самосвалы, которые ссыпали его в сотнях метров от входа. Постепенно открывались недра подземной крепости. Образовалась воронка, в центре которой косо торчала бетонная плита. Затем ковш подцепил мертвую ногу. Иракцы остановили работу экскаватора. Они начали вытаскивать трупы соотечественников и укладывать их на песок. Потом начали работать лопатами. Строители из моей телевизионной команды тоже в этом участвовали. Откапывали тело за телом. Вход в бункер был забит трупами и песком. Когда удалось прорыть сквозную брешь, в нос ударил омерзительно-сладковатый смрад. Нам было поручено вести как можно более крупноплановую съемку и освещать своими приборами вход в бункер на максимальную глубину. Тела хорошо сохранились. Многие были облачены в униформу и выглядели столь же истощенными, как и узники Берген-Бельзена. Не оставалось никаких сомнений в том, что люди до последнего

пытались преодолеть толщу песка, зачерпывая и отсыпая его касками. У некоторых на затылках виднелись огнестрельные раны, кто-то сжимал в руке четки. Мы старались высветить начало коридора. Но все, что мы видели и снимали, представляло собой одну и ту же картину: огромные насыпи песка и усохшие трупы на них.

Иракцы стояли вдоль длинной вереницы мертвых тел и пели молитвы. Их офицер следил за тем, чтобы мы не входили в бункер. Наш священник беспомощно топтался поодаль, прикрывал нос платком и чуть слышно что-то бормотал.

Сотня трупов тех, кто в смертельном отчаянии ввинчивался в гору песка, — вот и все, что мы могли заснять. Как это выглядело в самом бункере, сколько там погребено мертвых тел и в каком они состоянии — об этом нам оставалось только догадываться.

Однако наш документальный материал имел мировой успех. Благодаря этому однажды мне позвонил из Парижа шеф частного телеканала ETB Мишель Ребуассон. Вскоре он прилетел в Лондон и пригласил меня в свой отель на ужин. На поразительно хорошем американском английском он сообщил, что намеревается открыть в Вене отделение по вещанию на Восточную и

Центральную Европу. И сказал, что считает меня созревшим для этого проекта.

Инженер
Пленка 2

Когда я познакомился с *Нижайшим,* его звали Джоу. Я как раз закончил учебу и начал работать чертежником в одной строительной фирме. Моим объектом стал дом старинной постройки, где мы проводили санацию, он находился в четвертом муниципальном районе Вены, на Шенбурггассе. Край улицы был занят тремя нагроможденными друг на друга строительными контейнерами. Два из них почернели во время недавнего пожара, и в тот момент, когда я приступил к работе, их как раз ремонтировали. А третий выделялся своими нетронутыми красными гранями, на одной из которых, помимо фирменного знака, было отпечатано полное название фирмы. Тут помещалось мое мини-бюро в виде письменного стола, правую половину которого занимал строй чертежных досок; компьютера со сканером и принтером; телефона, спаренного с факсом; фотокопировальной установки; холодильника с кофеваркой и тарелками на крышке; нескольких стульев и шкафчика с документацией. Был,

конечно, и радиоприемник. Позднее я дополнил свой инвентарь маленьким телевизором. Тут мне пришлось подключиться к распределительной коробке кабельного телевидения в подъезде дома. На стене висел большой календарный план, на котором делал пометки архитектор, время от времени заходивший ко мне. Рядом с контейнерами стоял мощный подъемный кран. Бывали дни, когда работы наваливалось так много, что мне приходилось засиживаться в контейнере до полуночи.

Квартиры старого доходного дома выставлялись на продажу уже с новой планировкой. Большинство из них пользовалось спросом. Покупатели приходили ко мне. Я угощал их кофе, знакомил с планами, а затем и с ходом работ на стройплощадке. Всем хотелось иметь квартиры с мансардами и террасами на плоской крыше. Но они были проданы еще до того, как я приступил к работе. Цены были такие высокие, что семье с двумя средними годовыми доходами не имело смысла беспокоиться. Настоящая моя работа начиналась лишь тогда, когда клиенты были готовы купить какую-то квартиру, но при условии некоторых изменений по строительной части. Я с понимающим видом выслушивал их

пожелания, пытаясь выяснить при этом, насколько они разбираются в технических проблемах. Прежде всего в том, что касалось значительной переделки, которая могла бы повредить еще не проданной соседней квартире. Мне приходилось сочинять технические и юридические контраргументы по всем пунктам бесконечного перечня муниципально-жилищных законов и всякого рода предписаний пожарно-полицейских властей, и это звучало так убедительно, что клиенты дивились уже не своеобразию здания, а оригинальности собственных пожеланий и еще больше увлекались своей затеей. Когда мы достигали полного согласия, я звонил в управление фирмы и предупреждал: «Готовьте холодное шампанское. Господа такие-то идут подписывать договор».

Вот тут, к сожалению, надо было действительно потрудиться, и порой до глубокой ночи, поскольку утром архитектор изъявлял желание посмотреть планы реконструкции. Выпадали дни, когда мне вообще нечего было делать. Но я торчал на рабочем месте, так как мне могли позвонить в любой момент, даже в обеденный перерыв. Я просил шефа выдать мне мобильник, но ему, видите ли, было важно, чтобы я безотлуч-

но сидел в своей коробке. Телефон здесь издавал такие пронзительные трели, что их было слышно не только на улице, но даже у «Райнера» — в кафе по соседству. Вы смотрели фильм «Однажды в Америке» Серджо Леоне? Там тоже телефон сверлит барабанные перепонки. Роберт Де Ниро, прибалдев от опиума, лежит в какой-то наркодыре, сил нет подняться, а телефонный звон достает его. В кафе «Райнер» — это в общем-то даже не кафе, а забегаловка-эспрессо — я тогда считался завсегдатаем. Чаще всего сидел один за своим столиком и читал газеты или смотрел по телевизору спортивные передачи. Шеф играл в карты и нагружался пивом из маленьких бокалов. Возле стойки визжал и ухал игровой автомат. В обеденное время помещение наполнялось клерками из ближайших офисов. Они говорили на любимые темы — спорт, автомобили, программы телевидения — и костерили иноземцев. Юп Бэренталь вызывал всеобщее восхищение. Но трудно было поверить, что они будут голосовать за него. Они были просто пустобрехами. Смелости им хватало только на то, чтобы шлепнуть по заднице кельнершу-словачку, чьи недокуренные сигареты обычно дотлевали в пепельнице. Когда со стройплощадки доносился заполошный сигнал, я

вскакивал и бежал во все лопатки. Я успевал подскочить к телефону не позднее, чем он издавал пятую трель. Сначала я думал, что распоряжение, которым я был привязан к рабочему месту, как-то связано с еще не проданными квартирами. Но вскоре до меня дошло.

На этой стройплощадке, если не считать Бригадира, крановщика, меня да кое-каких мастеров, приглашенных для специальных работ, мантулили сплошь иностранцы — славяне всех разновидностей и несколько турок. Воздух густел от крепких выражений. «Дубина!», «Дерьмо собачье!», «Недоделок!», «Чмо черножопое!» — эта пластинка играла почти беспрерывно. Самое интересное, что иные из вышеназванных отвечали на это, не прибегая к более сильным формулировкам. Вероятно, они выражались на родных языках, которых мы не знали. Бригадира они называли капо. Ему было лет двадцать пять. Благодаря своей очень короткой стрижке он, возможно, и впрямь выглядел так, как представляют себе капо. Он носил строительную каску белого цвета, рабочие ходили в желтых. Мне тоже выдали белую. Но я к ней ни разу не притрагивался с тех пор, как повесил на крюк у двери.

Однажды во время разборки каркаса одному

рабочему упала на ступню тяжелая скоба. И он выругался на ломаном немецком: «Черт побирай проклятую работу!» Это вошло в наш лексикон. Когда поутру я спрашивал крановщика: «Как дела?», он отвечал: «Черт побирай проклятую работу!»

Иногда ко мне в контейнер заглядывал Бригадир — выпить кофе или пивка или подымить сигаретой. Как-то он сказал: «Скоро всю эту сволочь выкурят!»

Я не понял, что он имел в виду. Сначала он говорил все больше намеками, но вскоре проникся ко мне доверием, и впервые было произнесено имя Джоу.

Нижайший работал на этой стройке подсобником. Большинство иностранцев трудилось нелегально, без соответствующего оформления. Но они объединились и стали давить на шефа фирмы. Дело зашло так далеко, что они начали указывать, кого брать на работу. Среди них было несколько не очень молодых боснийцев и черногорцев, которые уже не один год пахали на фирму. Постепенно они перетащили к себе друзей и родственников. Джоу открыто возмущался этим, но ничего не добился.

— Джоу был тут без году неделю, — рассказывал

Бригадир. — Сперва я и брать-то его не хотел. Хилый пацан с самокруткой в зубах. Только вчера из гимназии и раньше нигде не работал. Но, как оказалось, сноровист. С лету соображал, как и что, стоило ему только посмотреть, как дело делается. С тех пор как он здесь, парни стали работать по уму и шустрее. Мне уже не надо было наверх лазить. Объяснишь ему, что требуется, и можешь быть спокоен, уж он проследит. Он не драл глотку, не тратил нервы, а холодно так отчеканивал свои команды. Если кто-то ему перечил, он запускал в него тяжелой рукавицей. Однажды возникла стычка. Джоу заехал одному боснийцу лопатой по физиономии. А после они его отметелили. Их два брата было. Но напали не сразу, а выждали, пока я спущусь вниз, — надо было выпустить бетономешалку. Когда поднялся обратно, Джоу лежал скорчившись возле укосины опалубки.

Я спросил, не кричал ли Джоу, когда его били.

— Джоу никогда не кричал. И уж тем более в тот раз, чтобы не доставлять им удовольствия.

Я встал рядом на колени. «Что случилось?» — спрашиваю. Он говорит: «Все о'кей». Потом встает, из носа кровь хлещет, смотрю: идет, пошатываясь, к лестнице. Но очень скоро он вернулся с железным прутом в руке. Я был уверен, что он

их прикончит. «Бегите отсюда, — кричу, — что есть духу, и чтоб больше вас здесь не видели!»

Бригадир закурил еще одну сигарету и достал пицц ил холодильника.

Джоу — потрясный парень, — сказал он. — Младше нас тех, но умен, как змий. И знает, чего хочет.

— Его уволили? — спросил я.

— Когда решили взять двух новых, Джоу пошел к начальству фирмы и заявил: «Я требую, чтобы взяли двух своих, коренной национальности!» Его выставили за дверь. На следующий день в бригаде появились два нелегала. Они жили в черных контейнерах. Джоу сказал, чтобы они убирались, что он не потерпит их присутствия. Но они остались. И однажды вечером он пришел с друзьями и подпалил обе будки. Его уволили. Твоему предшественнику тоже досталось жару. Он попросился на другую стройплощадку. Боялся, что Джоу вернется отомстить за расчет. Тут, конечно, поувольняли и всех нелегалов: босс испугался расследования. Четыре дня здесь аукались только те, у кого была прописка, — всего несколько человек. А потом — новый наплыв чужеземцев.

— А теперь-то они прописаны?

Бригадир только посмеялся и протянул мне бутылку с пивом:

— На-ка, глотни, придурок. У шефа есть свой человек в инспекции по трудоустройству, уж он-то догадается позвонить до того, как контроль нагрянет. Поэтому тебе и надо сидеть у телефона. Усек? Чтобы вся сволочь успела смыться.

Бригадир и крановщик корешились. Вместе ходили обедать или наведывались ко мне в контейнер, чтобы перекусить тем, что принесли с собой. Бригадир выпивал не меньше двух бутылок пива. Крановщик с вечно взъерошенными сальными волосами выглядел так, будто гудел всю ночь напролет, и пил только минералку.

— Только не на работе, — говорил он. — Меня из-за этого дела чуть не выперли.

Постепенно я сошелся и с ним. Он был довольно широкотазым, с отвислым животом, хотя на самом деле вовсе не толстым. Тем не менее Бригадир звал его *Пузырем.* Из разговоров я понял, что выходные он обычно проводил вместе с Бригадиром где-то за городом. То, что они связаны каким-то делом, которое не стоит предавать огласке, мне стало ясно в тот день, когда Бригадир вскинул руку с бутылкой и возгласил: «Хайль Гитлер». А крановщик в ответ произнес

то же самое с таким видом, будто для них это дело привычное. Но чем чаще повторялось «Хайль Гитлер», тем меньше значения я этому придавал. К тому же они тогда никак не комментировали свое заздравное приветствие.

Первые месяцы моей службы были довольно однообразной бодягой. Я навязывал людям квартиры, чертил планы, регулярно наведывался в кафе «Райнер», смотрел телевизор и забавлялся компьютером. В нем имелся огромный жесткий диск, занятый большей частью играми, в том числе «Полетным тренажером», — а это лучшее, что было тогда в продаже. Основная часть игр перешла ко мне от моего предшественника. Мало-помалу я пополнял ее новыми копиями. Совершая свои виртуальные полеты, я слышал шум стройки. Солидное гудение грузовиков, когда они пятились, чтобы вывалить содержимое бетономешалок, писк гидравлики, стук молотков по стальной арматуре, по скобам и дереву опалубки, визг дисковой пилы, завывания «болгарки», словесная перестрелка строителей и яростное рявканье Бригадира. Однажды я слышал, как он орал в приступе настоящего бешенства: «Скоро я пристрелю тебя, пес облезлый! Пристрелю! Как кабысдоха! Щелк-щелк — и точка!»

Я пустил свой самолет в штопор и выскочил из будки. Бригадир держал в руках ножницы для резки металла, он стоял в позе автоматчика. У старого боснийца, которого беспрекословно слушались земляки, отвисла челюсть. Несколько человек встали у него за спиной. Тут он обрел дар речи и сказал:

— Ты хочешь войны, капо. Будет тебе война.

— Да, я хочу войны! — крикнул Бригадир и бросил ножницы под ноги боснийцу. Уходя, он обернулся и пригрозил: — Если еще раз обкорнаешь пруток короче, чем надо, будешь снова руками вертеть мешалку.

Старик босниец скинул с головы каску. Бригадир вместе со мной проследовал в контейнер. Достал из холодильника бутылку пива.

— Грязный сброд, — сказал Бригадир. — Жду не дождусь, когда мы их снова прогоним за Караванкен.

Он с такой силой вдарил ногой по стене, что закачались подвешенные на крючке лампы аварийного освещения. Я еще никогда не видел его в таком состоянии. Он присел и вылил пиво себе в глотку. Поставив на стол пустую бутылку, снова разразился бранью и наконец сказал:

— Джоу был прав. Их надо выкуривать до тех

пор, пока снова не возьмут наших.

В этот момент подъехала машина с бетоном, и ему пришлось выйти из будки. Вернувшись, он положил руку мне на плечо:

— Ты нормальный парень. На выходные поезжай с нами за город.

Дядя Бригадира владел запущенной усадьбой близ Раппоттенштайна. Она состояла из четырехугольного здания с дырявой кровлей и поляны вокруг. Землю, принадлежавшую раньше хозяевам имения, раскупили окрестные крестьяне. Дядя Бригадира, работавший мастером на венских муниципальных предприятиях, не находил применения этой недвижимости. Он хотел было обустроить свое загородное жилье, но у него не хватило денег на санацию большого дома. Все, что здесь хоть как-то годилось для обихода, было выдрано из списанных трамваев. Кухонная полка смонтирована из поручней. Половники и пестик для пюре висели на скобе, за которую некогда держались пассажиры. Маленькая спальня смотрела во двор окном старого венского трамвая. Чтобы открыть окно, надо было потянуть за ветхий кожаный ремень. Тогда оно опускалось в недра деревянной обшивки, а ремень можно было фиксировать в нескольких позициях при

помощи железного штырька.

Крановщик, которого я вскоре тоже стал называть Пузырем, и Бригадир заехали за мной на машине. Через два часа мы остановились перед широкими воротами усадьбы. Собственно говоря, сюда только на машине и можно было добраться. Если ехать почтовым автобусом, на дорогу ушло бы часа четыре, а потом пришлось бы пару километров топать пешком. Меня познакомили с двумя парнями, которых еще по дороге отрекомендовали как *Сачка* и *Профессора.* Они вышли нам навстречу с пивными бутылками в руках и начали тыкать в грудь кулаками Бригадира и крановщика. Из бутылок полетели брызги. Сачок и Профессор сказали, что рады со мной познакомиться и много обо мне слышали. Кто-то из них сунул мне в руку бутылку. «До дна», — сказал один, а другой пояснил: «Наш традиционный глоток в знак приветствия». Пришлось последовать примеру Бригадира и крановщика, хотя они-то давно наловчились осушать бутылку одним махом. Перед второй бутылкой я спасовал. Сачок и Профессор отнеслись к этому снисходительно. Поскольку оба были безработными, они часто оставались в усадьбе на всю неделю. И тут вели себя как настоящие хозяева, которые знают, где

что лежит. Первый, в прошлом — квалифицированный печатник, был уволен, несмотря на почти десятилетний стаж работы. Своей фамилии — Зак — он и был обязан прозвищем Сачок. Он чинил в доме все, что требовало ремонта, делал покупки и добывал дрова для печи в подвале, который служил тиром. На нем всегда был черный картуз. Про его лысину я в первые дни даже не догадывался. Второй, Профессор, бросил учебу в среднем техническом училище и какое-то время работал в компьютерной фирме. После того как фирма обанкротилась, он уже не смог найти работу. А потом даже искать перестал и целыми днями занимался обустройством своего хайтек-салона.

— Добро пожаловать, — сказал он. — Я покажу вам свои новейшие достижения.

По большому двору, между двумя заброшенными хозяйственными постройками, мы прошли к обветшалому крыльцу жилого дома. Сверху сыпалась штукатурка. Полусгнившая дверь еле держалась на петлях.

Сачок сказал:

— Джоу приедет завтра вместе с остальными.

Я заметил разочарование на лицах моих спутников. Но сам был неожиданно обрадован, ведь Бригадир не говорил, что мне предстоит позна-

комиться с Джоу.

Пропахший сыростью холл, а потом крайне скудно освещенная комната. Профессор шагнул вперед и крутанул впотьмах пусковую ручку трамвая. И тут вспыхнул свет. Обозначилось пространство очень большого помещения, высота потолка не меньше пяти метров, а стены покрыты обрешеткой из реек — остатками старого трамвайного хозяйства. Поверху сверкающей полосой тянулись сотни допотопных зеркалец заднего вида, они отражали свет прожекторов. Нижний ярус интерьера чем-то напоминал пульт управления атомной электростанции. Вдоль стен замысловатые композиции из каких-то приборов и мониторов, а перед ними — ряды трамвайных и автобусных сидений. Справа — что-то вроде алтаря: задрапированный красной материей стол с двумя высокими светильниками.

На стене висели рядком четыре портрета в рамах. Под ними по соседству с текстом какого-то стихотворения на английском — фото из иллюстрированного журнала, оно крепилось к рейкам канцелярскими кнопками. Над портретами на развернутом бумажном свитке надпись: *«Встреча друзей народа»*. По обоим краям маленькой галереи высились два немецких имперских фла-

га. Мне было знакомо только одно лицо на этом иконостасе — Адольф Гитлер.

Смотрю я и думаю: занесла же нелегкая к нацистам. Если бы на следующий день я не встретился с *Нижайшим*, меня бы наверняка больше не увидели в Раппоттенштайне. Бригадир объяснил мне, кому принадлежали другие головы. Альфред Розенберг и Рихард Вальтер Дарре.[16] Третий портрет — фотокопия старого полотна. На нем был изображен Иоахим да Фьоре.[17] Внизу — фотография молодого человека в бейсболке задом наперед. Это — Стивен Макэлпайн, лидер американского White Workers Union.[18] Стихотворение, помещенное рядом, написано им:

> *We are everywhere, and we are nowhere.*
> *You fail to see us, but we are here.*
> *We are the predators in your urban jungles.*
> *And*

---

[16] Примечания: 16

Высшие функционеры и идеологи нацистской партии; первый был с 1941 года министром оккупированных восточных территорий, второй — руководителем имперского сельского хозяйства.

[17] Примечания: 17

Иоахим Флорский (Джоаккино да Фьоре) — итальянский мыслитель XII века, хилиаст, учение которого оказало влияние на народные еретические учения.

[18] Примечания: 18

Союз белых рабочих *(англ.)*.

our time to strike is fast approaching.[19]

— Ты знаешь английский? — спросил я Бригадира.

— Самую малость. Это все нам Джоу разобъяснил.

Перед алтарем стояли полукругом девять мягких стульев-вертушек и нечто вроде конторки, привинченной к полу. Стулья когда-то служили сиденьями для вагоновожатых. Конторка стояла ближе к алтарю.

— Минутку, — сказал Профессор, — сейчас будет суперсенсация.

Он направился к обрубку старого автобуса, точнее, к водительской кабине, ветровое стекло которой состояло из трех больших соединенных мониторов. Я последовал за ним. Он принялся манипулировать какими-то рычагами и кнопками. А потом выжидательно прислушался. Его худосочное лицо было усыпано прыщами.

— Сейчас начнется, — сказал он.

И тут из всех динамиков грянула электронная музыка, и зала бывшего жилого дома превра-

---

[19] Примечания: 19
Мы везде и нигде.
Вам не увидеть нас, но мы здесь.
Мы — хищники в джунглях ваших городов.
Время удара стремительно близится *(англ.).*

тилась в дискотеку с пестрой рябью мигающих огоньков.

— Это у тебя самая новая композиция? — спросил Пузырь.

— Нет, — сказал Профессор, слегка убавляя громкость. — Позавчера я через людей Макэлпайна надыбал в Вашингтоне одну музыкальную фирму. Последний цифровой хит. Прямая поставка из Америки.

Профессор был гениальным технарем. Хайтек-салон он оборудовал блоками из своей компьютерной фирмы. После тою как она приказала долго жить, он мог добывать детали у одного из бывших коллег, который устроился в другую фирму. Кое-что ему доставалось даром, а за что-то приходилось платить. Все посвященные вносили ежемесячный денежный вклад на содержание своего убежища под Раппоттенштайном. Но больше всех давал *Нижайший.* Он взял кредит под залог ожидаемого наследства.

Я всегда думал, что знаю толк в компьютерной технике, но по сравнению с Профессором был просто профаном. Он связал всех нас коммуникативной сетью и научил пользоваться ею. Без его науки мы после пожара на Гюртеле не смогли бы поддерживать скрытый контакт с *Нижайшим.* Он

и Профессор не один месяц в общей сложности просидели за компьютером.

Усадьба оказалась райским прибежищем. До ближайшей деревни было не меньше километра. Откроешь дверь с фасада — и перед тобой всхолмленный ландшафт, усеянный кое-где гранитными глыбами. Но была еще маленькая дверь с тыльной стороны, она выводила на поляну с плодовыми деревьями, а дальше двухсотметровая лесополоса. Поляна и лесок принадлежали усадьбе. Как и дикий газон вокруг дома. Бригадир специально для меня сделал обход владении. Он сказал:

— Кому косить траву и собирать плоды, решается у костра в праздник солнцестояния. На него собираются местные крестьяне. Кто первым перепрыгнет через огонь, получает право весь год пользоваться угодьями. Один чувак, Шорши из Ройтена, явился в робе пожарника. Все загудели. Тогда он скинул робу и в одних трусах и ботинках перемахнул через высоченное пламя. Местами, конечно, обжегся и волосы спалил, но стал героем игрищ.

Я спросил, требуется ли от победителя ответная услуга.

— При чествовании он оплачивает пиво, — ска-

зал Бригадир, — количество бутылок определяется его собственным весом. Бутылки достаются нам. Поэтому прыгать любят в основном пацаны — у них вес меньше. Но до сих пор нам перепадало никак не меньше сотни бутылок.

Этого хватало на два уик-энда, как я потом убедился. Все, чем мы занимались в Раппоттенштайне, можно, пожалуй, выразить в двух словах: пиво и стрельба. Во всяком случае, так было вначале. Но довольно скоро в программе произошли изменения. Хай-тек-салон прямо на глазах выходил на первое место.

Бригадир всегда привозил в багажнике ящик патронов. Их доставал его дядя, который имел разрешение на оружие и был страстным любителем спортивной стрельбы. Подвальный тир смахивал на длинную каменную трубу, проложенную под всем жилым помещением. Она тянулась на добрые три десятка метров. У стены громоздились груды всякого хлама, гнилые бочки из-под молодого вина и какие-то чаны. Один из них был упакован в алюминиевую фольгу — для защиты от сырости. Там прятали оружие. Его было немного. Три вермахтовских карабина, два пистолета, револьвер и пистолет для стрельбы трассирующими пулями, которым мы никогда не

пользовались. Вот и весь арсенал. Ни одного пулемета. Патроны мы здесь не хранили. В стрельбе упражнялись каждый раз, когда приезжали в усадьбу, и до тех пор, пока в ящике не оставалось ни одного патрона.

В подвал вела крутая каменная лестница; первое, что можно было разглядеть, — штабель ящиков из-под пива. Пройдешь подальше — увидишь нары, застланные одеялами, тут — исходный рубеж. Справа возле нар — чугунная печь. В подвале холодновато даже летом. В конце каменной трубы — гора битого стекла. Из нее торчал деревянный каркас с бумажными мишенями и полкой для бутылок. Больше всего мы любили стрелять по пивным бутылкам.

В конце концов этот погреб сыграл с нами роковую шутку. После портельского пожара Бригадир, конечно, перевез все оружие к дяде. Но мишени-то и россыпи осколков остались, а стены были сплошь выщерблены пулями. Дядя, понятное дело, в одиночку сотворить такого не мог.

Полиция изъяла и видеозаписи. Их делал *Панда.* Так его прозвали за круглобокую, как у тряпичного мишки, фигуру и за весь безобидный и умильный вид, так и хотелось почесать его за ухом. С ним я познакомился только на другой

день. Он появился вместе с *Нижайшим*, Файльбёком и *Жердью.* Жердь и Панда были старыми корешами. Еще со школы. Жердь, длинный и тощий, как нельзя более соответствовавший своему прозвищу, служил кельнером где-то на Марияхильферштрассе. С его лица не сходило страдальческое выражение. Прямо-таки подмывало спросить: что-то с тобой стряслось или чем захворал? Веселел он, только хорошо приняв на грудь.

Панда работал в магазине пластинок, где был еще отдел с видеокассетами. Оттуда он и прихватил «Смертоносный коготь», оттуда мы пополняли запас компакт-дисков. Но большинство видеофильмов он должен был оформлять заказом. Как-никак и ему шли проценты. Смотрели мы главным образом боевики и фильмы ужасов. Звук врубали на полную катушку и ловили дикий кайф. Частенько крутили и порно. Но обязательно с крутизной — такое, чтоб кровь хлестала. Просто траханье, стоны и лизню смотреть было скучно.

После пожара в доме на Гюртеле полиция нашла в Раппоттенштайне и несколько нацистских листовок. Но это не наших рук дело. Мы никогда не печатали листовок. Вопреки порывам Фай-

льбёка. Тот все возмущался: «На что у нас тогда свой печатник?»

Но *Нижайший* был против. А Сачок приговаривал: «Если бы для печати нужен был печатник, я не остался бы без работы».

Файльбёку не терпелось вербовать людей. Он и по будням выезжал в Раппоттенштайн, все окрестные трактиры обошел. Даже в праздник солнцестояния капал на мозги деревенским парням. Когда он в очередной раз, захлебываясь соплями, начал распространяться о том, как *Движение друзей народа* (название, между прочим, придумано им) может перерасти в народное движение, Нижайший сказал: «Слова уже никого не убеждают, другое дело — действие».

До своего предательства Файльбёк был хорошим товарищем. Он не мог без сообщника. Но, в сущности, по своему менталитету был своим скорее в группе нацистов, чем среди нас. Да не были мы, черт побери, никакими нацистами! Чего вы хотите — слушать или встревать? Я бы и дня не выдержал в их шобле. Файльбёку было двадцать четыре года, он учился в Экономическом университете. Сначала входил в студенческий союз Национальной партии Юпа Бэренталя. Потом стал называть Бэренталя мозгляком, ко-

торый за пару голосов на выборах готов предать все свои идеалы. На каком-то из политических сборищ Файльбёк затеял спор с *Нижайшим.* Так они и сошлись. Их мнения часто не совпадали не столько в принципиальных вещах, сколько в тактических. Файльбёк был политиком. А нами верховодил *Нижайший,* и приходилось покоряться. Файльбёк поддерживал контакты с нацистской группой. Однажды он расщебетался про одного их функционера, вроде как зальцбургского гауляйтера:

— Вам обязательно надо познакомиться с ним. Он за сорок восемь часов может двадцать левых переделать в правых.

— Сорок восемь часов у нас есть, но нет двадцати левых. Пусть придет и покажет, на что он способен, — сказал *Нижайший.*

«Гауляйтер» приехал со своим заместителем и целым ворохом пропагандистского материала. Он, видимо, рассчитывал на нас как на распространителей. Начал, что называется, с места в карьер. Мы вышли им навстречу с бутылками пива. Они вскинули руки и возгласили: «Хайль Гитлер!» *Нижайший* сунул им в руки по бутылке и сказал: *«Хайль Гитлер* у нас — то же, что *ваше здоровье».*

Файльбёк не знал, куда глаза девать. Он начал объяснять, что мы имеем в виду то же самое, только без жеста.

Хай-тек-салон впечатлил наших гостей. Об Иоахиме Флорском они, конечно, понятия не имели. *Нижайший* сказал:

— Не знаю, на чем вы строите ваши традиции. Мы-то стремимся к Третьему рейху, который называют и тысячелетним. А отца этой идеи зовут Иоахимом Флорским.

— Но у него крест в руке, — заметил «гауляйтер», — он же поп.

— И еще какой, — приняв добродушный вид, пояснил *Нижайший.* — Настоятель монастыря в Калабрии. А крест — не свастика, тут другие традиции.

Гости кивнули. Но вряд ли их удалось убедить. Стрелять, однако, они умели. Да и в питии не уступали нам. Когда все уже прилично захорошели, лед, похоже, тронулся. Они рассказывали о своих сходках в Дании, где собирались фюреры из всех стран. Профессор произвел на гостей впечатление рассказами про свои компьютерные контакты с Америкой. Нацисты тоже имели дело с компьютером, но их системе было далеко до нашей. Они распространялись о своих спонсо-

рах из Франции, Испании, Германии и Австрии. Скорее всего, пытались выудить у нас информацию про наши источники. Жердь сказал: «За все платим сами». И зашелся таким долгим смехом, что Файльбёк счел своим долгом пояснить, что *Нижайший* ожидает наследства.

В тот вечер они заводили разговор про концлагеря. Оба с порога отвергали мысль о том, что евреев травили в газовых камерах. Услышав это, *Нижайший* встал и заявил:

— Вы — одноклеточные кретины. Не хочу иметь с вами дела.

Он ушел в свою комнату — в ту, что с трамвайными окнами. Файльбёк старался все уладить. Но и позаботился о том, чтобы нацисты с утра пораньше подались восвояси.

Женщины?… Ну, во времена *Друзей народа* они для нас что-то значили, правда не ахти что. А позднее, когда мы стали *Непримиримыми,* они уже не играли никакой роли. На этот счет после возвращения *Нижайшего* был строгий уговор. Если бы кто-то отступил от него, ему бы не поздоровилось. А в Раппоттенштайне кое-кто из нас вожжался с девицами. Правда, их не полагалось приводить на наши собрания. Из-за этого связи с партнершами постоянно разрывались. Оставишь

их пару раз не у дел, да еще без внятного объяснения, потом ищи ветра в поле. Было только одно исключение — Анка Ноймайер. Из Пеендорфа. Сачок снял ее на дискотеке в Яринге. Есть такое местечко, километрах в десяти от усадьбы. Сачок отрекомендовал ее так:

— Анка хоть и слабоумная, но затрахать ее целого взвода не хватит.

Пузырь сказал:

— Ну и тащи ее сюда!

Нижайший согласился, но при условии: в хайтек-салон ей доступ закрыт. Мы придумали новую потеху.

Когда Сачок привозил ее, мы всей кодлой шли в подвал, заблаговременно протопленный. Ей давали пострелять и насосаться пива. В трезвом виде она была робкой телкой. Ей было всего лет шестнадцать — семнадцать. Маленькая такая пышечка. Она носила очки с толстыми линзами и стреляла плохо. Во время сеанса стрельбы с пивом Сачок пытался разогреть ее. Он заходил сзади и начинал лапать, тискал ей груди и запускал руку между ног. После двух бутылок у нее отказывали тормоза. Сачок снимал с нее очки, потом одежду и валил Анку на край нар. Упершись коленками в пол, он приступал к делу. А кто-нибудь из нас

дозаряжал пистолеты и держал их наготове. Во время акта Анка блажила и дергала головой. Сачок все время приговаривал заклинание из одного порнофильма: «Сучка горячая, драть тебя начали» — и что-то еще в этом роде. Когда его припирало, он брал в руку пистолет, выпрастывал член и при каждом выбросе семени стрелял по бутылке. Мы смотрели на член и хором вели счет. Потом кто-то сменял Сачка. Некоторые предпочитали пользовать Анку сзади. Она никогда не кочевряжилась и к последнему раунду просто тонула в сперме. В этой игре принимали участие все, кроме *Нижайшего.* Он только наблюдал и фиксировал количество расстрелянных бутылок. Кое-кто был бы не прочь обогатить аттракцион новыми трюками. Однажды Пузырь начал лапать Анку за груди, в то время как она была оседлана кем-то другим. «Убери руки!» — тут лее одернул его *Нижайший.*

Тот, кто в моменты оргазма сбивал наибольшее количество бутылок, в качестве награды получал право забрать Анку в комнату. Не могу понять, как это вообще удавалось, так как сам я, кончая, стрелял плохо. По утрам Анку всю корежило. От завтрака она отказывалась, просила, чтобы ее домой отвезли. Тут с ней нянчился Сачок. Но через

какое-то время она появлялась снова. Всего она у нас побывала раз семь или восемь. А потом вдруг пропала. Даже Сачок не мог ее разыскать. Мать Анки была алкоголичкой, жила на социальное пособие. Про дочь она ничего не знала. Вообще-то Анка помогала продавать овощи какому-то разъездному торговцу. Возможно, с ним и смылась куда-то.

Вот, как говорится, и весь сказ о наших денечках в Раппоттенштайне. И что же мы, по-вашему, группа нацистов? Только потому, что вывесили у себя пару нацистских икон? Только не надо мне ничего впаривать. Да что вы понимаете…

Фриц Амон, полицейский
Пленка 2

Где-то уже в полдень мы с другого конца по наклонке вошли в главный коридор. Потоптались у газетного киоска, поглазели на заголовки. Все трубили одно и то же. Лидеры новых правых приезжают на бал из Франции и Италии. По приглашению Юпа Бэренталя — главы Национальной партии. Среди наших об этом шли разговоры уж не одну неделю. Но хозяйка бала про это помалкивала. Видать, с ней поработал Резо Дорф. Он тогда еще не был начальником полицейского управления Вены, а руководил отделом федеральной полиции, который отвечал за охрану гостей. Задача, что и говорить, мудреная — ведь ЕТВ напригласило их со всего света. За несколько месяцев уже начали трезвонить о том, какие принцессы, кинозвезды и разведенные миллиардерши ожидаются на балу. А про политиков ни гу-гу. Только потом, дней так за десять, какой-то газете подкинули информацию. Вечерний выпуск оповещал крупными буквами: «Алессандра Муссолини и Жак Брюно — гости

бала в Опере». Ну, и пошло-поехало. Любители демонстраций и так били копытами, а тут еще масла в огонь. Алессандра Муссолини — восходящая итальянская звезда, Жак Брюно, сын шампанского короля из Реймса, добился сенсационного успеха на выборах своей «Новой правой акцией» во Франции. Теперь только и писали об этой сходке правых лидеров на венском балу. Одна газета требовала принять прямо-таки самые серьезные меры, чтобы ради порядка и согласия запретить въезд внучке дуче в страну. Да вы, наверное, слыхали. Вот до чего дошло. Вместо того чтобы запретить демонстрации, давай отпугивать гостей.

Против бала в Опере уже сколько лет демонстранты выступают. Бал и демонстрации уже не могут друг без друга — все равно что зима и снег. Не успеет хозяйка бала объявить дату, как уже готова заявка на демонстрацию. Уже не первый год нашему брату житья не дают смутьяны и экстремисты всякие. Разве это демонстрации? Это же бардак на улицах, сущая анархия. Я был тогда еще курсантом. И как сейчас помню: чем ближе день бала, тем больше нервничают наши наставники. Они рассказывали нам о том, что творилось в городе в шестидесятые и семидесятые годы,

о толпах, которые их камнями забрасывали, о зимнем наступлении на владельцев какого-то пойменного леса. Нам рисовали на доске планы, толковали про стратегические задачи, объясняли, что и как надо было бы сделать, если бы не вмешивалась политика. Мне еще тогда, во время учебы, стало ясно, что политики, когда им выгодно, глазом не моргнув, подставляют полицию. А сами приходили к нам в казарму и клялись, что гордятся нами.

«Вы — становой хребет общества, — заливались они. — Железный обруч свободы. Цитадель демократического правопорядка». Такие вот речи. Но только для нас. За пределами казармы они такого не говорили. Были, конечно, исключения. Юп Бэренталь, к примеру. Он за нас горой. Защищал всегда и всюду. Советник Франц Ляйтнер, тогдашний главный юрист полицейского ведомства, пытался отстранить его от участия в бальном мероприятии. У нас об этом разнюхали. Мы стали возмущаться. Это теперь я говорю: если бы только Ляйтнеру удалось сделать по-своему. Бэренталь был политической надеждой страны. Если даже Национальная партия поставит своего министра внутренних дел, такого лидера, как Юп Бэренталь, у нее уже не будет.

Последний год учебы стал для меня первым годом, связанным с балом. Можно сказать, я впервые лицом к лицу с врагом столкнулся. Смутьяны с самого начала провоцировали нас. Им не демонстрация была нужна, они хотели побоища, и ничего кроме. Их было уже не так много, как в предыдущие годы, но они перли на рожон, эти отморозки. Они, поди, знали, что шансы у них нулевые. Но, думаете, их это останавливало?

И вдруг натиск ослаб. Мы поначалу даже не поняли, что у них там не заладилось. Сзади, в последних рядах смутьянов, начался какой-то дикий базар. Нам дали приказ отступить. И только потом стало ясно, что нам тут подсобила группа молодых парней, что они налетели не на наших, а на смутьянов. Получилось так, что они поработали за нас. Наши, так сказать, защитники особо не церемонились. Они орудовали бейсбольными битами и цепями. То, что после них осталось, — зрелище не для слабонервных. Это было уж чересчур, но когда мы решили вмешаться, они повернули назад.

После уже начали трендеть о том, будто мы защищали нацистский молодняк. Это не так. Никого мы не защищали. На беду, тогда было много раненых. По счастью, не в наших рядах.

Потом начался этот процесс против бейсбольной банды. От смутьянов — целый ворох жалоб. Их организовал Томас Прадер, сын одного бывшего министра, настырный такой адвокат всех экстремистов и иноземцев. Нам он, сколько я помню, доставлял одни неприятности. Наконец-то адвокатская коллегия прекратила его безобразия. Он уже не выступает. Но тогда он всех достал жалобами и заявлениями. А доказательств-то — пшик. Несколько фотографий, сделанных журналистами. Большинство жалоб — не понятно на кого. Из канцелярии министра пришел факс с предупреждением: в переходе на Карлсплац, мол, имеют место сходки членов бейсбольной банды. Нам надлежало проверить. В конце факса прямо говорилось: «В случае необходимости немедленно задерживать для дознания».

Когда мы со старшим напарником отправились на площадь, я спросил его, как нам теперь действовать.

— Против кого? — удивился он.

— Против бейсбольной банды. Ты что, не читал факса?

— Ты чего хочешь? — вскинулся он. — Чтобы мы хватали людей, которые нам помогают? Если меня сведет случай с кем-то из них, я первым

делом пожму ему руку и выскажу свою благодарность. А потом посоветую встречаться с друзьями где-нибудь в другом месте, так как не могу поручиться за всех своих сослуживцев.

С моим напарником мне повезло. Делая выбор между начальством и своими однокорытниками, он всегда принимал решение в нашу пользу. Но распускать язык не следовало: среди нас попадались и такие, которые заботились только о собственной шкуре и ради карьеры готовы были предать любого из нас. В семье не без урода.

Я заметил, что эти предатели либо из самых молодых, либо приближаются к шестому десятку. Среди юнцов всегда найдутся подонки, которые за лычку на погонах продадут мать родную. От этих держись подальше, как только их раскусишь. А среди пятидесятилетних есть смертельно обиженные на тех, кто обошел их по службе, эти как бы хотят отыграться. Самое время подсуетиться, выслужиться перед начальством и скакнуть на ступеньку повыше. Тут нужен соответствующий партбилет, но не обойтись, конечно, без протекции и благоволения кадровиков. А потому иные солидные мужики вдруг превращаются в примерных учеников, которые на переменке шепчут в ухо учительницы, кто у кого списывал

классную работу. Мой напарник этим не грешил. Он всегда держал нашу сторону. И в конце концов тоже пошел на повышение. Правда, в Майдлинге. Но там, по крайней мере, нет такого места, как Карлсплац.

Мы уже имели опыт обеспечения двух балов, когда все держали под контролем. Во время первого смутьянов было негусто. А нас — три тысячи. Не успели они расшуметься, как мы их оттранспортировали. Гости бала даже ничего не заметили. Это было за два года до катастрофы.

На следующий год сперва предупредили о демонстрации, потом дали отбой. Зато был какой-то звон про готовящееся покушение. Гостей решили не волновать, а потому и не поставили в известность общественность. Даже мы, полицейские, ничего не знали. Хотя, конечно, кое о чем догадывались, так как ремонтные работы шли под надзором полиции, а почти весь оперативный отдел в штатском был отряжен на бал. Но никакого ЧП не случилось. Ложная тревога была связана с беспалым. Мы тогда понятия об этом не имели. Подумать только: про него заговорили лишь год спустя, в день катастрофы. Это было после патрульного обхода, мы уже отправили в участок трех койотов. Пропустим это? Ладно, давайте

по порядку. Чтобы вы могли себе представить, с каким дерьмом нам приходится каждый день возиться.

Значит, так. В тот самый день, часов около двенадцати, мы патрулировали переход на Карлсплац и остановились у газетного киоска. Читали заголовки, говорили о том о сем, прохаживались и тут наткнулись на этих троих — два гопника и одна гопница. Мы их знали, они жили, если можно так сказать, на Карлсплац, когда не сидели за решеткой. В общем, старые знакомые.

Я их заприметил, еще когда они на углу покупали жареный картофель, один штанитцель на троих.

Штанитцель-то? Разве отец вам не объяснял? Ну, это такой туго свернутый кулек. Один на всех. Дело обычное. Ничего нового. Денег нет. На дури еще не наварили. А может, и сами уже сломались. Мы их чуть не каждую неделю забирали. Не то слово. Тащили, перекатывали, волокли в машину. Сами они идти уже не могли, даже если бы сильно захотели. Бог знает, может, это было нашей ошибкой. Если бы мы их вообще не трогали, они, глядишь, добились бы того, чего им только и оставалось желать, — лежали бы где-нибудь в Зиммеринге, накачанные пердомалом и

паракодином так, что никакой сорняк на могиле не вырастет.

Пердомал — снотворное, а паракодин — микстура от кашля, самое обычное лекарство. У нас в участке этого добра целая коробка набралась. Сначала мы, находя у них столько пузыречков, ломали голову, зачем им такая прорва микстуры: они даже не кашляют. А потом узнали, что эта микстурка с пердомалом дает такое сочетание, от которого у них земля плывет под ногами.

Так вот, когда мы увидели эту троицу, которая уже вся колыхалась, мы точно знали, чего они наглотались. Не первый день знакомы. Мы называли их койотами. Они бродяжили, подбирали всякую дрянь и ни на что путное давно не годились. Были и другие такого же сорта. Но этим троим мы дали особое прозвание. Они у нас числились задопроходцами. Этот почетный титул они заслужили этак год назад, когда мы накрыли их в сортире. Гопница лежала на каменном полу и не двигалась. Один эксплуатировал ее перепачканный кровью и калом зад, другой — свой задрюченный член. Ей заботливо подстелили газетные листы.

Ну, уж теперь-то с ними покончено, думали мы, на сей раз им не отвертеться. А то, что они

напели потом, — наглая ложь этого адвоката, Томаса Прадера. Как только у нас проблемы, он — тут как тут, точно черт из табакерки. Никто им резиновых дубинок не совал… ни в жопы, ни куда-то еще. А им бы небось понравилось. Только на кой нам честь мундира марать. И по членам их никто не бил, нет, пенисы мы им не щекотали. Все это вранье, больная фантазия. На что нам эти гнилые стручки? Грязи и так хватает.

А где вы про это читали? Неужто в Англии? Там тоже продают паршивую газетенку, что нас лажает? Выходит, они прямо-таки неприкосновенные. Дайте им вволю побрызгать дурной спермой, наркоманам драным. Нет уж, как бы не так. Они думают, колбаса с неба падает. Откуда кровь взялась — понятия не имею. Может, они по слабоумию решили замочные скважины изнасиловать. Но что правда, то правда. Не хотелось упускать возможности разделаться с ними. Тут мы не миндальничали. Ну нельзя же так. А если бы рядом оказались не мы, а туристы из Америки или просто люди, приехавшие за культурой? Да они бы вскочили в ближайший самолет, и поминай как звали. И так уж идут разговоры. В конце концов даже японцев не заманишь. И какое упорство. Мы не успеваем дерьмо разгре-

бать, а они как ни в чем не бывало нас новым заваливают. Нет, по-хорошему не получается. Прошли те времена.

В общем, подвернулась исключительная возможность поставить на них крест. А что в итоге? Караулка, санэпидстанция, Карлсплац и обратно пикет. Все тот же круг. Их, конечно, пришлось как-то помыть. Не тащить же такую гадость в машину. Гопнице мы освежили голову водой, и, представьте себе, оклемалась. А где взять воды-то — только в унитазе, ну окунули разок, целый бачок израсходовали. Она прочухалась. Мы ее развернули и туда же задом. Хотели было ухватиться за волосы. Но куда там. На голове какая-то ерунда, вроде старого меха, за это не уцепишься. Прадер заявил на суде, будто мы ей волосы выдрали. Чушь! До такой головы дотронуться страшно. Разве что в рукавицах.

Они сами себе потом волосы вырвали. От злости. Мы не видели ни одного клочка. Да и гопники — тоже. Волосы у них были длинные, но кому охота лезть в этот вшивятник. Они просто притворились мертвыми. Рыжий сразу, а чернявый с бородой сперва подразнил нас: «Киберер, киберер — ты наш лучший хаберер».

Киберер значит полицейский, только в руга-

тельном смысле. Хаберер? Да, отец, я вижу, мало чему вас научил. Хаберер по-венски — друг-приятель. Кто говорит «киберер», тот явно хочет нас зацепить. А этот твердил беспрерывно, как полоумный. Никак не мог остановиться. Если бы мы не стиснули ему шею, он бы не заткнулся. Сначала молотил руками по воздуху, как бесноватый. А потом — раз, и откинулся, притворился мертвым. Л нам хоть кос зажимай — от пота, дерьма и мочи. Прямо у писсуара и у очка. Вначале они, видать, решили заняться делом в кабинке, но там не хватало места. Было уж часа два ночи. И все же кто-нибудь мог зайти. Допустим, кому-то приспичило по пути из Оперы. Мало ли припозднившихся. Эти оперные — такие привереды. Из-за всякой ерунды готовы бежать в газету. И вот готова новость — на нашем участке не следят за порядком.

Эти гопники не иноземцы. Как ни позорно признавать, это были наши. Дубинками мы убедили их блюсти гигиену. Но далеко не сразу. Они вовсю упирались. Можно сказать, оказали сопротивление. А это чревато синяками. Нет, переломов точно не было, ну, может, отдельные синяки. Этот Прадер хотел на нас всех собак повесить. Если бы нам не оказали сопротивления, ничего бы

не случилось. А так что? За счет налогоплательщиков их отремонтировали в больнице. Знали бы граждане, на что тратят их деньга. И вот эта шушера опять завозилась со свежими силами и по-прежнему творит свое непотребство. Но это уже ненадолго. Наконец-то за них взялись.

Знаете, что эта швабра на суде заявила? Никакого, мол, изнасилования, совсем наоборот, хотела бы она получить такой подарок ко дню рождения. А судья: «Отменный же у вас вкус!»

Вы уж поверьте, нас вывело из себя именно их наглое упорство.

А в день бала мы увидели эту троицу и подумали про лыжное первенство. Дело в том, что в час начиналась трансляция — скоростной спуск горнолыжников. Мы уж и не надеялись добраться до телевизора, но тут появился шанс. Сам Господь послал нам этих ангелов. Как только они покинули пятачок, мы двинулись за ними. Они еле ноги волокли, шли очень медленно и как-то неестественно, как плюшевые мишки со старыми батарейками. Надо было только малость обождать, пока батарейки скиснут. Девка просыпала чипсы на пол. Стала неловко подбирать, скрести рукой по грязным плиткам. Приятели решили помочь. Тут они начали поочередно

падать, кое-как вставать, а ноги-то разъезжаются, руки хватаются за воздух — и снова шлеп на иол. Мы дали им побарахтаться. Девка уже прочно улеглась и слизывала с пола чипсы. Потеря самоконтроля. Налицо — нарушение норм общественной нравственности. Этого было достаточно. Правонарушение установлено.

«Все, забираем, — сказал напарник. — Встать! Следуйте за нами! Да поживее!»

Прохожие сунулись с советами: «Дайте вы им порошку понюхать. Вам же будет легче».

Один, с портфелем в руке, сморозил: «Откройте опять Маутхаузен. И дело с концом».

Нам такие речи не нравились. Они отдавали реанимацией национал-социализма. Тут мы держали ухо востро, вернее сказать, доходили до истерики. Почти ни один указ министра не обходился без слова «реанимация». Все политики психовали из-за нападений и покушений на иностранцев. Хотя мы в этом направлении работали хорошо. Большой пожар в доме на Гюртеле три года назад, когда погибло двадцать четыре человека, считался раскрытым делом. Наши распутали его с помощью анонимного сообщения кого-то из местных. Оба исполнителя отбывали срок, зачинщик наверняка скрывался

где-то за границей. Наш министр и его «наушный советник» понятия не имели, что на самом деле творится за стенами министерства. Если уж кто-то ляпнул: «Откройте Маутхаузен», значит, надо принимать решительные меры. Девица на полу тоже эти слова услышала, она маленько приподнялась и сказала: «Только теперь *вас* будут газом травить, свиньи нацистские!»

Стоило призадуматься? Но не было никаких оснований предполагать, что она имела хоть какое-то представление о катастрофе в Опере. Если хотите знать мое мнение, тут нет никакой связи. Вечером мы задержали эту бомжиху еще раз. Она вечно отиралась на Карлс-плац и, конечно, не оставалась в стороне, если что-то замышлялось против полиции. Потом-то мы внесли ее слова в протокол, но приняли их как есть: угроза насилием, можно даже сказать — угроза убийством. Господин прохожий аж взвился, норовил портфелем девку ударить. Нам пришлось его удерживать, иначе он бы ее пришиб.

«И вы еще защищаете это отребье!» — орал портфельщик. Нам часто доводилось слышать такое: будто мы покрываем подонков. Плевки в самую душу. Тут уж надо было крепиться. Этого, во всяком случае, мы сумели убедить, чтобы он

для своего же блага отошел на пять шагов. Мы даже отсчитали: раз, два, три, четыре, пять. И действительно — только его и видели.

Возможность посмотреть первенство на кубок мира в Шладминге еще оставалась. Чтобы написать протокол или рапорт, надо было ехать назад в участок. «Мы покажем тебе нацистских свиней!» — пообещали мы задержанной. У нее глаза закатились. Оба хахаля полезли было на нас с кулаками, но скоро поняли, что это — дохлое дело. Каждому хватило одного удара по репе — и они лежали, не двигались.

При таких заварушках обычно как из-под земли появлялось несколько койотов. Они глухо ворчали, им важно было, чтобы мы их слышали, но при этом не могли тронуть: ясное дело, ни один не рискнул бы подступиться к нам. Среди них всегда находились знакомые типы. Контролировать их не имело смысла — они приближались, только когда в кои-то веки были непричастны к торговле наркотой. А если товар был при них, держались от нас подальше.

Помню одного трамвайщика, вернее, он работал в депо. Этот знал их всех. Когда мы приступали к задержанию, он выходил, как бы опережая нас. Их он нисколько не боялся. Просто шел на этих

типов и обдавал им рожи табачным дымом. «Знаете, где ваше место? На свалке, где мусор жгут. В самом пекле!» Самое интересное, что им это даже вроде и нравилось. Если бы такое сказали мы, они бы бунт подняли.

Мы прошли мимо караулки на Карлсплац. Но туда и соваться было нечего. Там со своей работой еле справлялись. Эта еще новая в ту пору караулка была буквально на осадном положении. А вообще-то им бы следовало разгрузить нас. Ведь как было задумано: откроют новую караулку, и Карлсплац — уже не наша забота. Как бы не так. Как только ее открыли, оказалось, что там и плюнуть некуда. Она всегда была набита под завязку вопреки нормам. Поэтому спустили указание: по возможности мы должны оказывать помощь пикетам на Карлсплац. А для нас это означало — помогать расчищать этот гадюшник, увозить из него нарушителей. Никто не хотел там работать и вообще иметь дело с таким бардаком. Наши всегда старались проскочить невидимками мимо его дверей. И как раз туда, где и так круглосуточная буза, суют свой нос непрошеные гости: всякие там из соцобеспечения, из комиссий по наркомании, казенные адвокаты, чиновники Венского интеграционного фонда,

журналисты, вытягивающие свои истории из сломанных юных душ, и так далее. По сути, все они только вредят — мешают работе полиции и не дают доводить дело до суда. В караулке из тебя начнут выжимать такую гуманность, что мало не покажется. Если бы мы попытались сдать туда койотов, мы бы пропустили соревнования, кроме того, нам подсуропили бы пару дел.

Мы поднимались к зданию Оперы, где стояла машина, нашу троицу приходилось тянуть за наручники, как ледащую клячу за узду. И тут напарник шепнул мне: «Прямо по курсу опять эта телевизионная братия».

У входа — целая толпа этэвэшников. Большей частью — в желтых куртках с фирменным знаком: Европа в виде тарелки спутникового телевидения. Они так замудохались со своей техникой, что на нас даже внимания не обратили. Мы пытались расшевелить своих клиентов, но куда там. Так с ними вместе и ползли, пока не сели в машину.

Помещение нашего участка смахивало на стройплощадку. А все потому, что мы наконец-то получили компьютеры. Несколько месяцев они простояли нераспакованными в коридоре. Приходилось протискиваться между рядами ко-

робок. Решено было перетащить их в, так сказать, жилую зону и поставить в центре помещения. Получился огромный куб, который вскорости завалили старыми газетами, шинелями, зонтиками, сумками и всем, что надо было куда-то деть. К бокам этого куба приклеивали лотерейные билеты. Каждую неделю мы ставили крестики на общем билете. Один раз даже выиграли, но угадали только три цифры. Выигрыш пошел в застольный фонд. В то время мы поочередно посещали по утрам компьютерные курсы. Я прошел примерно половину, и тут сменили систему, надо было начинать заново. Но наши компьютеры, как нас заверили, могли работать и с новой системой. Когда их все-таки установили, случилась неполадка в электросети. У нас была допотопная проводка — просто вмурованная в штукатурку, без всяких трубок. После телефонных перепалок, которые тянулись не один день, выяснилось, что нам будут менять проводку. Сначала пришли электрики из какой-то фирмы и подключили нас к запасному источнику питания. Теперь над нашим буреломом повисли лианы черного кабеля, которые кое-как прицепили к стенам и потолку наручниками. В течение полугода картина не менялась. Мы давно закончили курсы и успели

забыть многое из того, чему научились, и вдруг в одно прекрасное утро являются рабочие и начинают все разламывать. Нам полагалось работать рядом с ними, а это было невозможное дело. Все столы и шкафы оттащили от стен, негде было повернуться. А пылищи-то! В ней утопали столы, холодильник, кофейная посуда, телефакс и даже кипы бумаг в шкафу с документацией. В день бала наша караулка имела вид стройплощадки. Отовсюду уже выгребли кучи мусора, трубки с проводами прикрепили к стенам гипсовыми манжетами. Электрики сделали свое дело. Теперь мы ждали каменщиков. Вся эта катавасия могла растянуться на месяцы. Мебель по-прежнему громоздилась посреди комнаты. В коридоре штабелями лежали мешки с цементом. На них мы усадили койотов. Первым делом решили посмотреть соревнования, а потом уж допрашивать. Но надо было все подготовить, так как могли заглянуть контролеры из главной инспекции. Такое случалось хоть и редко, но всегда в тот момент, когда не ожидаешь. Обычно это были два офицера. Они ко всему приглядывались и принюхивались, просматривали журнал дежурства, спрашивали каждого, какую он несет службу, крутили наши штемпельные катушки и заполняли какие-то бу-

мажки для отчета перед своим начальством — и все это для того, чтобы наконец перейти к главному, ради чего и пришли, — выпить до последней капли «Бургтляйнитцкий кабинет», который мы всегда держали в запасе на этот случай.

Бургшляйнитц — так называется место, откуда я родом. Вам говорит что-нибудь слово «Майссау»? Нет? Это если ехать в сторону Хорна. Так вот, наша деревня поблизости. Мой брат — виноделл. Он считает за честь снабжать наш участок своей продукцией. Его жене это не нравится. Будь ее воля, нам бы ничего не доставалось, но она боится перечить мужу.

Контролерам всегда подавай вино сильно охлажденным, градусов этак до пяти, а с этим раньше приходилось поканителиться в теплое время года. Но потом мы по совету и при письменной поддержке обоих офицеров подали прошение в главную инспекцию, чтобы нам поставили холодильник. Наш полицейский врач — это было нашим козырем — при осмотре камер систематически попадал, дескать, в затруднительное положение, ведь мы не могли хранить в холоде метадон и другие препараты. Это подействовало безотказно. Надо было только сослаться на какое-то распоряжение правительства каса-

тельно температуры хранения медикаментов в закрытых резервуарах. С тех пор оба инспектора, подсказавших нам хорошую идею, имели возможность пить свой «Бургшляйнитцкий кабинет» приятно охлажденным и, ясное дело, из закрытых резервуаров. Но это уже другая история. Холодное вино не мешало вышестоящим господам доставать нас по служебной части: списки должны быть правильно оформлены, а назначенным в патруль парням строго воспрещалось без особых на то причин торчать в участке. И пока наша счастливая троица сидела на мешках с цементом, надо было еще составить протокол или написать заявление.

А соревнования заставили поволноваться. Всякий раз, когда швейцарец показывал хорошее время, дежурный по участку уже не мог усидеть на месте и выходил в коридор, чтобы привести разлегшихся койотов в сидячее положение. Медикаменты мы у них изъяли. Это была обычная венская смесь, и, хотя на нее полагалось иметь рецепт, ее употребление не подпадало под параграфы о наркотиках. Один из лыжников упал и, почему-то проскользив под эластичным ограждением, покатился по крутому необработанному склону. У меня это до сих пор перед глазами стоит.

И хотя парень уже остался без лыж, он еще раз подскочил и со страшной скоростью буквально просвистел по воздуху, приземлившись около какой-то хижины, за ним уже тянулась борозда содранного снега, он пропахал целую ложбину, еще разок перевернулся и в конце концов застрял в соснячке на обрыве.

— Ничего себе, — приужахнулся дежурный и выскочил в коридор. Мы слышали, как он пару раз крикнул: — Вы еще спрашиваете за что?

Потом донесся какой-то шум. Когда он вернулся, девка орала что-то ему вдогонку.

— Она правда кричала *«нацистские свиньи»?* — спросил он, остановившись в дверях и прислушиваясь, как его костерила бомжиха. Она снова заорала, да так надрывно, что мы едва разобрали слова:

— Свиньи! Сволота нацистская!

Тот было рванулся назад, но мой напарник сказал:

— Плюнь ты на нее. Она других слов не знает.

Я тоже не мог припомнить, чтобы она раскрывала рот без этого присловья. А дежурный был парень заводной, чуть что и в морду мог заехать, успокоить его было непросто.

— Если на то пошло, — крикнул он, — пусть

опять проведут ночь на нарах!

— Не получится, — сказал я. — Камеры надо к вечеру освободить. Приказ начальника.

— Тогда Мистельбахер доставит мне эту шваль домой.

Тут уж и мой старший напарник не выдержал:

— Заткнешься ты, наконец? Или телевизор выключить?

В подвале было три камеры. Там держали арестованных до решения судебного следователя. Однажды одна бабенка заявила, что ее изнасиловали. Тогда дежурным был тот же самый парень. Но доказать она ничего не сумела.

В общем, мой напарник все-таки урезонил шустряка, тот сел и уставился в телевизор.

За пределами специально подготовленной лыжни почти не видать снега. Когда один швейцарец показал лучшее время, наш свежеиспеченный начальник наряда вытащил пистолет и прицелился в экран.

— Ты что? Сдурел? — подскочили мы разом.

— Неужто думали стрельну? — с трудом выдавил он, скисая от смеха. — Решили, что я хочу разнести телевизор?

Его просто корчило, он вскакивал, снова падал на стул и никак не мог остановиться. Надо

было уметь так долго смеяться. Пришлось ему объяснять, что никто ничего такого не подумал. Просто мы на секунду растерялись. И он снова начал давиться смехом, потом достал из холодильника бутылку пива и продолжал хохотать. Но мы досмотрели передачу; соревнования были проиграны.

После мужчин стали показывать женский слалом — трансляция с базы отдыха в Эннстале. Достаточная причина для того, чтобы еще посидеть у телевизора.

— Кто не хочет пива?

Новоиспеченный начальничек всегда задавал вопросы в такой отрицательной форме. Отвечать не имело смысла. Зачем утруждать голосовые связки? С тех пор как мы завели общую кассу для покупки вина и пива, за пополнением которой вменялось в обязанность следить дежурному по участку, если уж кто-то начинал пить, к нему присоединялись все. И деньги уже собирали со всех, а в конце месяца приходилось даже доплачивать. Старая система, при которой каждый платил за то, что сам выпил, себя не оправдала. В конце концов коробка с пивом оказывалась пустой и касса тоже.

Вторые соревнования смотреть было неинте-

ресно. Начали листать газеты. Заголовки обещали *сражение.* Нас, оказывается, целых шесть тысяч. Начальство явно норовило припугнуть смутьянов. Ну, будь нас шесть тысяч, нам хватило бы времени проверить лужайки Бургтартена там, где выходят вентиляционные шахты Оперного театра.

Испытание

Мне никогда не пришло бы в голову переселиться в Вену. Воспоминания отца черными мазками ложились на серые имперские фасады этого города. Учителя, лупившие детей указками по пальцам; полицейские, стрелявшие в рабочих; студенты-мордовороты, изгонявшие из университета евреев; социалисты, которые вечером репетировали на тайных собраниях акции сопротивления, а на следующий день со свастиками на лацканах спешили присягнуть Гитлеру. Современной Вены я не знал. И хотя у меня была кое-какая информация о здешних политических реалиях, но редко когда возникало искушение сделать об этом репортаж. Австрия могла заинтересовать нас лишь в тех случаях, когда Бруно Крайский,[20] осанистый мужчина с многозначительно оттопыренным мизинцем, начинал вмешиваться в международные дела. Я показал его в репортаже о палестинском конфликте, когда он, к ужасу многих англичан, заключил в объятия Арафата. Тогдашний сек-

[20] Примечания: 20
В 1960 — 1970-е гг. — министр иностранных дел и канцлер Австрии.

ретарь лондонского бюро Социалистического интернационала был австрийским краснобаем. На одном брифинге я спросил его с подначкой: правда, что австрийское правительство вновь стало якшаться с гангстерами? Он пропел дифирамб серьезным намерениям и высокой культуре Крайского, приведя уйму аргументов, из которых наиболее примечателен такой: ему Крайский дал личное поручение достать шелковое исподнее английского производства. Я, разумеется, не мог воспрепятствовать распространению этого анекдота, и вскоре поток информации о Социалистическом интернационале, поступавший в отдел кинодокументалистики Би-би-си, иссяк.

Всерьез австрийскими делами мы занялись лишь после двух террористических актов: целью одного была штаб-квартира Организации стран — экспортеров нефти, второго — венская синагога. В обоих случаях мы использовали кинокадры, предоставленные австрийским телерадио. И Австрия снова исчезла из поля зрения нашей студии. До той поры, когда президентом избрали Курта Вальдхайма. Я, как мог, отбивался от командировки в Вену. Шеф уступил, только когда я сказал: «Не могу я дать объективную информацию о людях, которые, пожав плечами, выдали

убийцам моих деда и бабку».

Сотрудница, поехавшая в Вену вместо меня, хоть и знала не больше десятка немецких слов, привезла в Лондон массу интересного материала. Было там и одно интервью с молодыми людьми, которые в знак протеста против Вальдхайма каждый день собирались вокруг какой-то деревянной лошадки. На мертвенно-сером ландшафте моего образа Вены появились живые краски. Еще больше, чем попытки воспротивиться грубой лакировке австрийского прошлого, меня поразил живописный фон этих кадров. Ярко раскрашенные барочные фасады, старинные кофейни в стиле модерн, уличные музыканты, рыночные палатки, обустроенные с южной торговой изобретательностью, а на переднем плане — бурление большого города, поток разноликих людей в самых пестрых одеждах. В репортаже моей коллеги не было и намека на одиозность, которую я всегда связывал с Веной.

Обдумывая предложение ETB, я не стал советоваться с родителями. Я отлично представлял себе, во что бы это вылилось. Отец не преминул бы пригласить меня для беседы в библиотеку. Библиотека была его рабочим кабинетом. Там он великодушно разрешил бы мне закурить и

заверил бы, что в конечном счете решать мне самому и он не хочет вмешиваться в мои дела. Он мог бы говорить о финансовой целесообразности и карьерном росте, используя это как отличный повод, чтобы снова рассказать мне о своих наблюдениях и выводах в отношении австрийского менталитета, но, пожалуй, воздержится. Мать, в которой после падения «железного занавеса» вновь пробудилась любовь к отечеству, возможно, предложила бы совместную поездку в Вену, что позволило бы ей увидеть ситуацию изнутри и, чем черт не шутит, навестить родную Прагу. Так или иначе, мне пришлось бы каждый день ожидать звонка от родителей. А отец как бы между прочим, не желая, конечно, влиять на мое решение, потчевал бы меня все новыми воспоминаниями и размышлениями о безднах австрийской души.

Если бы я решил посоветоваться с родителями, то, как мне тогда казалось, все больше отступал бы на задний план наиболее важный для меня вопрос: не повредит ли в конечном счете переход из столь почтенной организации, как Би-би-си, в процветающую частную фирму моей репутации успешного военного репортера. Я предощущал привкус грязного делячества и

даже личной продажности, когда думал о том, как прервется репортаж о войне в Югославии и выражение скорбной серьезности сменится любезной улыбкой: «Через несколько минут мы покажем вам кадры с пострадавшей от бомбардировки деревней, оставайтесь с нами», — чтобы запустить ролики с лимонадами и прокладками. Нет, не Вена была моей проблемой. И хотя я до сих пор удачно уклонялся от поездки, ситуация в Центральной Европе складывалась так, что Вену уже нельзя было обойти стороной. Журналисты всего мира поспешали в столицу Австрии, как на запасной плацдарм для освещения событий в Югославии. Даже если бы я расстался с Би-би-си, приняв новое предложение, рано или поздно я с двадцатью алюминиевыми чемоданами оказался бы в венском аэропорту. С тех пор как сербы и хорваты что ни день вступали в новые вооруженные конфликты, мне и так уже не давала покоя мысль, что в Югославии не один год идет война, которую я мог проворонить по собственной воле. По всем понятиям журналистской этики, я просто должен был отправиться в Вену, не считаясь с семейными преданиями об этом городе.

В те дни я часто обсуждал с коллегами будущность частных каналов. На сей счет ни у кого не

было никаких сомнений. Частное телевидение давно задавало тон, и мы, дабы сохранить свою вещательную квоту, вынуждены были подстраиваться под его правила. В нашей студии стояли два телевизора, почти круглосуточно передававшие две разные программы. Первая — информационный канал Си-эн-эн (Cable News Network), вторая — ЕТВ (Европейское телевидение). Телетекст Би-би-си прежде всего был сориентирован на частное вещание. Впоследствии мне стало казаться, что мое решение созрело уже давно и я лишь искал поддержки и понимания коллег, прежде чем расстаться с ними.

Если кто-то и мог удержать меня в последний момент от переезда в Вену, то это был Фред. Единственное условие, которое я поставил ЕТВ, заключалось в том, чтобы Фред вошел в мою команду в качестве ассистента оператора. Обошлось без всяких уговоров. В то время Фред лечился в частной лондонской клинике для наркозависимых. Курс стоил немалых денег. Вероятность рецидивов, по данным больницы, составляла 28 %, это, бесспорно, хороший показатель, но в случае с Фредом надеяться на скорый успех не приходилось даже в этой клинике. Я навещал его каждый вечер. Иногда, правда довольно редко,

Фред выглядел совершенно уравновешенным человеком. Он рассказывал мне о двух женщинах-психотерапевтах, проводивших ежедневные сеансы с его группой. Одна ему нравилась, другую он ненавидел. Он заводил разговор об особенностях фильмов, которые видел по телевизору. Фред гордился тем, что ему до сих пор удавалось отказываться от всех вариантов сыроедения, поэтому надо было ежедневно подкармливаться витаминами. Он опасался вредоносных лучей, которые губили всю живую природу. По-прежнему выкуривал одну сигарету за другой. Но это были те хорошие дни, когда ему шли на пользу наркозаменители и успокаивающие средства.

Чаще всего я заставал его в состоянии глубокой подавленности. Он лежал в теннисных туфлях, повсюду был рассыпан пепел сигарет. Он вскакивал, смотрел на меня из какого-то жуткого далека и требовал, чтобы и немедленно уходил: здесь мне угрожает большая опасность. Его изводило навязчивое видение: Он узник концлагеря и сидит под колпаком на толстого непробиваемого стекла, через которое его обрабатывают немилосердно сильным излучением. Иногда он принимал меня за сообщника охранников, облаченных в халаты врачей, за участника заговора

против него. Руки у Фреда судорожно вздрагивали. Я был не в силах видеть его страдания и все больше сомневался в успехе терапии.

Изредка удавалось поговорить с ним об этом. Однажды он разревелся, решив, что положение его отчаянно безнадежно. Говорил, что уже не выкарабкается. Потом побежал в туалет, и его вырвало. Врачи, напротив, старались ободрить меня. Его случай, как было установлено, требует определенной настойчивости в подходе к пациенту, поскольку при снижении дозы психопатические явления моментально возобновятся, однако в сравнении с другими больными его дела вовсе не так уж плохи. Методичная, оптимально дозированная наркологическая терапия при одновременных усилиях психиатров выправит его и физически, и душевно. Надо лишь запастись терпением.

Шло время, практически все заработанные деньги я переводил в клинику, и, похоже, действительно наступило выздоровление. Хороших дней становилось все больше. И однажды вечером я услышал музыку, доносившуюся из палаты Фреда. Я постучал. Ответа не было. Когда я открыл дверь, меня обдало запахом расплавленного пластика. Платяной шкаф был придвинут к окну.

Фред сидел на полу и прожигал сигаретой дырки в ковровом покрытии. Я подошел поближе. Он этого не заметил или не обратил на меня внимания. Я посмотрел на дырки. Они складывались в незавершенную свастику. Когда я выключил музыку, он, странно подергиваясь, как-то рывками поднял голову и усмехнулся:

— Теперь я сотрудничаю с ними.

— С кем?

— С нацистами. Они видят свой знак… и не трогают меня.

Он говорил медленно и растягивал гласные. После слова «знак» сделал паузу.

— Фред! — Я уже срывался на крик. — Это все твои фантазии!

— С ними как с вампирами, — продолжал он.

— Твои нацисты такая же выдумка, как и вампиры.

— Ты никогда не верил. А излучение-то прекратилось.

— Тогда мы можем поставить шкаф назад.

Он встал и попытался помочь мне. Шкаф был сделан из легких металлических пластин. Но у Фреда хватило сил только на то, чтобы чуть сдвинуть его.

Я пошел к дежурному врачу. Тот сказал, что

после обеда Фред набросился с кулаками на женщину-терапевта. К сожалению, опять допустили передозировку. Но для особого беспокойства нет оснований. Случился небольшой рецидив, дело обычное. Отравленный организм протестует против воздержания.

Я рассказал врачу о дырках на ковровом покрытии.

— Знаю, — ответил он с завидным хладнокровием. — До вашего прихода я несколько раз заглядывал к нему. Фред уже поистратил силы и скоро сам оставит свое занятие. Потом мы проветрим помещение, а через пару дней настелят новое покрытие. Ущерб будет покрыт из страхового фонда.

Надеяться на то, что Фред выйдет из больницы до моего отъезда в Вену, уже не приходилось. На следующий день я обсудил ситуацию с одной из своих коллег. В нашем отделе она занималась социальной тематикой и вопросами здравоохранения. По ее словам, клиника, где лежал Фред, считалась лучшей в Англии. Затем она рассказала, что однажды оприходовала сообщение американского телевидения об оздоровительном лагере для наркоманов. Это — очень жесткая терапия: пациентов вместе с кураторами оставляют

где-то в степи и на целых два месяца лишают всякого контакта с остальным миром. И процент рецидивов необычайно низок.

Я наше эту кассету в архиве. И несмотря на то что мне надо было срочно монтировать для вечернего выпуска материал о падении самолета в Азии и о закулисной стороне этого события, я ухитрился параллельно посмотреть кассету. Через час монтажная переходила в распоряжение других сотрудников.

Сюжет рассказывал о группе из шестерых парней и трех кураторов, которых вертолетом доставили в какую-то глушь на севере Нью-Мексико. Вокруг, куда ни глянь, голая степь, оживляемая лишь прибрежной зеленью какой-то речки. Где-то далеко на юге — грандиозный силуэт Роки-Маунт.

«Заснеженная вершина, — сообщает комментатор в то время, как камера стремительно надвигается на объект, — это гора высотой одиннадцать тысяч триста один фут, именуемая Тэйлор. Река называется Рио-Пуэрко. Ее питают талые воды горных ледников. Низвергаясь через непроходимые ущелья, она впадает в Рио-Гранде. Отсюда ни уйти, ни уехать. Ближайший город — Альбукерке — находится в восьмидесяти милях

от этих мест, по ту сторону гор».

Все имущество обитателя лагеря — канистра с питьевой водой, палатка, посуда, несколько удочек, одеяла и медикаменты. Видно, как ребята ставят палатку и разводят костер.

«Я просто потрясен. Больше не могу говорить. Я просто потрясен». Первые две фразы — долой, «…ть. Я просто потрясен». Не хватает еще двух миллиметров от начала. «Прежде всего мне жаль своих людей. Я чувствую себя в ответе перед ними. Но я знаю, что не виноват. Машину всегда держали в исправности. Мы делали даже больше, чем предписано изготовителем. Мы не виноваты. И пилот тоже». Начальник рейса, бывший автогонщик, ненадолго умолкает. На лице под козырьком бейсболки видны рубцы — следы операции по пересадке кожи после несчастного случая на гонках «Формулы-1». Стоп.

Наркоманы на берегу реки. Один купается прямо в одежде. Инструктор выдирает из земли какое-то колючее растение, объясняет, что корешок съедобен. Ополаскивает его в воде и протягивает подопечным. Белесый парень в футболке пробует. И морщится.

«Древнее знание индейцев становится спасительным для сломленных белых выходцев из

среднего класса», — говорит комментатор.

«Как могла произойти катастрофа?»

«Насколько мы можем судить по прежнему опыту, автоматич...» Вопрос вырезаем... «Насколько мы можем судить по прежнему опыту, автоматически включилась система обратной тяги. Эта система служит для торможения самолета при посадке. Реактивная сила двигателя благодаря закрылкам устремляется в двух противоположных направлениях. "Черный ящик" подтверждает это. Пилот вообще ничего не мог поделать. Шанс ничтожный. Если господин...» Стоп. «Ничтожный». Склейка. Теперь — пленка с поисками останков.

«Команды спасателей только через три дня смогли добраться до этих крутых склонов. Кто-то, очевидно, знал местность лучше и опередил их, так как с места падения исчезли часы и значительная часть ценных вещей». Снятые портативной камерой размытые кадры с тропической растительностью. Это можно опустить.

Наркоманы стоят по колено в речной воде и по цепочке передают друг другу камни. Они выкладывают нечто вроде плотины и погружают в воду канистры.

Куратор говорит: «Это суровая, но эффективная

метода. Природа учит человека жить по-новому».

Вертолет взлетает и уносится вдаль. Съемочная группа остается еще на один день.

Мужчины в фильтрующих масках, с яркими пластиковыми пакетами в одной руке и с мачете в другой прорубают дорогу в джунглях. Стоп. Вернемся к главной ленте.

«Если фирма-изготовитель утверждает, что причина и ошибке пилота, то это не более чем самооправдание». Необязательное объяснение. Убрать. Склейка.

«Допустим, что и в самом деле автоматически включилась обратная тяга. Но разве пилот среагировал на это правильно?»

«Разумеется, правильно. Он и не мог иначе. Он действовал согласно указаниям изготовителя. Загляните в инструкции фирмы, где сказано, что должен делать пилот, когда вспыхнет сигнал обратной...» Вопрос и первые три фразы долой. Склейка. «Если вы гудя те, там написано: не принимать во внимание. То же самое заложено в бортовом компьютере. В критической ситуации пилот может делать только то, что предписано фирмой-производителем. С этой целью он проходит специальный тренинг. Он все-таки не

ясновидец». Стоп. Посмотрим дополнительную пленку. Говорит менеджер фирмы: «Я не могу с нами обсуждать разные версии. Нельзя строить самолеты на основе версий и гаданий. Факт тот, что полет и переключение тяги совершенно исключают друг друга в силу конструкции наших машин. Технически невозможно, чтобы…» Первые две фразы и «Факт тот, что…» опустить — «…невозможно, чтобы при поврежденном шасси сработало переключение».

«Разве нельзя провести дополнительное испытание?»

«Мы испытывали сотню раз. Этого не допускает сама конструкция самолета. Но наши техники, конечно же, еще раз займутся этим». Стоп.

«Здесь, — объясняет инструктор, — люди сами должны организовать свою жизнь. Ничего в готовом виде мы не получите. Мы даем только советы. Например, не оставлять продукты на ночь в палатке. Однажды сюда уже забредал медведь».

«А конфликты случаются?» — спрашивает рыжеволосая журналистка, на ней рубашка-сафари и шорты.

«Вначале постоянно. Особенно на вторую неделю. В основном из-за распределения работы. На другие конфликты просто нет времени. Люди

целый день вкалывают, чтобы обеспечить себе выживание. Суть нашей терапии в том, чтобы обострить первичные, самые насущные потребности организма».

«А если произойдет что-то серьезное, скажем несчастный случай?»

«В таких случаях задействуется радиосвязь с Альбукерке. Вертолет со спасателями может приземлиться здесь уже через полчаса. В моей практике этот лагерь для наркозависимых — уже пятый по счету. Вертолет еще ни разу не потребовался».

«Почему в инструкциях изготовителя говорится, что пилот должен игнорировать сигнал переключения тяги?»

«Потому что речь может идти только о неполадках в системе предупредительной сигнализации».

«Стало быть, анализ "черного ящика" показывает, по вашему мнению, лишь то, что сигнал зажегся, но не подтверждает реальное переключение тяги?»

«Именно так».

«Но найденные детали механизмов свидетельствуют о включенной обратной тяге».

«Нет, не свидетельствуют. Представьте себе,

что самолет начал пикировать. Удар был таким мощным, что закрылки выбросило вперед». Стоп. Конец дополнительной пленки.

«Лагерь выживания», как сказано в конце репортажа, финансируется одним из благотворительных фондов штата Юта. А территория Нью-Мексико выбрана потому, что там — идеальные условия для лечебного курса. В заключение предлагается интервью с администратором фонда. Он говорит о том, что среди всех наркозависимых, прошедших через степной лагерь, оказался лишь один, у которого потом был отмечен рецидив. Конечные титры идут на фоне счастливой сцены: излечившиеся обитатели лагеря, изможденные и бородатые, улыбаясь, покидают вертолет и попадают в объятия близких.

«Вы будете выплачивать компенсацию родственникам?»

«Никаких компенсаций родственникам...» Стоп. Вопрос исключаем, «...родственникам я выплачивать не буду. Но обещаю всячески поддерживать их претензии к заводу. Несчастье произошло не по нашей вине. Однако я чувствую свою ответственность перед людьми, потерявшими своих отцов, братьев, дочерей, матерей. Они должны получить возмещение. По именно от ис-

тинного виновника». Четырнадцать секунд сверх хронометража. Убираем три последние фразы.

Я попытался дозвониться до Общественного телевидения (Пи-би-си) и Солт-Лейк-Сити. Но, видимо, там еще раним утра Редакторы программы видят сны и своих спальнях. Я решил, что лучше сначала поговор и т ь с Фредом.

И тот вечер он был в более или менее сносном состоянии, во всяком случае с ним можно было разговаривать. В палате все еще стоял запах паленого пластика. У свастики не хватало одного крюка, но Фред сказал, что она его и так уберегает. Целый день его никто не облучал. Он впервые по-настоящему бодр.

Я рассказал ему о лагере в Нью-Мексико, умолчал лишь о суровых условиях. Он ответил:

— Мне и там не укрыться от облучения.

— Ты можешь повесить себе маленькую свастику. Идея ему понравилась. Он хотел вырваться из клиники, а куда — не имело значения.

Главный врач отнесся к моей затее гораздо более сдержанно. Он-де не сторонник столь грубых методов. Так можно вконец сломать человека.

— Через два месяца, — заверил он, — Фред и у нас встанет на ноги.

— Что значит «встанет на ноги»? Неужели вы

думаете, я смогу жить, зная, что мой сын носится со свастикой?

Ночью я дозвонился до администратора фонда в Прово. Он объяснил, что все места, предусмотренные как весенней, так и осенней программой, уже распределены. Кроме того, лагерь предназначен исключительно для молодых людей, проживающих в Юте. Я сказал, что готов сам оплатить все расходы.

— Об этом не может быть и речи. Молодежь у нас лечится бесплатно. За счет пожертвований.

Я прикинул, сколько мне предстоит заплатить за услуги лондонской клиники в следующие два месяца. И, подумав, предложил американцу пожертвование в сумме 10 000 долларов. Еще столько же пообещал перевести на счет *Святых последнего дня,* то есть общине мормонов.

В ответ было сказано:

— Я должен узнать у кураторов групп, можно ли изыскать еще одно место. Позвоните мне завтра. Если вопрос будет решен, вашему сыну надлежит через девять дней прибыть в Моаб. Программа стартует там.

Мы прилетели в Моаб — городок на реке Колорадо, к югу от известного национального парка. В аэропорту нас ожидал спортивного вида парень с

табличкой, на которой было написано «Фред». Он приветствовал нас с несколько преувеличенной радостью, но производил впечатление симпатичного человека. Звали его Джерг. Он посадил нас в микроавтобус какой-то водно-спортивной фирмы, и мы поехали вдоль Колорадо вверх по течению. Река несла свои светло-коричневые воды, петляя между высокими рыжими скалами, которые местами были как будто вымазаны дегтем. Каньон иногда настолько сужался, что дорога у реки становилась похожей на тропу. Никакого дорожного ограждения не было и в помине. Фред сидел впереди, рядом с водителем. Кондиционер не работал. Несмотря на открытые окна, в машине держалась горячая духота. Джерг заговорил с Фредом — первая попытка установить контакт. Он указал на другой берег.

— Там, за рекой, национальный парк. Надеюсь, после лагеря у тебя будет несколько дней. И мы поездим по этим местам. Тогда удастся заглянуть в каньон-ленд национального парка и подняться на вершину Мертвая Лошадь. Все это здесь рядом. Есть на что посмотреть, ты еще ахнешь.

Фред ничего не ответил. Глядя на него, Джерг засмеялся.

— Я рад, что у нас появился человек из дальних

краев. Это будет разнообразить жизнь в лагере. Расскажешь нам о Старом Свете. Я никогда там не был.

Скальная стена, прижимавшая нас к реке, чуть отступила, и Джерг остановил машину.

— Вон там, впереди, бьет источник. Самая чистая пода во всем Божьем мире.

Он вытащил из-под сиденья пластиковую бутылку. К отвесной скале были прислонены два велосипеда. Мы обошли выступ. Из вмурованной в скалу железной трубы текла тонкая струя воды. Рядом на влажном песке лежала велосипедисты, они наслаждались отдыхом. Джерг наполнил бутылку. Мы подставили под струю сначала раскрытые рты, а потом и головы.

Миль через десять каньон стал пошире. Берег в этом месте оброс густым кустарником. Мы подъехали к немудреному кемпингу, все хозяйство которого состояло из двух грубо сколоченных сортиров и врытых в землю труб с поперечинами грилей. Ближе к берегу в окружении деревьев была раскинута большая палатка, перед ней стояло несколько машин. Среди них выделялся пикап, казавшийся горбатым из-за взгроможденных на кузов пяти надувных лодок. Под ногами шуршали песком ящерицы.

В палатке никого не оказалось. Но позади нее, на тенистой площадке с жаровней, сидели кружком отправляемые в лагерь наркоманы со своими родственниками. Два куратора, такие же молодые и спортивные, как Джерг, стояли в центре и разъясняли суть программы. Они не употребляли слов «воздержание» и «отвыкание», но говорили о реабилитации. Мы, последние из прибывших, были представлены как принятые в порядке редчайшего исключения foreigners.[21] Мое пожертвование в пользу *Святых последнего дня* удостоилось особого упоминания, а также аплодисментов и восторженных возгласов: «Nice to see youl Nice have you here!»[22]

Мы с Фредом уселись на землю. Джерг присоединился к своим коллегам в центре круга. Их звали Джим и Брайхэм.

Праздник открыл Джим. Он сказал, что всем нам предстоит прогулка на плотах по реке Колорадо, а затем — настоящий пир вокруг гриля. Решение пожить в лагере и пройти курс реабилитации — это уже праздник не только для тех, кто хочет стать хозяином своей судьбы, но и для

---

[21] Примечания: 21
Иностранцы *(англ.).*

[22] Примечания: 22
Рады в видеть! Как славно, что вы здесь! *(англ.).*

их близких.

— Этим праздником, — подхватил Брайхэм со звонким смехом чистой безгрешной натуры, — мы укрепили друг в друге силы для решающего шага, дабы покончить с зависимостью от дьявола.

Джерг, видимо, ведал более светскими вещами.

— Сегодня разрешается все, — объявил он. — Кроме, конечно, наркотиков и алкоголя. Но если найдутся любители покурить, никто не упрекнет их даже взглядом. А завтра, даст Бог, мы начнем наше общее дело.

Любителями покурить оказались все, кому предстояло жить в лагере.

Вскоре всех нас посадили в маленькие автобусы. Пикап с надувными лодками поехал впереди. Я поглядывал на реку, сверкавшую иногда в просветах кустарника. Вода напоминала густой сироп. Вероятно, нас ждала отнюдь не легкая прогулка. Примерно через полчаса рельеф каньона сгладился, и можно было увидеть такие участки реки, которые принято называть стремниной. Теперь дорога шла в гору, мы поднимались по ней, пока не подъехали к желобу для спуска лодок. Когда лодки были на воде, нам раздали спаса-

тельные жилеты. Нас уже разбили на группы. Нетрудно было догадаться, что Фреда определили под начало Джерга, в той же лодке оказались еще два молодых человека вместе со своими родителями, братьями и сестрами. Другим родственникам, что были помоложе, пришлось занять две дополнительные лодки, управляемые самыми смелыми парнями.

Я бы не сказал, что нас подхватил горный поток, однако река местами была довольно бурной, лодку бросало из стороны в сторону, в нее летели брызги, мы хватались за бортовые канаты, а Джерг, бодро смеясь, сидел в середине лодки и работал двумя длинными веслами так, что быстро убедил нас в своем гребном мастерстве. Временами он прикладывался к пластиковой бутылке с ключевой водой. Ноги у нас давно уже были мокрые, по днищу лодки гуляли маленькие волны. На борту имелись два контейнера. Один — с питьевой водой, второй — с апельсинами и соленым печеньем. Нам предложили угощаться без церемоний. Когда течение стало поспокойней, Фред спросил, можно ли прыгнуть в воду. Джерг не возражал. Глубина была не менее пятнадцати футов. Фред прыгнул. Через несколько минут в лодке уже не осталось ни одного пасса-

жира. Четырнадцать или больше голов, похожих на поплавки благодаря красным спасательным жилетам, неслись вниз по течению Колорадо. А инструкторы сидели в лодках и втягивали нас на борт, если впереди начиналась стремнина. Наступал вечер, но солнце еще палило так жарко, что одежда просыхала моментально. Джерг указывал нам на причудливость скального рельефа. Вот голова индейского вождя, вот орел, а дальше — дракон. На красные скалы ложился отблеск заходящего солнца.

— Жара здесь держится до полуночи, — сказал Джерг. — Ночью скалы отдают накопленное за день тепло.

Поздним вечером, когда мы собрались вокруг костра с грилем, трем инструкторам удалось создать прямо-таки семейную атмосферу, мы, можно сказать, почувствовали себя одним целым. Все запросто общались друг с другом, и разговор сводился по существу к одной теме — печальному опыту, связанному с болезненным пристрастием близкого человека. Когда Брайхэм в начале нашего знакомства помянул дьявола, у меня возникло опасение, что лагерь в известной мере рассчитан на религиозную «промывку мозгов». Но мало-помалу я успокоился. Кураторы

удовольствовались метафорикой с упоминанием Бога и дьявола. Все, что имело отношение к природе, считалось божественным. А гнездилищу дьявола отводилось место в недрах человеческого сообщества, прежде всего — в больших городах.

Мы с Фредом устали, сказывалась перемена поясного времени. И первыми удалились в палатку, чтобы заползти в свои спальные мешки. Фред принял таблетки, которыми его снабдила врач лондонской клиники. Их, как было сказано, надо регулярно принимать и в лагере.

На следующее утро вдруг резко изменился стиль нашей бивачной жизни. Завтрак состоял лишь из воды, апельсинов и горстки пресных крекеров. Фред незаметно выбросил свои таблетки. В двухстах метрах от нас приземлился вертолет. Дальше все происходило с обескураживающей стремительностью. Не успел остановиться винт, как наших детей попросили занять места на борту вертолета. Там у них отобрали все, что было сочтено лишним: перстни, цепочки, жевательную резинку, сигареты, медикаменты, даже носовые платки. Молодые люди безропотно подчинились. Из личных вещей им оставили только то, во что они были одеты. Прежде чем захлопнулась дверца, Джерг успел крикнуть:

— Через два месяца встречаемся вновь, на этом самом месте. Будет большой праздник.

Я стоял среди людей, прощально машущих руками, и, как все они, не мог удержаться от слез. Кто-то предложил помолиться. Я немного замешкался, глядя, как люди заходят в палатку, а затем выбросил свастику Фреда вместе с лекарствами в бочку для мусора.

Служащий водно-спортивной фирмы отвез меня в Моаб, где я снял номер в гостинице. Четыре дня я бесцельно шатался по городу, а потом улетел в Лондон. Еще через четыре дня я был уже в Вене. Национальный парк придется повидать в следующий раз, когда мучения Фреда будут позади.

За день до отлета в Моаб я позвонил отцу и рассказал о наших планах. И лишь к концу разговора решился сообщить о моем переезде в Вену. Поначалу он как бы даже не понял меня. А потом сказал:

— Через год, если не раньше, ты будешь сыт венцами по горло.

Вскоре оправдались мои худшие ожидания. В первое же утро, когда я, вернувшись в Лондон, еще не успел распаковать вещи, отец позвонил мне, чтобы пригласить на ужин. Вероятно, ро-

дители всю ночь толковали о моем будущем. Я сказал, что из трех вечеров, пока я в Лондоне, у меня ни одного свободного. Вместе с тем мне хотелось перед отъездом повидать родителей. И я согласился зайти к ним на ланч. Мать приготовила мне обжаренные хлебцы с пригвожденной палочкой острой колбасой — мое любимое лакомство со времен детства. Отец позаботился О напитках и даже переусердствовал в этом. Во время застолья он несколько раз отлучался, семеня короткими скользящими шагами в свою библиотеку. У него был коленный артроз, износились суставы, и его один раз, правда без особого результата, уже прооперировали. Мать спросила, как дела у Фреда. Но что я мог знать об этом? Бокал с водой она держала обеими руками. Кожа была усеяна старческими пигментными пятнами. Потом мать осведомилась, где именно я собираюсь жить в Вене. Я думал, за этим последует замечание о том, что как раз в Вену-то мне бы лучше не ехать. Но она посетовала на то, как беспокоит ее мысль о моем расставании с Би-би-си и переходе на работу на частное телевидение. Тем самым я поставлю крест на карьере политического репортера и, чего доброго, опущусь до отдела рекламы.

Мои родители смотрели кабельное телевиде-

ние, но бойкотировали ЕТВ, равно как и Си-эн-эн. Мать терпеть не могла рекламу. Как только начинали крутить ролик, она моментально выключала телевизор. Она была единственным человеком, от которого я услышал критический отзыв о репортаже из Локерби: «Зачем со всеми подробностями выставлять напоказ трупы? Вовсе даже ни к чему».

Отец сходил на кухню за кофе. Дрожащей рукой он наполнил мою чашку. Затем сел и сказал:

— Кофе-то венский. «Майнль». Бак Дахингер, художник, ты его знаешь, из Гмундена привез.

Я пил кофе и поедал восхитительные пирожки со сливовым джемом, испеченные моей матерью.

— Ты их по-прежнему любишь? — спросила она. — В Вене этого предостаточно.

— Вы должны в скором времени приехать ко мне.

Мать проникновенно взглянула на меня и закивала, а отец, кажется, был не в восторге от этой мысли. Он перевел разговор на другую тему.

— ЕТВ отбило у Си-эн-эн более тридцати процентов британских телезрителей. Что ж. Пусть уж лучше Европа сама вещает свои новости.

Мать рассмеялась и шепнула мне, словно выда-

вая чужую тайну:

— Сегодня он смотрел ETB.

Отец снова исчез за дверью библиотеки, а когда вернулся, стало ясно, зачем он отлучался. В руке у него был лист бумаги с написанным от руки венским адресом: «3-й район. Разумовскийгассе, 16 (или 26?)». Он уже не помнил номера дома. Внизу была приписка: «Кафе „Цартль". На углу Разумовскийгассе?» Название поперечной улицы он запамятовал. Далее перечислялись портной на Геологенгассе, булочная на Ландштрассерском шоссе, ресторан на Лёвенгассе и указывался адрес какой-то женщины, проживавшей на Зальмгассе.

— Можешь сразу выбросить этот листочек, твоя воля. Но если вдруг захочется полюбопытствовать и нечего будет делать, попробуй узнать, на месте ли они. Все это было неподалеку от моего венского дома.

— Ландштрассерское шоссе? Ты ничего не путаешь?

— Так мне запомнилось. Район называется Ландштрассе.

Я пообещал наведаться по этим адресам.

— Нет, — энергично возразил он. — Только в том случае, если у тебя не будет других дел. Жен-

щина наверняка уже там не живет. Но, может, остались родственники. Мне было бы интересно узнать, что с ней и как. Если она вообще еще жива.

— Она была твоей подругой?

— Это длинная история. Расскажу, когда навестишь нас в следующий раз. Извини, я забыл принести тебе пепельницу.

Но я и так уже засиделся. Провожая меня до дверей, отец сказал:

— Портной — просто первоклассный. Если он еще при деле, закажи ему костюм.

Я обнял на прощание мать, отец же решительно уклонился от сентиментальных объятий. Но я все же чмокнул его в щеку, при этом у меня мелькнула мысль, что, возможно, это наше последнее свидание. Направляясь к машине, я закурил и еще раз обернулся. Родители стояли в дверях и смотрели мне вслед.

Инженер
Пленка 3

Нижайший был совсем из другого теста. Он жил ради своей миссии, нашей миссии. Нет, он сам был миссией. На моих глазах он ни разу ни на секунду не дрогнул. И никогда ничего похожего на страх. Стопроцентная убежденность в правоте каждого слова, каждого поступка. Это не значит, что он не знал сомнений. Он сомневался в других, но в себя верил неколебимо. Приняв решение, шел до конца. Эта его непреклонность и решительность, его идея жить, сметая все барьеры, и сделали его нашим вождем, хотя он был самым младшим из нас. Во времена *Друзей народа* никому и в голову не приходило оспаривать его главенство, даже Файльбёку. Никогда не забуду первой встречи с ним. Он приехал в усадьбу под Раппоттенштайном. За рулем Панда, рядом с ним — Жердь, а сзади сидели *Нижайший* и Файльбёк. Бригадир, Пузырь, Сачок и Профессор выбежали навстречу с бутылками пива, я — за ними. Когда вновь прибывшие выходили из машины, я был еще во дворе. Ворота уже открыли. Я не знал,

кто из этих четверых Джоу. Но усек это с первого взгляда. Он был очень худой, кожа да кости, волосы темные, почти черные. Стоило ему посмотреть на меня, и все застыли как по команде, а он направился прямо ко мне.

— Ты Инженер? — спросил он.

Я кивнул.

— Теперь у нас полный состав.

Он потыкал меня кулаком в грудь так, будто мы старые друзья. Потом сделал приветственный глоток.

«Теперь у нас полный состав». Я не сразу понял, что он имеет в виду. А после, когда мы вошли в хай-тек-салон для нашей первой *панихиды,* я уже начал догадываться. *Панихида!* Я вам позднее объясню. В помещении было десять расставленных по кругу стульев. И я оказался десятым, стало быть, замкнул круг. Меня здесь ждали. Я был последним, кого приняли в *Друзья народа.* Не знаю, почему выбрали именно меня. Но всегда считал это особым отличием. Потом Файльбёк сделал несколько робких попыток присватать еще кого-то. «Ну не в полноправные члены, — говорил он, — а для установления личных контактов». Файльбёк всегда носился с идеей подключения к другим группам. *Нижайший* не возражал против

неформальных контактов, ему даже было любопытно, что думают и какие акции замышляют другие. Но он был решительно против какого бы то ни было разглашения наших тайн. Файльбёку он ответил: «Ты видишь хоть один свободный стул в этом круге? У нас все укомплектовано».

И, если не считать полицейских, никого, кроме зальцбургского «гауляйтера» и его заместителя, в нашем убежище не было. *Нижайший* не сомневался в том, что всякое расширение группы только отвлечет нас от цели. Он говорил: «Оптимальное число — семь или девять человек. Если меньше, группа станет слабее, если больше, это грозит развалом. Восемь тоже не годится — группа может разделиться на две равносильные части».

Откуда взялись цифры «семь» и «девять», я до сих пор не могу понять. Знаю только, что *Нижайший* всегда интересовался тайными обществами, конспиративными организациями, еретическими сектами и вообще группами сопротивления и, конечно, той верой, которая сплачивала эти группы даже перед лицом смерти. Прежде всего, он изучал историю оппозиционных движений Средневековья, еретиков XIII, XIV и XV столетий, борцов против господства Церкви, целью кото-

рых было Третье тысячелетнее Царство, где будет покончено со всяким рабством. Никто из нас не имел об этом понятия, даже Файльбёк. А *Нижайший* умел ярко и толково излагать историю, он рассказывал о революционерах, истребляемых Церковью за проповедь одной-единственной идеи — мечты о чистой и богоугодной жизни. А они не отрекались, несмотря ни на какие пытки, и даже в пламени костров провозвещали новую общность людей. *Нижайший* скрепил нашу маленькую группу духовной связью с героями истории. Мы обрели бесчисленных предтеч, кровь которых взывала к мщению.

Разумеется, мы старались побольше узнать и о возрождении идеи Третьего рейха Мёллером ван ден Бруком,[23] и об истоках национал-социалистического движения. Интересовались *тайным обществом Туле,*[24] куда входил Аль-

[23] Примечания: 23

Автор сочинения «Третий рейх» (1923), придавший этому понятию агрессивно-националистический смысл.

[24] Примечания: 24

Организация, созданная в период Первой мировой войны бароном фон Заботтендорфом по образцу масонских лож, проповедовала крайний национализм и расово-мистические идеи.

фред Розенберг, *Артаманами,*[25] на тайных собраниях которых встретились Рихард Вальтер Дарре и Генрих Гиммер, и даже деятельностью групп антифашистского сопротивления. Однажды *Нижайший* принес нам показания некоего тюремного священника, просто обескураженного тем, что участник коммунистического подполья, уже с петлей на шее, выбил у него из рук крест и вместо покаяния крикнул: «Да здравствует Сталин!» Мы ненавидели коммунистов, но эта несокрушимая верность идее потрясла нас.

Что было нашей целью? Сегодня я сказал бы: мы сами, прочность и сплоченность нашей группы. Ее боеспособность. Залог нашей непобедимости. Чтобы никто не мог капать нам на мозги и останавливать нас в наших замыслах. Мы стремились ворваться в историю. Это, может, звучит высокопарно, но мы не думали ни о какой рисовке, мы так жили и чувствовали. Мы хотели защитить себя. Все мы пришли к одному выводу: если будем бездействовать и уповать на лучшие времена, все станет еще хуже. А что нам оставалось? Ждать, когда все мы окажемся

---

[25] Примечания: 25

Молодежное движение аграриев Германии. Возникло в 1924., исповедовало расистские теории, провозглашало ненависть к славянам. В 1933 г. влилось в состав НСДАП.

безработными? Или, по-вашему, мне следовало чего-то ждать — чтобы какой-нибудь чертежник из восточных стран или даже из Африки занял мое место, поскольку он стоит дешевле?

Какие у нас задачи, за какое будущее мы ратовали — все это осознавалось далеко не сразу. Поэтому потребовались *панихиды:* каждое воскресенье, в обеденное время, мы вступаем в контакт с нашими предшественниками. В хайтек-салоне мы включали синие прожектора, а на алтаре зажигали три свечи. Потом садились в круг на вертящиеся стулья. *Нижайший* вставал за кафедру и читал отрывки из записей и книг, затем комментировал прочитанное. Он выявлял исторические связи, растолковывал, что именно важно в этих текстах для нас. Он всегда был готов ответить на любой вопрос и сам ставил их: «Что такое сегодняшняя Церковь? Кто в ответе за то, что ты, ты и ты и все порядочные люди страны уже никак не могут влиять на собственные судьбы? Кто виноват в том, что миллионам людей в Европе не дают честно зарабатывать на хлеб?»

Чтение и комментирование занимали час-полтора. Потом *Нижайший* садился на свободный стул. И тогда завязывался общий разговор, нередко часа на два. Никто из нас не был привязан к

своему стулу. Каждый мог сидеть, где ему нравится. *Нижайший* занимал свободное место. В обсуждении заметную роль играл Файльбёк. Он был верен букве национал-социалистических писаний. Но *Нижайший* говорил: «Истину нам никто не преподнесет. Наша задача — найти ее. Покойные предшественники лишь указывали пути. Не будем забывать: все они потерпели крах».

Панихиды вдохновляли нас идеей единства нации и идеей создания неуязвимой единицы сопротивления. Народное единство — неудачное выражение. Лучше сказать — единение людей белой расы. Рамки нордической или арийской общности, насколько мы могли судить об этом по сочинениям Розенберга и Дарре, казались нам слишком узкими. Файльбёк считал, что единение белых народов должно быть сориентировано на немецкую культуру. *Нижайший* думал иначе. Он объяснил нам, что идея народного единства проявилась в антинемецком сопротивлении, например в чешском движении таборитов. На следующей панихиде он прочел нам несколько текстов о программе таборитов и об их беспощадной борьбе против Церкви и императора Сигизмунда. Тут уж и Файльбёк не мог скрыть некоторого преклонения перед Яном Жижкой.

О роли славянских народов речь заходила постоянно. *Нижайший* принципиально относил их к общности белых народов, так же как и венгров и румын, но считал, что сначала их надо изгнать из наших государств и принудить к созданию собственной народной общности. А там уж посмотрим, насколько они годятся для сотрудничества. Славян мы презирали больше всего за то, что они сами подставляют шеи под ярмо эксплуатации и тем самым разрушают все, что нажито нами в области социальных гарантий.

Вытеснение иноземцев было нашей приоритетной задачей, основной предпосылкой борьбы за Третий рейх.

— Если мы не прогоним их вовремя, — сказал однажды *Нижайший*, — они подомнут нас, когда их станет так много, что они окажутся господами, а мы превратимся в их быдло. И впереди у нас — новый век, век кровопролития.

— Вспомните отчаянную борьбу Тома Метцгера и его White aryan resistance[26] в Калифорнии, — подхватил Профессор. — Там у них почти непосильная задача. Надо изгнать две трети всех жителей Лос-Анджелеса.

---

[26] Примечания: 26
Белое арийское сопротивление *(англ.).*

План у нас тогда был довольно смутный. К двухтысячному году мы хотели выдавить из страны всех славян и всех небелых иноземцев. Мы, конечно, понимали, что своими силами нам такое не провернуть. Поэтому было решено точечными акциями заставить чужаков организоваться и спровоцировать насилие с их стороны, чтобы поднять волну сопротивления всего народа. Тогда, глядишь, и политикам пришлось бы пойти на масштабные действия по выселению некоренных жителей.

Иоахим Флорский трактовал *Апокалипсис:* по его разумению, первая эра, эра Отца, заканчивалась рождением Христа. Потом наступала эра Сына, эра проповеди Евангелия. Третий этап — эра любви, радости и свободы. Она, по предсказанию Иоахима, должна была начаться где-то около 1260 года. И хотя это пророчество умножило число его приверженцев, их борьба не дала ожидаемых результатов.

— Иоахим хотел сам участвовать в борьбе за Третью эру, — сказал *Нижайший.* — Поэтому его ошибку можно понять. На самом деле он, того не зная, боролся за Вторую эру. *Апокалипсис* был написан после рождения Христа. Если всерьез принимать обозначенные в нем тысячелетние

периоды, то Первая эра тождественна первому тысячелетию. Но это — не эра Сына, а эра Отца, когда Церковь одолевала внешних врагов. И лишь потом наступила эра возмущенного Сына, борьбы за истинное понятие братства. С каждым веком эта борьба становилась все более ожесточенной, а в двадцатом охватила весь мир. Вот теперь мы стоим на пороге Третьего Тысячелетнего Царства.

От панихиды к панихиде мы всё яснее понимали, что на нас возложена древняя миссия, что нам поручено высечь ту искру, с которой начнется мировой пожар, а из него возникнет новый тысячелетний рейх. Искра вспыхнет в нашей борьбе с чужеземцами *...Число их — как песок морской. И вышли па широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожирал их; А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.*[27]

После панихиды все мы готовили праздничную трапезу. В течение полутора суток мы ничего не ели, только пиво пили. *Нижайший,* правда, все-

---

[27] Примечания: 27
Отк. 20, 7: 10.

гда чередовал пиво с кофе. Такая уж у него была прихоть. Выпьет бутылку пива, а после — чашку крепкого кофе, даже внизу, в тире, когда вел свои записи. При хорошей погоде мы готовили еду во дворе. Сачок соорудил большой гриль. Обычно пи покупал барашка у одного местного крестьянина. В Раппоттенштайне мы ели только все натуральное, прямо от крестьян. Если у них было что-то особенное, они звонили нам. Ближе к вечеру, после трапезы, мы возвращались в Вену. Сачок и Бригадир часто задерживались, Файльбёк тоже.

Я уже где-то месяца два был членом группы, и вот созрело решение перейти к действию. С помощью видео мы изучали разные виды рукопашного боя, чтобы взять на вооружение то, что могло бы нам пригодиться в первую очередь. Каждый из нас должен был иметь свой почерк. Иногда мы прерывали запись и, перейдя в хай-тек-салон, воспроизводили ту или иную боевую ситуацию, чтобы соотнести ее с нашими практическими задачами. Пузырь и Бригадир полагались на свои мускулы, остальные предпочитали владеть каким-либо оружием. Я купил себе нож с выкидным лезвием. Жердь обзавелся деревянными дубинками, какие применяют в восточных единоборствах. Прежде чем плани-

ровать общую операцию, каждый должен был пройти испытание в боевой схватке.

Как-то вечером мы собрались в городском пристанище *Нижайшего.* После работы Бригадир, Пузырь и я посидели в кафе «Райнер» и выпили по паре бутылок пива. Потом на 18-м трамвае доехали до конечной остановки и вышли на Гюртеле. Тротуар на внутренней стороне Гюртеля был еще освещен солнцем. Окна на первом этаже жильцы держали открытыми. Большей частью — иммигранты со своими семьями. По звукам можно было догадаться, что телевизоры начинают показывать вечернюю программу, но их заглушали громыхающие грузовики на мостовой с трехполосным движением.

Пузырь сказал:

— Вон там, впереди, где арочный мост старой железной дороги, и живет Джоу.

Мы подошли к грязно-серому обшарпанному зданию, такому же, как все дома вдоль Гюртеля. Две ступеньки вниз — и мы в полуподвале, где я впервые увидел коридор, о котором было столько разговоров. На веревках, протянутых во всех направлениях, сушилось белье. Мы шли друг за другом, лавируя между свисавшими колготками, рубашками и платками. Тут и там

были целые завалы из обуви, велосипедов, переполненных мусорных ведер и пустых коробок. Рядом с отслужившим свой срок холодильником стоял прислоненный к стене матрац. Из жилых отсеков доносилось верещание передающих разные программы телевизоров, вперемешку с тарабарщиной иноземной речи. Слева плакал ребенок, справа переругивались два мужика. Пахло плесенью и прогорклым жиром, пряностями, стиральным порошком и потом. У одной двери — хоть нос зажимай — лежал ворох замаранных пеленок. Где-то в конце коридора слышался громкий смех, мы узнали голоса своих товарищей. Судя по некрашеным дощатым чуланам и висячим замкам, это действительно был кое-как приспособленный под жилье подвал. В сумерках я заметил большое светлое пятно. Здесь пытались стереть, но все же не вывели окончательно надпись «курва».

Дверь открыл *Нижайший.*

— Теперь можно начинать, — сказал он.

Все подняли откупоренные бутылки и чокнулись. Файльбёк сидел на стуле, остальные расположились на кровати. Когда мы подсели к ним, Сачок сообщил:

— У Панды старческий склероз. Засветился при

выносе, забыл стереть магнитный код.

— И что будет? — спросил я.

— Да ничего, — ответил Панда. — Я сумел отбрехаться. Но с этого дня меня решили шмонать у выхода.

— Пусть себе контролируют, — заметил Бригадир. — Джоу спалит их лавочку.

На первый взгляд все имущество *Нижайшего* состояло в основном из книг. Стол ему заменяла подставленная на два выдвижных ящика доска из прессованной стружки. На ней среди груды раскрытых книг, рукописей, кофейных чашек и стаканов стоял компьютер. Возле стола — маленькая печка, работающая на жидком топливе. Под столом у самой стены — две двадцатилитровые канистры. На одной висел штуцер для долива. Здесь же нашлось место для двух поставленных друг на друга ящиков с пивом. У двери на каком-то комоде помещались электроплитка, несколько кастрюль, сковородок и итальянская кофеварка. Даже при закрытой двери нас доставал шум из других каморок.

— Мне еще повезло, — сказал *Нижайший.* — Я в угловом закутке. Рядом живет анголка. Ее слышно только по вечерам, когда она прихорашивается. Тут она врубает какую-то дикую

музыку с криками и барабанами. Сейчас ее нет. Ушла на промысел.

Он вытащил из-под стола один ящик и раздал бутылки.

— А теперь, — скомандовал он, — хором: «Ша! Заткнись!»

Взмахнув бутылкой, он крикнул вместе с нами. На какое-то время голоса за дверью стихли.

— Этим их еще можно пронять, — сказал он. — Раньше и двери были нараспашку. Тогда я тоже свою открыл и поставил пластинку с «Хорстом Весселем».[28] Сербы выскочили в коридор и подняли хай. Я усилил звук. Сербы хотели ворваться ко мне, чтобы выключить музыку. Я взял кухонный нож и встал на пороге. В коридоре — целая толпа, все повылезали из своих щелей. Я выключил пластинку и объяснил им, что мне мешает их шум, когда они не закрывают двери. На другой день двери опять нараспашку. Я снова ставлю «Хорста Весселя» и вижу, как их двери захлопываются одна задругой. Я стал повторять это упражнение каждый раз, до тех пор пока эти инородцы не уразумели, что у нас двери положено закрывать.

---

[28] Примечания: 28

В 1930-е г. песня «Хорст Вессель» стала своего рода нацистским гимном.

Жилые отсеки занимали по десять квадратных метров каждый. На этой площади ютилось от двух до четырех человек. Спали они на двухъярусных койках да еще стелили на пол матрацы. Только румынская семья размещалась в двух каморках.

— Все это жалкий сброд, — сказал *Нижайший.* — Негритянка за стенкой добывает свои гроши на панели, румын посылает свою ораву попрошайничать. Другая негритянка где-то метет или убирает. Ее муж целыми днями давит клопов, а дети ему прислуживают. Они к нам пробрались через Францию. Старшей дочке давно уж пора в школу ходить. Сербы — мерзкие забулдыги, у обоих на уме только одно — как бы оттрахать анголку. Как-то ночью в душевой им это удалось. Во всяком случае, можно было догадаться по звуку. Чем они живут, я так и не выяснил. Иногда пропадают куда-то на несколько дней. Потом возвращаются и бухают. Когда руки чешутся, метелят боснийца. Он единственный здесь, не считая меня, кто живет легально. У него хронический понос. Приходит с работы и загаживает сортир. Бедолага потерял на войне всю семью. Когда-нибудь он замочит этих сербов. По-настоящему опасны только два египтянина и

араб. Им надо больше, чем просто выжить. Эти неразлучны и не пьют. Молятся несколько раз на дню. Входят в *Общество помощи иностранцам.* Это они спреем намалевали на двери анголки «курва». Я точно знаю, потому что не спал тогда.

Мы выпили еще по бутылке. Потом разыграли на спичках, кому начинать *зачистку на Гюртеле.* Жребий пал на Пузыря. Он, похоже, не очень обрадовался, но ничего не сказал. Мы тут же приступили к делу. Для начала решили потрепать молодых чужаков, парней от пятнадцати до двадцати пяти лет.

На улице уже стемнело. Поток машин заметно ослабел. Грузовиков больше не было видно. Мы похлопали Пузыря по плечу и разошлись в разные стороны, но так, чтобы не терять друг друга из виду. Двое двинулись вперед, двое — к внешней стороне Гюртеля, за мосты городской железной дороги. Файльбёк и я последовали за Пузырем, но на порядочном удалении. Мы шли вдоль Гюртеля в районе Лерхенфельда. И тут впервые что-то вроде бы подвернулось. Из машины вылез смуглокожий. Пузырь — к нему. Но тут из ближайшего дома вышли люди, и Пузырь пошел дальше.

Через какое-то время он снова нашел цель.

Очень мною инородцев со своими семьями возвращались домой, в толпе были и коренные венцы, но вот появился тот, кого мы ждали. Он брел нам навстречу, сунув руки в карманы. Пузырь заступил ему дорогу. Короткая перебранка — и Пузырь двинул ему кулаком в живот.

Парень скрючился, Пузырь нанес удар по пояснице, и тот упал. Заорал только после того, как Пузырь сверху навесил ему пинка. Пузырь побежал. Никто не пытался задержать его. Люди даже дорогу уступали.

— Он его уделал, — сказал Файльбёк.

Мы двинулись дальше. У места происшествия затормозила какая-то машина, ее тут же стали подгонять гудками. Черножопый перестал вопить. Он хотел было встать, но не смог и начал кричать: «Помогите! Полиция!» Мы остановились. Какой-то мужчина спросил нас:

— Что тут стряслось?

— Точно не знаю, — ответил Файльбёк. — Видимо, кого-то поколотили.

— Наверняка этот иноземный сброд, — сказал мужчина и направился к нашей первой жертве, возле которой уже собирались прохожие. Мы свернули в переулок.

Час спустя все мы встретились в одном уютном

ресторанчике. У Пузыря был не очень веселый вид. *Нижайший* сказал:

— Ты первый настоящий участник *Движения друзей народа.*

Мы выпили за боевое крещение. При этом Файльбёк и Профессор крикнули:

— Ра-Хо-Ва!

Мы засмеялись. Дело в том, что на последней встрече в Раппоттенштайне *Нижайший* предложил употреблять тост и клич «Хайль Гитлер» только в тех случаях, когда нет посторонних.

— Почему? — поинтересовался Панда.

— Потому, — объяснил *Нижайший,* — что теперь начинается наша собственная борьба. Мы не имеем дела с обыкновенными нацистскими сопляками, и не надо сорить словами, которые могут повредить нашему делу. В конце концов, не собираемся же мы воевать с соотечественниками из *автономных* или *антифашистских* групп, мы будем бить чужих.

Панда высказал пожелание подобрать новый клич, чтобы не отказывать себе и в ресторанных посиделках. Профессор предложил в качестве тоста «Ра-Хо-Ва» — так он сократил «Racial holy

war».[29] Это — боевой клич одной группы из Флориды. Файльбёку идея понравилась. Другие отнеслись к ней без восторга. Потом мы сменили тему, так и не придя к общему мнению.

Наши наскоки с каждым разом становились все круче. Я наблюдал за бьющими на эффект проделками товарищей и приходил к выводу, что это по сути детская игра. Если толково нанесен первый удар, работа почти закончена. Я был пятым, кому пришел черед показать себя в деле. И как раз у меня не получилось без осложнений. На Гаульлахергассе я приставил нож к животу одного турка, который только что вышел на улицу, и велел ему грызть поребрик. Он заартачился, отступил на шаг и схватил меня за руку. Я ударил его в лицо левой, а нож вывернул вверх и саданул им турка в предплечье. Он выпустил мою руку и повалился на тротуар. Из-под разорванной рубашки текла кровь.

— К поребрику! — крикнул я, подгоняя его ударом по почкам. Он пополз к припаркованной машине. Тут за моей спиной распахнулась дверь дома, и вышли друзья турка. Они кинулись на меня. Я начал размахивать ножом. Они рас-

---

[29] Примечания: 29
Расовая священная война *(англ.)*

ступились и решили меня окружить. Кому-то я полоснул по рукам, одному попал в плечо. Потом один из них сгреб меня сзади и бросил на тротуар. Я отбивался изо всех сил, какие только может мобилизовать в себе человек в такие мгновения. Положение было аховое. Меня молотили ногами со всех сторон. Но ударов я почти не чувствовал, я целиком сконцентрировался на защите ножом. И тут у меня загудел череп — ударили по голове какой-то доской. Единственное, что удержала память в эти секунды, — это надвигающиеся на меня фигуры и глухой удар, который, казалось, вытряхнул меня из собственной оболочки. Боли не было, только ощущение жуткой встряски. Я видел свое неподвижное тело на тротуаре. В замедленном, как в кино, темпе на меня надвигались кожаные и рифленые резиновые подошвы, они топтали мое лицо, я видел подбитые гвоздями носки ботинок, впивавшиеся мне в живот, я видел каблук, плющивший мошонку. Единственное, что я тогда чувствовал, было отчаянное желание: пусть уж добьют эту кувыркающуюся у них под ногами жабу.

Очнулся я на какой-то скамье. *Нижайший* лил мне на голову минеральную воду. Слюна имела вкус крови. Друзья спрашивали о чем-то. Я при-

поднялся, сел и сплюнул. Мне стало плохо, и я опять лег.

— Они за это поплатятся, — сказал Бригадир. От него я узнал, что турки убежали, как только подоспели наши. Потом Бригадир и Профессор доставили меня домой. Два дня я пролежал дома, на работу не мог идти из-за страшной головной боли. Профессор кормил меня овсяным отваром и следил за тем, чтобы я не вставал. Каждые два часа он менял холодные компрессы, наложенные на пах. Все тело было покрыто синими, фиолетовыми и желтыми пятнами. Вечером Файльбёк принес большой флакон иналгона. Теперь я хоть боли не чувствовал. Он сказал:

— Мы с Сачком выяснили, где живут эти твари. Скоро поквитаемся.

Понадобилось две недели, чтобы все наши прошли испытание. Я хотел попробовать себя еще раз. Но Файльбёк возразил:

— Ты и так дрался храбрее всех. Не тебе нужно испытание, а всем нам надо теперь испытать себя местью.

Фриц Амон, полицейский
Пленка 3

В шесть вечера мы заканчивали службу. После обеда все как-то устаканилось. Нам оставалось попить кофейку, почитать газеты, не торопясь нарисовать протокольчик и, может, разок прошвырнуться по патрульному маршруту. Вот и все дела. Первый раз бал в Опере — без моего участия. Думаю, пойду домой, посмотрю телевизор. Те, которые заступали вечером, разошлись по домам досматривать соревнования. Им разрешалось отдохнуть перед началом дежурства. И вдруг — бац! Приходит факс: «Всем оставаться на местах! Полная готовность!»

Мой старший напарник аж крякнул:

— Во дают! Я бы и сам мог им подсказать, что людей маловато. Стоит только в газеты заглянуть. В общем, надо пересчитать на всякий случай кости, пока тебе другие не пересчитали.

— Нас наверняка шесть тысяч не наберется, — сказал я. — Но откуда ты знаешь, что нас мало?

Он только и ждал момента, чтобы растолковать мне все обстоятельно:

— Если бы все сводилось к тому, что *Общество помощи иностранцам* поклялось отомстить за смерть Абдула Хамана, хватило бы и тысячи полицейских. Но когда газеты которую неделю трубят про призыв к демонстрации, который исходит из этого самого *Общества,* вместо того чтобы просто не обращать внимания, будь уверен: соберутся бузотеры и проходимцы со всей Вены. Тут и трех тысяч не хватит. А больше нам взять негде. Сегодня будет встреча Бэренталя, внучки Муссолини и Брюно. Стало быть, весь вечер нас будет поливать всякое антифашистское дерьмо. Чтобы справиться с ситуацией на Карлсплац, потребуется не меньше шести тысяч.

Месяца за два до бала прошла демонстрация исламских фундаменталистов. Повод дала не наша страна, сыр-бор был из-за ближневосточной политики американцев. Началась перепалка — демонстрантов не пускали к американскому посольству. Сам я тогда был свободен от службы, о событии узнал из телепередач, из газеты и от товарищей, участвовавших в деле. С ними я учился в полицейской школе. Иногда мы вместе закусывали в шницельной. Они полностью перекрыли Больцманнгассе, где находилось посольство. Они просто хотели воспрепятствовать

попыткам демонстрантов помешать нормальной работе дипломатов. Но эти братья-мусульмане — или как их там? (потом выяснилось, что они в основном из Египта) — повели себя агрессивно. Без драки не обошлось, человек двадцать арестовали. Вообще-то не ахти какая крупная акция. Их и трех сотен не набралось. Большинство арестованных были вскоре отправлены восвояси, главным образом, как я говорил, в Египет. Некоторых пришлось отпустить, так как они уже имели наше гражданство. Им только сделали предупреждение. Несколько демонстрантов получили ранения, а один из них умер. Такое случается. Ему не повезло, была перебита сонная артерия. Кто тут постарался: наш или ихний, до сих пор не установлено. Через несколько дней после несчастного случая с утра весь город был обклеен плакатами. Слыхали об этом? «Отомстим за смерть Абдула Хамана!» Буквально на каждом углу. Это было призывом для сброда перед балом в Опере. Под призывом подписалось *Общество помощи иностранцам.* Его тем временем распустили, всю документацию конфисковали.

Общество помощи иностранцам. Звучит куда как безобидно, прямо благотворительная организация. А на самом деле — дьявольское логово.

Уж мы-то знаем. У этого *Общества* есть любимый ресторан около Брунненмаркта. Мне товарищ в закусочной рассказывал, что там за клиентура. Сплошь — радикальные мусульмане. Подготовку прошли в Египте.

И ведь обращались в первую очередь к тем, кто собирался на демонстрацию у здания Оперы, как будто смерть Абдула Хамана имеет какое-то отношение к балу. Абдул Хаман был у них вроде вождя. Как нарочно, случай подкосил именно его. А то, что он у них главный муфтий, никто из полицейских понятия не имел. Может, они сами его и порешили. Бывает же у них межплеменная вражда. Или же им потребовался повод, чтобы и у нас поднять волну террора. Лично я вполне это допускаю. Если верить их плакатам и призывам, венские полицейские заранее спланировали расправу над мусульманским лидером. А пресса еще и подхватила эту чушь. Но как среагировали наш министр и его наушный советник? Вместо заблаговременного запрещения демонстрации в день бала — все-таки шествий мстителей у нас и в заводе не было — мы получаем строгое предписание не бить дубинками по шеям. И это еще до того, как доказана чья-либо вина.

Основали так называемое *Общество* местные

доброхоты, которые выступали за права иностранцев и поддерживали беженцев. Угадайте, какой юрист приложил к этому руку? Конечно же, Томас Прадер. Не кто иной, как он хлопотал о представлении гражданства Абдулу Хаману. А ведь тот приехал к нам по туристской визе. И я думаю, с адресом *Общества* в кармане. Уж если им что надо, они готовы зубами вырвать.

Этот Абдул якобы входил в какое-то мусульманское братство, которое в Египте преследовали. Уж наверное, египтяне знали за что. Прошение о гражданстве наши власти отклонили, апелляцию тоже. Ему было велено в двухнедельный срок покинуть страну. И тут появляется Томас Прадер, размахивает свидетельством о браке и начинает крутить свою шарманку про права человека, право на семью — в общем, городил всякую мутотень. Сотрудники ведомства по делам беженцев проверили факты. Жена и вправду была. Медсестра, которая в свободное время помогала медицинской бригаде по обслуживанию *Общества.* Хаман сначала подвизался на Машмаркте, где продавал баранину, работая на одного турка. Потом стал таксистом. Когда его фото поместили в газетах, объявилось несколько бывших его пассажиров. Они рассказали, что, когда машина останавлива-

лась по красному сигналу светофора, он начинал читать арабские книги. Они, в том числе Коран, лежали на переднем сиденье и везде, где было свободное место. В одной газете сообщалось также, что он уезжал на несколько месяцев воевать в Боснию. И должно быть, не один. *Общество помощи иностранцам* все больше превращалось в исламский племенной Совет, По моему, они способны на любую гадость. Давно бы надо было запретить эту организацию. «Отомстим за смерть Абдула Хамана!» Дожили, нечего сказать! Где мы? У себя или в пустыне? От них у нас в стране одни неприятности. На кой нам чужие проблемы? Пускай воюют у себя дома. Гнать бы их в три шеи, всех, женаты они на наших свистушках или нет!

Это я к тому, чтобы вы знали, почему факс с приказом насчет готовности вполне можно было предвидеть.

— Боюсь, дорогая, — сказал я жене по телефону, — вечером нам не посидеть вдвоем у телевизора. — Потом доложил ей, что нас засняли телевизионщики. И попросил записать программу с трансляцией из Оперы. Конечно, я мог бы напомнить ей, что, прежде чем нажимать на клавишу «Запись», необходимо настроить видик на нужный канал. Но она, поди, в который

раз спросила бы, как это делается. Дело в том, что однажды она умудрилась не только ничего не записать, но и стереть, что было записано раньше. Однако разговор надо было заканчивать, так как по рации передали срочное сообщение из центра Службы безопасности: «Внимание! Внимание! Всем венским комиссариатам. Кто знает что-либо о группе под названием *Непримиримые?* Кто располагает хоть какой-то информацией о ее деятельности? Кто располагает информацией о Карле Файльбёке? Предположительные приметы: черные волосы, короткая стрижка, рост сто восемьдесят пять см, приблизительно двадцать пять лет, стройного телосложения. Реагировать безотлагательно ввиду особой опасности. Ждите сообщения по факсу».

Так вот примерно звучала радиоориентировка. И тут же затарахтел факс. Я подошел к аппарату и начал читать распечатку. Читаю, вникаю, запоминаю, и вдруг меня как током ударило — особая примета: «Отсутствует мизинец правой руки».

— Не может быть! — кричу я напарнику. — Мы больше года носимся с этим пальцем, а господа знают, чей он, но держат нас за идиотов. Тебе говорит что-нибудь фамилия Файльбёк?

Напарник как раз украшал гирляндами сви-

савший с потолка кабель. Он тоже ничего не мог припомнить. Что же получается? Ищут группу, которая якобы называется *Непримиримые,* информация, видимо, исходит от Файльбёка, но его самого разыскивают. А это может означать только одно: наши друзья из Службы безопасности уже имели дело с беспалым, не поставив нас в известность об этом. Напарник сказал:

— А ты позвони им. Может, требуется наша помощь.

Дежурный по участку схватил распечатку и побежал в камеру к койотам. Было слышно, как он на них наезжает. Один из бродяг заорал. Но они явно ничем не могли помочь.

— Сдадите вы, наконец, протокол? — взмолился дежурный, вернувшись в служебное помещение. — Я уже видеть не могу эту сволочь.

Через полчаса поступило сообщение. Мы как раз писали протокол. Койоты сидели на строительном помосте, сооруженном вдоль стены из козел и досок. Мы с пожарником корпели за письменным столом посреди комнаты в дебрях кабельных лиан. И тут заголосил репродуктор: «Внимание, внимание! Всем начальникам служб немедленно прибыть в здание казармы в Россау». Через несколько минут снова: «Внимание,

внимание!..» Этот голос, как я его вам изобразил, знаком мне уже не один год. И всегда вначале это самое «Внимание» с повтором.

— Что, дерьмо уже полезло? — буркнул напарник.

Давненько начальников не собирали в Россау. Последний раз их сдернули, когда было нападение террористов на здание ОПЕК.[30] Мы включили телевизор. Ничего экстренного. В тот момент начальником службы оказался мой напарник, так как остальные разошлись по домам. Он сказал:

— Ты пойдешь со мной!

Дежурный заверещал:

— Только когда закончите протокол. И не сидеть же мне здесь одному.

— Сам заканчивай, — ответил напарник.

— Но меня же там не было.

— Какая разница? Нарушение норм общественной нравственности, сопротивление представителям власти и оскорбления в их адрес. Но это все туфта, потому что ты их так и так должен отпустить. Тогда уж выпроводи парней и можешь заняться бабой, пока у нее дым из зада

---

[30] Примечания: 30

Организация стран — экспортеров нефти.

не пойдет.

Дежурный усмехнулся и выставил средний палец. Бомжиха до сих пор клевала носом на досках, а тут вдруг вскинула голову и говорит:

— Если хоть один из вас, нацистские твари, тронет меня, я ему хрен откушу.

— Заткни пасть! — крикнул дежурный. — А то я тебе флакон с твоими каплями вобью в твою же задницу так, что из носа потечет.

Я вижу, вы морщитесь. Но так уж мы тогда выражались. Нормальное дело. Выражения особо не выбирали. Нынче это бы не прошло. Женский персонал взбеленится. После катастрофы всем участкам были приданы женщины. А тогда коллектив был сугубо мужской.

После сообщения мы с напарником открыли свои шкафчики, надели шинели и вышли.

Когда мы прибыли в казарму, нас направили в кинозал. Там уже было около сотни полицейских. Все занимали стулья с откидными сиденьями, в основном в задних рядах и посередине, первые четыре оставались свободны.

Когда вошли директор Службы безопасности и майор Ляйтнер, шумок затих. Они сели в первом ряду. Наконец появился Резо Дорф, его сразу узнаешь по летящей походке. Этот человек — на-

стоящий феномен. Когда бы и где бы ни появился, впечатление такое, будто он прямо с курорта, только что из отпуска. Даже в тот день выглядел молодцом. Вы когда-нибудь видели его по телевизору? Ладошка к ладошке, вот-вот начнет молиться. И в тот раз так же. Начинал и приветствовал всегда он. «Надеюсь, — говорит, — все это ложная тревога».

Потом достал из внутреннего кармана какую-то бумажку и поднял ее, не развертывая.

— У нас имеются некоторые данные о поставках в Вену продукции иракской фабрики боеприпасов. Мы не знаем, что это за продукция. Но нельзя исключать и химическое оружие.

Кто-то из зала не удержался:

– Общество помощи иностранцам.

Резо Дорф улыбнулся:

— Ваша наивность, коллега, просто восхищает. Или вы считаете нас полными идиотами? Мы уже который день только и заняты тем, что допрашиваем всех членов этой почтенной организации. Мы им мозги наизнанку вывернули и обыскали все, что можно. К сожалению, безрезультатно. Есть, однако, другая зацепка, одна-единственная. Поэтому я и попросил вас прийти сюда. Как вы знаете, господа, — он упрятал бумажку в карман

и сложил ладони, — я отвечаю за безопасность на сегодняшнем празднестве расфранченных особ. И не хочу давать повода для упреков в том, что не сделал для этого все необходимое.

Резо Дорфа знали все. Он руководил *Отделом расследований государственной измены и уголовных преступлений против государства.* Это — специальная служба федеральной полиции, учрежденная парламентским Комитетом безопасности после падения коммунизма, ее задача — воспрепятствовать проникновению русской мафии в нашу страну. Самый оснащенный отдел. У них было все, о чем простой полицейский может только мечтать. Этот отдел, с одной стороны, часть федеральной полиции, а с другой — как бы и нет. Потому что не подчинялся нашему министру, а отвечал исключительно перед руководителем парламентского Комитета.

От американцев были получены секретные сведения о том, что русская мафия не только контролирует часть нашей экономики, но и начала уже налаживать кое-какие политические контакты. Резо Дорф, серб по происхождению, сначала носил фамилию Черне, а потом, приняв наше гражданство и поступив в австрийскую полицию, поменял ее. Так вот, Резо Дорф был

идеальной фигурой для этого дела. Со стороны и не скажешь, что это полицейский. Он часто употреблял крепкие выражения, которые были в ходу у нас в полицейской школе. Однако говорил так и на людях. Да и в тот день тоже. Иногда было даже как-то неловко за него. Но по службе он продвигался необычайно успешно. Каждый год — очередное звание и орден. Не знаю, чем он занимался раньше, до того, как подался в Австрию. Во всяком случае, поговаривали, что его хорошие восточные контакты завязались еще во времена сотрудничества с политической полицией Сербии. Когда он получил очередную награду и на фото в газете «Общественная безопасность» появился на пару с разулыбавшимся министром, наш начальник патрульно-постовой службы сказал: «Теперь они его будут двигать, иначе он свалит их всех».

Резо Дорф показал нам две видеозаписи, обе скверного качества. Первую засняли с помощью камеры наблюдения в конторе бывшего директора Службы безопасности. Директор сидит за письменным столом, а перед ним — тридцатилетний, а может моложе, парень с перебинтованным запястьем. И вот он другой рукой начал медленно разматывать повязку. На ней показалось какое-

то пятнышко, которое по мере разматывания становилось все больше. А потом заело — бинт приклеился. Парень рванул его, лицо аж исказилось от боли. Обнажилась подсохшая гнойная рана на месте отсеченного мизинца. Она тянулась до самого запястья. Вместо мизинца — какие-то рваные волокна. Что он говорил — слышно не было: камера не записывала звук. Парень начал снова забинтовывать руку. При этом беспрерывно что-то говорил, иногда выпускал бинт и опять наматывал. Закончив перевязку, встал и исчез из кадра. Бывший директор тоже поднялся. Шлепал губами. Беспалого видно не было. Затем он вернулся на прежнее место и попрощался с директором, протянув ему левую руку.

В зале включили свет. Резо Дорф встал перед экраном и попросил бывшего директора как можно подробнее рассказать, о чем шла речь тогда в кабинете. Директор встал и подтянул брючный ремень. Ему всегда приходилось таким манером подбирать живот.

— Это было без малого два года назад, — сказал он. — Нам все звонил какой-то мужчина и добивался личной встречи со мной. Якобы надо предотвратить какую-то катастрофу. Говорить хотел только со мной. Упорствовал так, что мне

пришлось в конце концов принять его. Рану, по его словам, ему нанесли люди, называвшие себя группой *Непримиримых.* Группа планировала теракт во время бала в Опере. Он сам был членом группы, но высказался против этого плана. За что его якобы и наказали. Ему отсекли мизинец. А пришел он для того, чтобы воспрепятствовать акции…

Тут Резо Дорф прервал бывшего директора:

— Неужели этот отрезанный палец не мог послужить нитью для установления лиц, входивших в группу *Непримиримых?*

— Увы. Я спросил, как его зовут. Но он даже этого не сказал. Когда я поднажал, он признался, что не знает, как именно был задуман ход акции. Но если мы гарантируем ему ненаказуемость, он будет сотрудничать с нами и постарается выяснить детали.

— Ненаказуемость? А за что его наказывать? — спросил Резо Дорф. Он, конечно, и сам это знал, но хотел побольше заинтриговать нас этой дискуссией.

— Я тоже задал ему этот вопрос. Но он ничего не хотел говорить. Я объяснил, что мы не можем гарантировать ему свободу от уголовной ответственности, если он не сообщит о своей роли в

группе и о совершенных преступлениях.

Беспалый безоговорочно требовал свободы от наказания. Директор втолковывал ему, что он может рассматриваться как свидетель только в том случае, если станет ясно, что он будет полезен следствию.

Порешили на том, что директор поручает ему выведать детали планируемой акции и затем дать о себе знать. А тем временем директор подумает о том, что можно для него сделать. И тут — надо же отчудить такое! — директор отпускает его на все четыре стороны. Ищи ветра в поле! Может, до сих пор ждет, когда тот появится. Отсюда первый вопрос, который задали бывшему директору. Обычно начальников подкалывать и думать не моги. Я бы, например, не решился. Но тут особый случай. Слишком важное было дело. В общем, кто-то набрался смелости, встал и спросил напрямик:

— Почему вы его отпустили?

— Я был на сто процентов уверен, что он вернется, — ответил бывший.

Поэтому он якобы и обратился к майору Ляйтнеру, по его словам, «лучшему юристу венской полиции», и спросил, что можно предложить беспалому в обмен на информацию. Тут под-

нялся сам майор Ляйтнер и рассказал, что было дальше.

— Я рекомендовал гарантировать этому человеку свободу от уголовной ответственности, если он на этом настаивает. И даже дать письменное заверение. Ходатайствовать ли об этом перед судом — другой вопрос. Скорее всего, нет. Затем я посоветовал заняться этим делом очень серьезно и подключить к нему Резо Дорфа. Все-таки речь шла о безопасности политиков и лиц с международной известностью.

А Резо Дорф объяснил нам, что, приняв это дело, он не мог получить никакой дополнительной информации, поскольку рассчитывал узнать все от беспалого. Оказалось, что зря.

В день бала — за год до катастрофы — здание Оперы внимательнейшим образом осмотрели саперы. Агентуру среди гостей бала значительно усилили. Но ничего не случилось.

Да уж, внутри-то, конечно, ничего. Демонстрации у здания опять-таки были запрещены. Однако разразился настоящий уличный бой, который длился не меньше часа. Но среди арестованных не обнаружилось ни одного человека, связанного с группой *Непримиримых.* Как всегда, сцапали горстку левых, а в основном — анархи-

стов разных мастей.

— Беспалый, — продолжал Резо Дорф, — говорил про каких-то *Непримиримых,* о которых мы сейчас ничего, по сути, не знаем. Но парень, ясное дело, умолчал о том, что сам несколько лет назад был участником *Движения друзей народа.* Мы выяснили это, когда спустя какое-то время его мать подала заявление о пропаже сына и приложила фотографии. Так мы узнали имя этого парня — Карл Файльбёк.

По мнению Резо Дорфа, именно он дал анонимную информацию о пожаре на Гюртеле. Это, если не ошибаюсь, было года за четыре до катастрофы. Главарь *Друзей народа* скрылся куда-то и больше не всплывал. Двух сообщников посадили. Они и по сей день сидят. После поджога дома на Гюртеле это самое *Движение* запретили. Тогда тоже допрашивали Карла Файльбёка. По дикой халатности сотрудников гернальского участка не были сняты отпечатки пальцев. И что толку от моей находки в подземном переходе на Карлсплац? Как можно было установить, что палец принадлежал Файльбёку?

Резо Дорф сказал, что его отдел после идентификации беспалого как Файльбёка начал наблюдение за всеми бывшими участниками

запрещенного движения. Не было никаких признаков, что группа опять активизировалась. Несколько человек, работавших поблизости друг от друга, встречались иногда в ресторане на Марияхильферштрассе. Да и эти встречи были вроде как случайными. Помимо этого никаких контактов не зафиксировали, даже телефонных. После исчезновения предводителя *Движение друзей* народа сошло на нет. Но было одно исключение.

— Полтора года назад, — сообщил Резо Дорф, — через пару недель после милой беседы Файльбёка с господином директором, когда мы уже начали пасти этих парней, они устроили в Иоаннову ночь праздник с костром. Это было в старой усадьбе под Раппоттенштайном. Встретились, так сказать, из ностальгических чувств. В этой усадьбе, давно заброшенной и принадлежавшей дяде бывшего активиста *Друзей народа,* они и раньше собирались в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое июня, чтобы отметить праздник солнцестояния.

На сей раз туда пожаловали и мы со скрытой камерой. Ребята все заготовили, сложили костер из дров и соломы, окатили бензином и подожгли. Мы с нетерпением ожидали услышать какие-нибудь заклинания и нацистские лозунги. Но,

к нашему удивлению, на огонек со всех сторон стали стекаться люди, приносили вино, колбасу, жареный картофель и выпечку. Началось самое настоящее народное гулянье. Я глазам своим не верил.

Когда деревенские ухари порядком напились, они начали прыгать через костер — вроде как испытание смелости. Один не уберегся, опалил себе всю задницу. Другие принялись сбивать с него огонь. Пришлось отправить парня в больницу. Мы помочь не смогли, так как находились на охотничьей вышке и наблюдали происходящее через телеобъектив. Позднее мы обнаружили в трактирах плакаты с накарябанными надписями, приглашавшими всех местных и заезжих на праздник солнцестояния. А теперь прошу внимательно посмотреть пленку.

Резо Дорф сел. Вторая пленка была немногим лучше первой. Сразу видно, что снимали с большого расстояния. В кадрах один за другим промелькнуло человек семь-восемь. В руках — ящики с соломой и хворостом, из них нагромоздили целый холмик. Лица различить почти невозможно. Резо Дорф нажимал на кнопки дистанционного управления. Потом он встал и вышел к экрану.

— Мы знаем их всех, всех до одного, — сказал он. — Вот этот субчик работает крановщиком в одной строительной фирме. А этот — Бригадир на той же стройке. Дом принадлежит его дяде. Есть еще и третий с их места работы, кличка — Инженер, но его здесь не видно. Вот эта глиста работает в ресторане на Марияхиль-фештрассе, где все они иногда собираются пожрать.

Через некоторое время Резо Дорф остановил пленку.

— А вот и тот самый Инженер. Последним подходит один битюг, он работает в магазине пластинок и аудиокассет. А тут кто у нас?

Он указал на человека в шляпе, который появился с охапкой дров в руке.

— Мормон! — шепнул я напарнику.

Он пригляделся и сказал:

— Смахивает на Мормона, который гундосил свои проповеди на Карлсплац.

Начальник караулки на Карлсплац тоже вроде бы уловил поразительное сходство. Единственная закавыка — волосы. У Мормона были длинные, а здесь — короткие.

— Может, он убрал волосы под шляпу? — предположил начальник караулки. — Вы же допрашивали этих парней. Что они-то говорят?

— Говорят, что не знают его, — ответил Резо Дорф. — В один голос утверждают, что он пришел только к вечеру, якобы прослышав о празднике. Хотел просто помочь. Уверяют, что зовут его Джорджем, что он ирландец. Местные рассказывали, будто он и по-немецки-то толком говорить не умеет и чаще всего общался с учительницей на английском. А директрису школы он даже охмурял, но и она утверждает, что он ирландец, а о предстоящем костре узнал случайно. Наплел ей, что эта традиция идет из Ирландии.

— И все же, — заявили мы, — он похож на Стивена Хаффа, Мормона с Карлсплац.

— Благодарю, — сказал Резо Дорф. — Это даже больше, чем мы могли ожидать.

Резо Дорф постоял с минуту на фоне полыхающего костра, потом пленка кончилась, и в зале зажгли свет.

Резо Дорф молитвенно сложил руки.

— Итак, — сказал он, стараясь выглядеть как можно спокойнее, — теперь в самую гущу дерьма. Возможно, были тысячи причин, почему этот тип нарисовался у костра полтора года назад. Тем не менее принять все меры по розыску Мормона. Немедленно задержать всех бывших *Друзей народа.* В остальном я согласен с директором Службы без-

опасности: все начальники патрульно-постовой Службы переодеваются в штатское и идут на бал. Фраки получить в отделе вещевого довольствия. Господин директор, ваше слово.

Старик поднялся.

— Разумеется, мы должны сделать все, что от нас зависит, — сказал он. — И прежде всего, учитывая сигналы из-за границы о поставке оружия Ираком. Тут промедление недопустимо, а мы сделали не все, что в наших силах. Мы даже не знаем, что это за оружие. Не вышли хоть на какой-то след. Возможно, все это — буря в стакане воды. Но, как я уже сказал, надо сделать все от нас зависящее.

— Насколько велик риск? — спросил кто-то.

— Что я, Господь Бог? — сказал Резо Дорф. — Год назад мы узнали про обрубок пальца и сборища у костра. И что же? А ничего. Так называемые Непримиримые до сих пор не обнаружены. В этом году мы услышали призыв к мести от этих верблюжатников и получили сигнал о поставке иракского оружия, а это, по сути, совсем другой след. История с пальцем все еще смахивает на «глухарь». И все-таки: Файльбёк исчез, а иракское оружие должно где-то храниться. Стало быть, надо стиснуть зубы и с головой окунуться в дерьмо.

А уж завтра поговорим о том, как оно воняет.

Последние слова были встречены всеобщим хохотом. Когда мы поднялись и загрохали откидными сиденьями, дверь распахнулась и в зал вошел шеф венской полиции Хюблер в парадном мундире, он отдал нам честь. Мы вытянулись и взяли под козырек.

— Вольно! — крикнул Хюблер.

Мы опустили руки. Он отдал приказ:

— Всему имеющемуся личному составу в восемь тридцать собраться на плацу казармы. Дежурным обзвонить всех отсутствующих. Все, с кем можно связаться, должны прибыть немедленно. Мы не можем ставить в известность телевидение, так как это еще более осложнит ситуацию. Ночью в участках остаются только дежурные. Это — необходимый риск.

С этими словами он покинул зал. Когда мы с напарником вернулись в свой участок, подонков там уже не было. Зато был начальник патрульно-постовой службы. Он держал в руках пульт дистанционного управления.

— Братцы! — воскликнул он. — Вы слышали, какая заварилась каша? Нашим нужна подмога. Я бегу в Оперу.

— Нас только что проинструктировали шиш-

ки, — говорим мы ему, — Резо Дорф, директор Службы безопасности, майор Ляйтнер и Хюблер.

— Господи! Как же я-то пропустил. Кто-нибудь про меня спрашивал?

Я рассказал ему о найденном мною пальце и о том, какой это стало бы важной зацепкой, если бы я мог продолжить расследование. Его аж передернуло. Он явно забеспокоился о своей репутации:

— Надеюсь, ты не ляпнул там, что я помешал тебе вести это дело?

Я утешил его. У нас не было времени обсуждать ход собрания. Ему надо было ехать за фраком в отдел вещевого довольствия.

Не ведая о том, чем кончится празднество, мы всё приговаривали:

— На балу в Опере начальники, а в уличной драке — подчиненные. Ловко придумано.

Назад, в Старый свет

Кровоточащие бугры с какими-то желтыми маслянистыми вкраплениями. Оголенные кости. Рваное человеческое мясо. Лоскутья одежды. В фокусе — оторванная нога. Скольжение над прикрытой лужей крови. Кто-то приподнимает бумажный покров. Под ним голова с обрубком плеча. Крупным планом — открытые глаза. Стоп. Склейка. Женщины в черном исходят плачем, опираются друг на друга. Крупный план залитого слезами лица. Склейка. Дети с автоматами Калашникова позируют перед камерой.

Зрелище ужасает своей неизменностью. Но к этому невозможно привыкнуть. Мертвые, раненые, плачущие навзрыд, скорбящие, стреляющие и дети. Особым спросом пользуются кадры с окровавленными или вооруженными детьми. Мир не может насытиться добротными лентами с настоящей войной и кровью. Обычная съемка на порядочном удалении от взрывов и огненных сполохов уже никого не устраивает. Чаще всего это — просто портрет корреспондента на фоне местности, он облачен в бронежилет и объясняет

зрителям, что, несмотря на достигнутое перемирие, идет перестрелка. Кто ее начал, трудно понять. Таким репортажем с места события, как правило, открывался выпуск новостей. Но всегда давалось понять, что заваруху затевала не та сторона, которая снабдила репортера бронежилетом и указала ему позицию перед камерой. Не для того ETB платило мне вчетверо больше, чем Би-би-си, чтобы я поставлял стандартные зарисовки. От меня требовались кадры с настоящей войной, да еще крупным планом. И мои заказчики получали их.

Мостар и Сараево — этим городам я обязан тем, что мое положение на ETB стало неколебимо прочным. Я слетал в Загреб вместе с оператором и звукотехником. Там нас представили командиру спецподразделения. Его военная форма являла собой пеструю комбинацию из элементов экипировки разных армий, как будто он облачился в то, что насобирал в лавке старьевщика. Говорил он на языке немецких гастарбайтеров, но с баварским акцентом. Глаголы принципиально употреблял только в неопределенной форме: «Я разрешать всего два человек».

Поэтому оператора мы оставили в Загребе. За две ночи нас в составе маленькой группы

австрийских и немецких контрактников перебросили в район боевых действий под Мостаром. Разместили во францисканском монастыре. Снимать контрактников я не имел права, но все же я ухитрялся. Для того, в конце концов, и был изобретен телеобъектив. Все они были простонапросто нацистскими молодчиками не старше двадцати лет. И подались сюда для того, чтобы помочь старому другу — Хорватии одолеть старого врага — Сербию. Но теперь, в Мостаре, воевали не с сербами, а с боснийскими мусульманами. Такая неувязочка, казалось, только распаляла их злобу. Огонь открывали по всему, что движется. Скажи я им, что мой отец еврей, я бы ахнуть не успел. Одного из них я заснял с большого расстояния, когда он подарил девочке-мусульманке гранату. Он усмехнулся и быстро попятился назад, уходя из кадра. Я хотел было направить на него объектив, но меня пронзила мысль о том, что он мог выдернуть чеку. Девочка смотрела на гранату в своем кулачке и не знала, что с ней делать. Через секунду ребенка разорвало в клочья.

Я поклялся себе тогда сделать все, чтобы этот гад предстал перед судом. Но уж очень маловероятно, что ему удалось остаться в живых.

Насколько мне известно, только один наемник

из этой австрийской группы молодых нацистов сумел вовремя унести ноги. Остальных после выполнения задания где-то закопали.

Мой материал назывался «Мостарский ад». Его передавали все станции ЕТВ и купили многие страны. Тем не менее я не был доволен им. Мне удались кадры с развалинами городов, с беспомощными и бесприютными жителями, с двумя взлетевшими на воздух арками старого турецкого моста через Неретву, с уничтоженными артиллерией и огнем пожаров мечетями. Кроме того, у меня была ставшая знаменитой картинка с девочкой и гранатой; ее даже использовали в иллюстрированных журналах. Но при этом хорватское спецподразделение и наемники вошли в сюжет короткими и пустоватыми эпизодами — храбрые солдаты на защите францисканского монастыря. Хотя на самом деле в первую же ночь после съемки они покинули монастырь и с целым грузом взрывчатки переправились через Неретву. В восточной части города они взрывали мечети. Я все ждал возможности незаметно заснять их рейд. Но после расправы над девочкой содержимое моей камеры было дороже золота, и я не хотел рисковать. Мы прибились к регулярным частям, которые помогли нам проделать

обратный путь в Загреб. За два часа фильм был смонтирован и снабжен комментарием. Техник по спутниковой связи перегнал его в Париж. Первый фрагмент — а это, естественно, был эпизод с погибшей девочкой — показали уже в вечерних новостях. Фильм целиком на следующий день увидела вся Европа. Ввиду спешки с отъездом у меня не было возможности документально подтвердить, что старый мост взорвали немецкие нацисты последнего поколения. Я лишь зафиксировал, как они похвалялись этим. Еще в Загребе я узнал о том, что горит францисканская церковь в Мостаре. Хорватское телевидение показало первый снятый материал. Комментарий мне перевел один немецкий коллега. Это был призыв сражаться до последнего. И я понял, насколько ненадежным было мое прибежище во францисканском монастыре.

Однако материал имел такой успех, что венское бюро ETB могло перейти на полную самоокупаемость. Я даже испугался — не рановато ли мы созрели — и вынужден был оправдываться перед парижским начальством. Позднее же, когда пришел черед Сараева, дальнейшее продвижение моего венского проекта стало делом решенным, несмотря на все трудности, с которыми я столк-

нулся вначале.

Вернувшись в Вену, я не нашел вокруг ни отголоска, ни эха — если не считать сбора пожертвований в пользу пострадавших жителей Югославии — той войны, что шла в каких-то четырех сотнях километров отсюда. Вена напоминала своего рода большую деревню. Создавалось впечатление, что здесь все знают друг друга. Единственный вопрос, который волновал людей, — это как бы без хлопот и вместе с тем не без некоторого азарта прожить оставшуюся жизнь. У политиков, правда, были свои заботы. Казалось, их профессиональный интерес состоял в том, чтобы увидеть свои лица в передачах ETB. Не успел я провести в Вене и двух недель, как меня уже начали приглашать: бундесканцлер — на теннис, его супруга — на гольф, партийный лидер консерваторов — совершить прогулку в Альпы. Руководитель Национальной партии прислал мне по случаю, так сказать, моего вступления в должность подарок в виде синего шарфа. Я отправил его обратно с чистосердечным признанием, что пока не собираюсь вешаться. После этого он пригласил меня на ужин в «Бристоль». Бургтеатр, Театр Академии и Опера навязывали бесплатные билеты на премьеры. Вскоре их примеру после-

довали другие театры. Бизнесмены, министры, партийные функционеры, главные редакторы, профсоюзные деятели, муниципальные советники — все, похоже, изо дня в день собирались за праздничными столами. А газеты и журналы, включая жалкие тявкалки, обретали некоторую солидность лишь в тех случаях, когда затрагивали самый нерв столичной жизни, то бишь вопрос о том, кого с кем видели на этих банкетах.

Была и другая сторона городской венской действительности, связанная с так называемым предместьем. В кварталах, построенных городскими общинами и составлявших гордость муниципальной политики социалистов, гуляла теперь дикая! охота Юпа Бэренталя — лидера Национальной партии. В период первоначальной эйфории по случаю разрушения «железного занавеса» имел место бесконтрольный приток беженцев из восточноевропейских стран. Их сменили — когда границу вновь перекрыли, уже с западной стороны, — люди, бежавшие от войны в Югославии. Но потом Съезд был закрыт и для них. Между тем ситуация на окраинах изменилась. Ютящиеся, как правило, в тесных жилищах иностранцы столкнулись с растущей враждебностью местного населения. За два или три года

до моего прибытия в Вену был совершен поджог жилого дома, когда погибло двадцать четыре иностранца. Я слышал об этом в Лондоне. Но известие о поджоге затерялось в потоке сообщений о подобных актах в Германии.

Когда я приехал в Вену, ситуация стала как будто поспокойнее. Уровень правонарушений, квалифицируемых как насильственные действия расистов, были здесь ниже, чем в других крупных города к Европы Однако ряды тех, кто горланил: «Благо Австрии прежде де всего» и «Австрия для австрийцев», хотя сами они зачастую были людьми славянского происхождения, продолжали пополняться. Но я, еще не отвыкнув от Лондона, где уличные эксцессы такого рода уже перестали удивлять, не видел особой опасности в вылазках венских экстремистов.

Собственно говоря, Вена была вне сферы моих интересов, разве что я наблюдал ее со стороны. Тем не менее я начал свой журналистский поиск в кварталах, населенных иностранцами, — в 16-м, 17-м и 20-м районах. Я полагал, что иностранцы лучше, чем кто-либо, знают, в чем суть проблем их родины, и таким образом надеялся составить для себя какую-то общую картину. Они же в основном заводили речь о проблемах, с которыми

столкнулись здесь. Почти никто не отваживался говорить перед камерой, особенно женщины. Многие из них оказались здесь после того, как их мужьям удалось добыть соответствующие документы, а сами они не имели даже разрешения на жительство. Многие, вероятно, и могли бы получить таковое, но избегали всякого контакта с властями, боясь ареста и высылки.

Когда между хорватами и сербами началась череда перемирий, я совершил поездку по Румынии, Болгарии, Польше и Албании. В конце концов мне поручили заниматься всей Восточной Европой. Только я не мог найти ракурса, в котором эти страны представляли бы интерес для зрителей ETB. Бывшие коммунистические государства сами собой приходили в упадок. Я снимал разруху и нищету. Я разговаривал с людьми, которые жаловались на нехватку всего на свете, ругали политиков, а нуворишей называли «мафией». Ну и что, думал я, а мой сын питается кореньями и улитками. Я снимал скороспелых богатеев, которые разъезжали на шикарных немецких лимузинах и упрекали бедных в инертности: они-де не способны ни к какой инициативе, только и ждут подачек от государства. Кажется, мне это знакомо, думал я. Подождите

малость и увидите, что станет с вашей страной, когда у вас появятся наконец свой Рейган и своя Тэтчер. Я снимал политиков, дружно мечтавших о присоединении к Западной Европе. Они могли просто растрогать до слез, когда пели дифирамбы своему свободному рынку и в то же время, заискивая перед западной камерой, молили богатые государства о денежных дотациях.

Мои первые репортажи из Восточной Европы были самыми неинтересными из всех смонтированных мною материалов. Даже ETB не хотело их передавать. Я был рад, когда к немецкой программе, которую мы транслировали сами, пристегивали английскую, а если подпирало, французскую или итальянскую.

После признания Европейским сообществом и США независимого государства Босния и Герцеговина разразилась давно прогнозируемая война в Боснии. Я сразу же очутился в своей стихии. Когда страны Запада стали угрожать все громче и выразительнее, я зарезервировал дополнительный канал через французский спутник связи.

Но вскоре парижская дирекция ETB стала наседать на меня, вынуждая отказаться от этого канала, так как ежедневная плата даже за нерабочее время была слишком высока. А поскольку

дирекция пригрозила переложить все расходы на плечи венского бюро, меня начал доставать здешний коммерческий директор.

— Я вас понимаю, — сказал я, — но войны требуют терпения. Лорд Каррингтон сошел с дистанции. С конфликтами в Зимбабве в восьмидесятые годы ему повезло, потому что диктатор Ян Смит и так уже дышал на ладан. Но проныра Караджич ему не по зубам. Да и лорду Оуэну тоже.

— Но это же все мелкие стычки. Кому они и интересны? Если в скором времени они не перерастут во что-то масштабное, мы закроем канал.

— Умоляю, подождите еще несколько недель. Караджич — не политик. Он — писатель, которому надо успешно завершить свой роман. И когда весь мир подыгрывает его стилю, он находит особое удовольствие в том, чтобы отбросить все общепринятые правила. Роман возникает из стремления подмять под себя действительность.

— Так вот какова ваша точка зрения. — Он смерил меня долгим взглядом. И все же я выбил двухнедельный срок.

Я вылетел в Белград, чтобы обеспечить надежный путь в Сараево. Но наша машина со спутниковой тарелкой имела постоянную по-

зицию в Загребе и была привязана к месту. В хорватской столице мне помогала открывать кое-какие двери ссылка на приятельские отношения с австрийским министром иностранных дел. В Белграде же я, наоборот, все время твердил о том, что центр ЕТВ находится в Париже, а не в Вене. Этот аргумент действовал все слабее по мере того, как затягивалось решение, так как французы тем временем усиливали свое давление, требуя разомкнуть кольцо осады Сараево. Мою задачу немного облегчало лишь то, что президент Милошевич хотел использовать ЕТВ в своих интересах. Тем не менее в тот раз я вернулся в Вену с пустыми руками.

Поскольку мне предстояло слетать на четыре дня в Америку, чтобы забрать из Моаба Фреда, я отложил на время дальнейшие попытки пробиться в Сараево. А за два дня до отлета пришел факс из Белграда: в соответствии с женевским соглашением доступ в Сараево предоставлен делегации Красного Креста и некоторым избранным журналистам. На следующий день надлежало быть в Белграде, место сбора — Министерство внутренних дел.

Ни одно из моих решений не было чревато такими угрызениями совести и самоупреками. Я

представил себе, как Фред выходит из вертолета в Моабе, как ищет глазами и не находит меня в толпе ликующих и утирающих слезы родственников тех, кто вернулся из лагеря. Если бы я не умолчал в разговоре с Фредом о том, какие суровые испытания предстоят ему в лагере, мне легче далось бы решение отменить свой полет в Колорадо. Ведь я должен был как-то загладить это дело. В Моабе, думалось мне, скорее удалось бы смягчить его досаду отцовской любовью, чем позднее, в Вене. Не будет же он осыпать меня упреками, когда рядом шестеро его товарищей с благодарностью обнимают родителей. И все же я заказал билет на белградский рейс. В Прово я отправил факсом письмо с просьбой передать его Фреду сразу же по прибытии. И еще позвонил матери, чтобы она встретила его в Хитроу, снабдила деньгами и помогла ему пересесть на самолет, вылетающий в Вену. Билет уже дожидался его в бюро заказов Британских авиалиний. В Вене, согласно моему плану, Фред должен был прямо из аэропорта Швехат ехать в мою квартиру. Я все расписал, даже то, что звонок для вызова экономки — внизу, слева от двери. Мать повторила всю инструкцию. Возможно, даже кое-что записала. Потом ей захотелось, чтобы я рассказал о Вене. Я

увильнул, сославшись на спешку.

— Времени в обрез. Завтра лечу в Сараево, а у меня еще куча дел.

— Пожалуйста, береги себя.

— Не волнуйся, мама. В Сараеве — перемирие. Вечером я поставил на стол в комнате Фреда вазу с красными розами, блюдо с фруктами и бутылку красного вина.

Потом написал длинное письмо. Я просил Фрела правильно понять меня: получилось так, что я его подвел, но я не видел иного выхода. Я обещал сделать все, чтобы ему хорошо жилось в Вене. Как только вернусь, он сможет приступить к работе в качестве ассистента оператора.

Я вложил в конверт пять тысяч шиллингов и прислонил его к вазе. Запасной ключ от двери отдал экономке. Среди ночи, вспомнив о сигаретах, я встал и отнес две пачки в комнату Фреда.

Хороший военный репортаж — не только ставка на удачу. Надо предусматривать и худшее. Я пытался прокрутить в воображении варианты самой жестокой тактики врага и готовился к этому. Можно было надеяться, что в городе будет сохраняться относительное спокойствие, пока в нем находится делегация Красного Креста. Я заранее подал ходатайство в пресс-службу Ми-

нистерства внутренних дел с просьбой продлить мне пребывание в Сараево на два-три дня, но в Белграде узнал, что мне отказано. В аэропорту сербские солдаты перетряхнули багаж всех прибывших. Единственное, что разрешили ввезти, кроме одежды и кинотехники, — это две коробки с антибиотиками и анестезирующими средствами для госпиталя. Помимо моей съемочной бригады на борту находились телерепортеры из США, Франции и мои бывшие коллеги по Би-би-си. В Сараево мы летели по маршруту, согласованному с правительствами Сербии и Боснии. До того как нам указали место посадки, мы пересекли артиллерийские позиции. Когда я смотрел в иллюминатор, на душе у меня кошки скребли. От Караджича можно было ожидать чего угодно. Машина села на разбитую и кое-как залатанную полосу. Вместо аэродрома — пустырь с обломками бетона и воронками. Вышка и терминал аэропорта были разрушены. На краю поля лежали вспоротые фюзеляжи и оторванные крылья самолетов. Наша окрашенная в белый цвет машина с опознавательными знаками ООН была здесь единственным исправным самолетом.

Трое мужчин, составлявших делегацию, сели в черный лимузин, а мы, журналисты, — в

открытый кузов грузовика. Окраина Сараева напоминала гигантскую руину. В домах, избежавших полного разрушения, еще жили люди. Потом мы углубились в квартал, где на стенах виднелись лишь отметины, оставленные осколками. Стоявшие на улицах люди махали нам руками. Первым делом мы заехали в больницу, верхние этажи которой были разрушены. В подвале оперировали раненых при свете двух велосипедных фар. От этих слабых светильников шли провода в соседнюю комнату, где два парня, сменяя друг друга, крутили педали поставленного на козлы велосипеда. К нему крепились маленькие динамо-машины.

«Натура», которую мы снимали, по существу, не менялась. Изуродованные дома, сожженные фабрики, разрушенные мечети. Бродячие собаки, свиньи и куры, которые рылись в мусоре развалин. Деревья некогда тенистых аллей давно сожгли на дрова. А потом в ход пошли даже корни. На месте газонов — жалкие огородики. На стенах домов — списки погибших. Во всем городе — всего два источника питьевой воды. Очереди за ней огибали несколько кварталов. Нас умоляли показать миру правду. Женщины протягивали нам фотографии своих убитых детей. Изредка

попадались автомобили. Все они мчались на большой скорости. В магазинах пусто, некоторые, вероятно, даже разграблены. Но в нашем отеле можно было купить пива.

Ночью накануне отъезда мы услышали взрывы. Я выбежал на улицу, но ничего разглядеть не мог. Утром мы узнали, что аэропорт закрыт. Пришлось ждать счастливого часа, когда власти смогут гарантировать нам безопасность. В полдень тоже время от времени слышались взрывы снарядов и гранат. По улицам бегали парни со стрелковым оружием и поясами из патронных лент. Мои коллеги вместе с делегацией Красного Креста поехали к градоначальнику, собираясь шифрованной радиограммой оповестить мир об отчаянно бедственном положении горожан, а я со своей командой отправился на рынок, чтобы запечатлеть ежедневный быт осажденного города. Мне было совершенно ясно, что, если в последний момент я не сумею снять что-то из ряда вон выходящее, спутниковый канал уже не заполучить. То, что аэропорт стали обстреливать как раз в то время, когда мы находились в Сараеве, было хорошим знаком. Интуиция мне подсказывала: если бы кто-то захотел показать, что он здесь хозяин, то открыл бы огонь не по

зданиям, которые и без того уже разрушены, а по скоплению народа у главной артерии жизнеобеспечения города.

Я навел объектив на старуху, разложившую у своих ног несколько пучков дистрофичной моркови. И тут послышался свист и вслед за ним — взрыв. Там, где лежала морковь, зияла яма. Женщину буквально разорвало. Ларек, стоявший позади, рассыпался. Люди с криками бросились прочь. Я успел захватить бегущую толпу. Когда прибыли другие съемочные группы, перед ними были только пятна крови и убитые горем лица.

Ночью американцы бомбили одну из сербских позиций. Это был кратковременный налет. Мы насчитали шесть мощных взрывов и слышали гром артиллерии. На следующий день аэропорт открыли.

Но в Белграде я застрял. Все забронировали себе линии связи на сербском телевидении, только я не позаботился об этом. Наша трансляционная установка находилась в Загребе. Я не учел, насколько трудно будет туда добраться. Воздушное сообщение было прервано. И хотя пресс-атташе ООН заверял меня, что уже завтра я могу отправиться в Загреб вместе с колонной военного транспорта, не было никаких гарантий,

что она доедет до места в тот же день. Пока ни одной машине пробиться не удалось. Для репортера нет ничего хуже ситуации, когда у него в руках отличный материал, а передать его нет возможности. Другие из взрыва на рынке, имея даже никудышные кадры, сделали бы настоящую сенсацию. У меня же на кассете был живой реальный эпизод, и я не мог запустить его. На сербском радио мне дали от ворот поворот. Связь с Веной якобы возможна только на следующей неделе. Все мощности зарезервированы. Я позвонил в Париж. Однако я не говорю по-французски. Оставалось надеяться, что первым на том конце провода окажется человек, чей английский можно понять. Даже при разговоре с сотрудниками секретариата дирекции случалось так, что, лишь прослушав несколько французских фраз, я начинал соображать, что это — попытка говорить по-английски. Зато Мишель Ребуассон великолепно владел английским, вернее, американским. Но его, к сожалению, не было в офисе. Я вытребовал номер его автомобильного радиотелефона, и тут мне повезло. Он сказал:

— Но ведь у Си-эн-эн есть трансляционная установка в Белграде.

— И они с восторгом передадут ее конкуренту?

— Мы подарим им право на разовую передачу, равную по хронометражу, а за это пусть запустят пленку через наши спутники.

Идея мне понравилась. Я поехал в контору Си-эн-эн и показал там «гвоздевой» фрагмент своего фильма. Главный соединился с Атлантой, и сделка была заключена. Но в последний момент вся затея чуть не сорвалась, так как американская и французская техника, похоже, вещи несовместимые. Париж сигнализировал о том, что изображение искажено и отсутствует звук. Наконец все наладилось. На Си-эн-эн не ограничились однократным показом страшной гибели старухи, эти кадры крутили каждый час. А в Вене подсчитывали денежные поступления.

Туда я вернулся жарким июльским днем. Город словно вымер. Только на Рингштрассе наблюдалось оживление. Фиакры и автобусы, как обычно, двигались по отведенным им полосам. Я тут же поехал к себе, на Музеумштрассе. Дверь в квартиру оказалась незапертой. Я приоткрыл ее, снова захлопнул и позвонил. Фред не вышел. Но, судя по всему, он жил здесь. В кухне — горы немытой посуды. В комнате — переполненные пепельницы. Пеплом был даже припорошен кое-где паркете запачкан ковер. Мой проигры-

ватель имел дефект — не мог автоматически отключаться. И продолжавшая крутиться пластинка Боба Дилана каждую секунду отрывисто крякала. Штора валялась на полу за банкеткой. Карниз был выломан из стены. Ванна по самому верху обведена каймой грязи. На кафельном полу — скомканные полотенца. Однако мой кабинет, если не обращать внимания на переставленные в ином порядке книги, выглядел как обычно. А то, что мой компьютер теперь нуждается в замене жесткого диска, я узнал только на следующий день.

Не оставалось ни малейших сомнений — впервые за долгие годы я снова живу вместе с Фредом. Все, что должно было находиться на расстоянии вытянутой руки, он умудрился раскидать по полу. В центре, подобно трофеям, торчали пустые бутылки из-под вина. Ничего не меняя в расположении предметов, я закрыл дверь. Я проветрил квартиру и вымыл посуду. Прошелся пылесосом по полу, опорожнил пепельницы. Затем почистил ванну. И стал ждать. Я долго стоял у окна. Редкие прохожие, которых я мог видеть, направлялись либо к служебному входу в Фолькстеатр, либо шли мимо нашего подъезда к кинотеатру «Беллария». Разморенные

парочки с фотоаппаратами двигались в сторону гостиницы «Музеум», мечтая о послеобеденном отдыхе. Я сварил себе кофе. ETB транслировало соревнования на «Большой приз» по боксу из Хоккенгейма. Си-эн-эн занималось саморекламой, предлагая бесконечный перечень отелей, где можно принимать кабельное телевидение. Я решил выпить немного виски. Автоответчик заговорил голосом Габриэлы, изящной брюнетки — ведущей теленовостей, с которой я несколько раз выходил в эфир. Она поздравляла меня с успехом сараевского материала. Я позвонил в студию и поинтересовался рейтингом. Было что отпраздновать. Особый успех передача имела в Германии и Австрии; Не столь сильное, но все же заметное впечатление она произвела на французов и англичан. Во всех странах ее посмотрело огромное число телезрителей.

Я вставил кассету в аппарат и еще раз прокрутил пленку. Когда какой-то из моих фильмов получал такое признание, я не мог удержаться от искушения просмотреть его несколько раз подряд. Это было счастливое состояние. Я мог упиваться им, хвалить самого себя. Но видел при этом все просчеты и упущения. Помню: из закопченной кладки сожженного дома высовывалась

длинная, колеблемая ветром антенна, увы, она осталась за кадром. Интересно было бы узнать, кому она принадлежала и каково ее назначение. Очевидно, средства радиосвязи имелись не только у градоначальника.

Фреда я дождался лишь к полуночи. Он был босой и пьяный. Из кармашка футболки торчали сигареты и губная гармошка. Рыжая борода всклокочена. Увидев меня в комнате, Фред рассмеялся:

— The old fart is back.[31]

Не могу сказать, что это мне польстило. Я встал и обнял его. Он совсем исхудал. Я обхватил его голову руками и поцеловал в лоб. Лицо напоминало маску из красной вощеной кожи. Глубокие морщины на щеках терялись в гуще запущенной бороды.

— Как ты?

— Сам видишь.

Он поднял руки и бессильно опустил их.

— У тебя действительно все в порядке? Ты справился?

— Я рад, что снова могу курить и пить. Но одно знаю точно: больше никогда ни единой дозы.

---

[31] Примечания: 31
Вернулся, старый пердун *(англ.)*.

Я открыл бутылку «Божоле». Фред махом выпил стакан и налил еще.

— Если бы ты попался мне в первые три недели, — сказал он, — я бы тебя пришил.

Я узнал, что вначале он отказывался от всякой работы и всякой пищи. Он лежал, скрючившись, в своей палатке и чувствовал, как облучение медленно убивает его.

— Джерг не отходил от меня, как бы я его ни посылал. Когда начинались судороги, он массировал мне мышцы. Это ему я обязан тем, что воскрес из мертвых.

Я надеялся, что за это время он хоть в какой-то мере оценит мое участие. Оказалось, что напрасно. Он сказал:

— Ты просто сбагрил меня. Можешь поверить, я чуть не отдал концы.

Я налил ему еще вина. Он положил свои грязные ступни на мою голубую кожаную кушетку. Я старался удержать под спудом свои педагогические идеи. Услужливо подносил ему пепельницу. Но он не стряхивал в нее пепел, как это делал я. Он щелкал указательным пальцем по сигарете, и пепел всегда сыпался мимо.

— Я пригласил Джерга в Вену. Сказал, что ты оплатишь рейс.

— Это не проблема. Он симпатичный парень. Ты видел мой фильм про Сараево?

— Как не видеть. Классная лента, — ответил он и рассмеялся. — Уж не сам ли ты взорвал эту старуху?

Я решил не отвечать.

— Все, кому я называю свою фамилию, спрашивают, не прихожусь ли я тебе родней. Меня это уже заколебало.

Жизнь под одной крышей с Фредом складывалась трудно. Не то чтобы мы уж очень конфликтовали, но мне постоянно приходилось сдерживаться. Он потихоньку начинал приноравливаться к моему распорядку и быту. Например, научился пользоваться вешалкой для полотенец. А после того как вляпался в собачье дерьмо, стал, выходя на улицу, обуваться.

Каждый понедельник приходила прибраться в квартире одна женщина, полька. Но теперь я попросил ее приходить дважды в неделю, потому что только на уборку комнаты Фреда ей требовалось полдня. Как-то раз мне пришлось остаться дома в то время, когда она пылесосила книжную полку в моем кабинете. Она вытаскивала и рассматривала каждую книгу так, будто ее интересует не только степень запыленности. Она то и

дело листала английские книги. Я спросил, чем она занималась раньше, когда жила в Польше.

— Actually, I was a pediatrician in a hospital[32] — ответила она на хорошем английском.

[32] Примечания: 32
На самом деле я была педиатром в больнице *(англ.)*.

Инженер
Пленка 4

На алтаре стоял маленький красный сейф. Впереди, на кафедре, лежали Библия и «Майн Кампф» Гитлера. *Нижайший* встал за кафедру и обвел нас долгим взглядом — всех, одного за другим. При горящих свечах его темные волосы словно искрились вокруг головы. Было так тихо, что даже дыхание казалось чересчур громким. *Нижайший* прищурил глаза, а затем сказал:

— Испытательный срок миновал. Мы созрели для того, чтобы начать борьбу за правду. Пробил наш час, нам суждено стать стальным клинком новой народной общности. И мы с благодарностью отвечаем на этот вызов времени. Мы гордимся тем, что история выбрала нас для великой миссии ввести человечество в новое тысячелетие.

Нижайший подошел к алтарю и достал из сейфа свиток бумаги ручной выделки, схваченный серебряным кольцом. Он снял кольцо и развернул лист. Он был испещрен какими-то текстами. *Нижайший* положил бумагу на кафедру, и она снова

свернулась в свиток. Потом взял в руки Библию и открыл ее в том месте, где была ленточка-закладка. Он сказал:

— Нам предстоит то, что, по словам пророка Даниила, было божественным деянием, — *воздвигнуть царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.*[33]

Он снова развел и разгладил ладонью лист бумаги и прижал края Библией. Затем взял «Майн Кампф» и прочел два выбранных отрывка:

– *«Если какой-то народ терпит поражение в своей борьбе за человеческие права, это значит, что он был найден слишком легким на весах судьбы для счастья продолжать земное бытие. Ибо тому, кто не готов и не способен биться за свое существование, уготован конец вечно справедливым провидением»: «Природа не знает политических границ. Она просто дает живому существу место на земном шаре и наблюдает свободную игру сил. Кто превосходит других мужеством и усердием, тот, как любимейшее ее дитя, наделен правом быть господином жизни».*

---

[33] Примечания: 33
Дан. 2, 44.

Нижайший положил книгу на правый край развернутого свитка. Он опять обвел нас долгим взглядом. Никто не сказал ни слова. Я почувствовал, как во мне вскипает такая сила, какой я не знал за собой никогда прежде. Когда взгляд *Нижайшего* задержался на мне, у меня было такое ощущение, что это — взгляд Бога. Это был миг, когда я сделал бы все, чего бы ни потребовал *Нижайший.*

Нижайший положил ладонь на книги и впервые произнес слова клятвы:

— «С этого часа я — участник *Движения друзей народа. Клянусь солнцем,* дарующим мне свет, клянусь землей, питающей меня своими соками, клянусь белой расой, за благо которой призван бороться; клянусь перед Богом, перед всеми пророками Тысячелетнего Царства и перед всеми, кто его приближал своей борьбой, клянусь, что отныне я все свои силы отдаю *Движению друзей народа* и буду приносить ему все жертвы, которые от меня потребуются.

Я принимаю обязательство хранить полное молчание о делах и задачах этого движения и беспрекословно исполнять все решения, им продиктованные. До смертного часа я буду верным и деятельным соратником своих товарищей по

движению.

Если же я нарушу эту клятву или поступлю вопреки ей, пусть меня постигнет кара по приговору Бога и *Друзей народа».*

Один за другим мы подходили к кафедре и произносили клятву. Мы обнимали и целовали друг друга. А *Нижайший* сказал:

— Мы основали новый союз. Ничто на свете не в силах разрушить его.

Он снова направился к алтарю и открыл сейф. Достал из него флакон с полинезийской тушью для татуировки. Затем мы увидели у него в руках свернутый платок и деревянную иглу. *Нижайший* развернул платок и положил на него правую руку. Он попросил нас обмакнуть иглу в тушь и сделать ему на верхней фаланге мизинца наколку в виде двух маленьких восьмерок.

— Восемь, — пояснил он, — это восьмая буква латинского алфавита, то есть H. Две восьмерки — сокращенное изображение слов «Heil Hitler».

Первым начал Файльбёк. Он обмакнул иглу и кольнул ею палец, потом передал следующему. *Нижайший* даже не поморщился, будто совсем не чувствуя боли. Каждый наносил себе лишь один укол, после чего переходил к другому концу полукруга, так как мы встали вокруг алтаря, об-

разовав подобие подковы. Кровь и тушь стекали на белый платок. Две восьмерки были символической метой, объединившей нас, восьмерых, вокруг *Нижайшего.* Когда рисунок был завершен, *Нижайший* вытер платком кровоточащую руку. То же самое проделал Файльбёк и повторили все остальные. Теперь мы носили общий вытатуированный знак. Платок пропитался кровью и черной тушью. *Нижайший* взял свиток с текстом клятвы, надел на него серебряное кольцо, завернул в отяжелевший платок и положил в сейф.

— А сейчас, — сказал он, — мы замуруем сейф в стену за алтарем, а ключ уничтожим.

Так и сделали. Мы сдвинули алтарь, принесли инструменты и начали долбить стену. В это время упал портрет Дарре. *Нижайший* заметил:

— Будем считать это знаком. Дарре все равно ничего не совершил.

Портрет навсегда лишился своего места на стене. Пузырь и Бригадир поставили сейф так, что дверца была на одной линии со стеной. *Нижайший* сказал:

— Если здесь устроят обыск, придется первым делом разрезать автогеном сейф, и наша тайна будет раскрыта. Его вообще не должно быть видно.

Нишу углубили. Когда она была полностью

замурована, мы расплющили и искромсали бороздку ключа.

Потом, как всегда по воскресеньям, сели за трапезу. Мы передавали друг другу баранью ногу, и каждый откусывал от нее. Отныне никакая сила не могла разлучить нас.

И тем не менее уже через неделю начались первые разногласия. На панихиде *Нижайший* читал отрывки из «Книги ста глав». Это сочинение написано на средневерхненемецком языке и никогда не выходило в виде печатного издания. Она принадлежит некоему анониму, которого именуют иногда *Верхнерейнским Революционером. Нижайший* изложил несколько пассажей нормальным, понятным языком. Он сказал, что после долгих поисков нашел, к сожалению, неполный список этого сочинения в библиотеке одного францисканского монастыря. Но он знает, где хранится вся рукопись, — ее надо искать во Франции, а именно в Кольмаре. *Верхнерейнский Революционер* призывал истребить накануне Тысячелетнего Царства все духовенство, а церковное имущество раздать беднякам. Все доходы от земельных владений Церкви и прибыль с торгового оборота тоже надлежит разделить между неимущими. Кто воспротивится этому правому

суду, должен быть сожжен, забит камнями, задушен или живым закопан в землю.

Нижайший пояснял нам:

– *Верхнерейнский Революционер* еще пятьсот лет назад пришел к мысли, что видение Даниила о Тысячелетнем Царстве было пророческим не только для евреев, но и для тех, кто способен это царство утвердить. Он тогда уже понимал, что ими будут немцы, И на нас возложена миссия совершить этот великий суд. Не какому-то там народу и не в каких-то краях, а нам и здесь поручено довести до конца историю планеты. И поскольку отныне мы твердо знаем, в чем наша задача, мы не имеем права на промедление.

Потом речь зашла о нашей ближайшей акции. У Файльбёка уже был свой план. Ему удалось узнать, что турки, которые меня потрепали, хоть и не живут в одном доме, но регулярно встречаются в кафе на Иппенплац. Он еще сказал:

— Я вырос здесь и знаю эту забегаловку. Раньше это был вполне нормальный кабачок, где жбанили по вечерам работяги. А сегодня туда ни один из местных не сунется. Если мы растворожим этим сволочам хари, станем героями всего района Я уже переговорил с парнями из других групп. Они тоже готовы помахаться. Нас наберется человек

тридцать или сорок.

Нижайший даже голоса не повысил. В ситуациях, когда другие срываются на крик, он говорил очень тихо, так, чтобы его внимательно слушали. Он запретил всякое сотрудничество с другими группами. Файльбёк не хотел идти на попятный. Он упирал на то, что помещение там хоть и небольшое, но по вечерам забито под завязку. Одним нам, дескать, не справиться. А сотрудничать с другими никто не призывает, надо объединиться всего-то на один вечер, только ради этого дела. И ничего не будет рассекречено. Файльбёк разработал подробный план. Предусмотрел роль каждого. Лишь *Нижайшему* предоставлялось самому решать, как он будет участвовать в деле.

Но тут коса нашла на камень. *Нижайший* был непреклонен. Остальные молчали. Мне лично даже польстило, что Файльбёк так рвется отомстить за меня, но, с другой стороны, я был согласен с *Нижайшим:* наше движение неприсоединимо. Сегодня мне кажется, что дело было не только в том, работать с другими или нет. Тут был затронут и еще один вопрос не сводится ли роль нашего бесспорного лидера только к церемониальному главенству. Файльбёк и *Нижайший* на той панихиде не пришли к единому мнению.

Потом, во время большой трапезы, они больше не говорили об этом. Мы давно положили за правило: спорные вопросы обсуждать только на панихидах. Но настроение было подпорчено. Всего-то неделю назад мы ощутили себя единым целым, собрались, как пальцы в кулак, и вот он уже стал разжиматься.

Файльбёк еще несколько недель обсасывал план операции «Турецкая кофейня». Правда, теперь он уже думал о том, как нам ее провернуть без участия посторонних, а потому — не применить ли фугас Но в то время мы еще не имели оснащения для таких акций. Профессор нашел в интернете информацию об изготовлении бомб и дистанционных взрывателей. Ее распространили американские парни. Но потом нам пришлось изменить свои планы.

Мы все еще препирались насчет того, какой будет наша следующая акция, и как раз в эту пору меня среди ночи разбудил зуммер домофона, кто-то беспрерывно нажимал на кнопку внизу. Я услышал встревоженный голос Бригадира:

— Звонил Файльбёк. На Джоу было нападение.

Через несколько минут мы уже мчались по венским улицам.

— Ублюдки, — то и дело повторял он. — Сами

себе подписали приговор.

Мы хотели заехать за Пузырем. У него не было ни телефона, ни переговорного устройства. Мы стали бросать камешки в его окно на третьем этаже. Но прежде чем он проснулся, пришлось разбудить несколько других жильцов: мы случайно запустили камешками в их окна. Соседи подняли крик и стали угрожать полицией. Нам ничего не оставалось, как смыться и забыть про Пузыря.

В доме на Гюртеле входная дверь была открыта. В коридоре подвала горел свет, никакого шума. Мы продрались сквозь свисавшее с веревок белье Дверь в закуток *Нижайшего* раздолбана. Кто-то, видимо, пытался вышибить ее с разбега. Косо висевшая планка кое-как удерживала сломанные доски. *Нижайший* лежал в постели. Руки и ноги были перебинтованы. Файльбёк и Сачок сидели рядом на запачканном кровью постельном белье. Из двух порезов в подушке торчали перья. На полу валялась разбитая стереоустановка. Сачок указал на лежавший на столе кухонный нож.

— Вот чем его сербы пыряли, — сказал он. Спереди клинок побурел от крови.

Нижайший рассказал, как было дело. Оказывается, он опять поставил пластинку с «Хорстом

Весселем». Но сербы и не подумали закрывать двери, наоборот, полезли к нему. Он взял кухонный нож и встал на пороге. И тут один из сербов вытаскивает пистолет.

— Я захлопнул дверь и прижался к стене, — сказал *Нижайший.*

Он немного привстал и махнул забинтованной рукой в сторону угла слева от двери, где висела на гвозде его кожаная куртка.

— А потом все разыгралось очень быстро. Я вдруг услышал грохот, дверь стала рассыпаться. В дыру пролезла чья-то рука. Дверь открыли. И я увидел перед собой серба с пистолетом. Он потребовал отдать ему нож Я отступил к кровати. Он за мной. Я отдаю ему нож А он в меня им же и колет. Другой в это время курочит проигрыватель. Оба тут же смываются. Остальные лупятся в проем. Никто и не думает помочь мне. Я говорю: «Вы все тут замешаны, кроме анголки, ее здесь не было, сами видели».

По словам Файльбёка, он зашел к Джо ближе к вечеру, раны были перевязаны полотенцами.

— В общем-то, — успокоил он, — раны не очень серьезные, несколько порезов. Только две колотые, на ноге, может, опасны, потому что глубокие.

Файльбёк у нас отвечал за медицинское обслуживание. Он умел по всем правилам накладывать повязки. Медикаменты он доставал через знакомого аптекаря.

— Я советовал Джоу обратиться к врачу, — продолжал он, — тогда бы сербов ветром сдуло, но он не хочет.

— Нет, — сказал *Нижайший,* — это ни к чему. Сами справимся. Не такие уж мы чайники. Я было хотел завести в своей конуре пистолет, но передумал. У нас есть оружие посильнее.

— Вот именно, — подхватил бригадир. — Это сейчас важнее. За Инженера отомстить еще успеем.

— Только без спешки, — предупредил *Нижайший,* — Через две недели я смогу распоряжаться своим наследством. Вот тогда пусть здесь все сгорит дотла.

Он протянул руку к полке над кроватью и достал оттуда конверт. В нем было письмо из муниципальной управы Зеевальхена. *Нижайшему* предлагалось получить от судебной опеки право наследования. К письму была приложена и бумага из районного суда.

— Все, что имею, — сказал *Нижайший,* — принадлежит *Движению.* Через два месяца мы

разбогатеем.

Потом мы выпили пива и сварили для *Нижайшего* кофе.

Когда уходили, он попросил нас захватить какой-то чемоданчик и хорошенько его припрятать.

— Только не в квартире, — уточнил он. — И не в Раппоттенштайне. Там несколько книг, дискет и рукописей. Они для меня важны. Особенно — изложение «Книги ста глав».

Чемодан взял Файльбёк. Он сказал:

— В подвале дома, где живут мои родители, у них свой шкаф. Там места много.

В тот день пожар на Гюртеле был для нас делом решенным. На встречах в Раппоттенштайне мы только и говорили о том, как провести эту акцию. Файльбёк не особо активничал. Он все еще мечтал о нападении на турок. Но настаивать на этом перестал. На панихидах все сводилось к одной теме — мести за Джоу.

Мы перебрали много вариантов. И все сходились в одном: *Нижайший* не должен подвергаться опасности. Но поскольку он сам жил в конце коридора, масштабная акция могла бы перекрыть ему все пути. Стало быть, ему надо находиться вне дома и иметь безупречное алиби. Решение

было найдено. Пожар на Гюртеле случится в тот день, когда *Нижайший* будет продавать родительский дом в Литцльберге на Аттерзее. Он показывал нам фотографию дома. Дом был достаточно велик, но для наших сходок совершенно не годился. Подъездной дорогой пользовались соседи: архитектор из Линца и университетский профессор из Вены, они могли видеть всякого, кто заходит в дом. Кроме того, в стене, обращенной в сторону озера, огромное окно, через которое всем проезжавшим вдоль берега прекрасно видно, что делается внутри. *Нижайший* мог бы поселиться в доме через два года после смерти матери, но он от этого отказался. Второй ключ он отдал не архитектору, который усиленно предлагал свои услуги, а одному крестьянину, с чьими детьми дружил в нежном возрасте. Крестьянин раз в два месяца присылал ему открытку с подробным перечнем объектов, которые он починил или покрасил. Дачники могли пользоваться участком и лодочным причалом. При случае он даже пускал их в дом. Однажды *Нижайший* прочитал нам фразу из письма крестьянина: «Нижний сортир уплотнил взад». И теперь, когда Пузырь громко портил воздух, что он делал с особым вдохновением, Панда говорил ему: «У тебя надо нижний

сортир уплотнить взад».

В своем решении продать дом *Нижайший* был непоколебим. Он попросил меня посодействовать в этом, так как я уже приобрел кое-какой опыт продажи квартир. Я присоветовал ему обратиться в одно венское агентство. Едва успели мы представить описание объекта недвижимости и несколько фотографий, как уже объявились первые покупатели, среди них — тот самый крестьянин, университетский профессор и архитектор. Не иначе как представитель агентства в срочном порядке выехал осматривать дом. *Нижайший* с удовольствием продал бы его крестьянину, но у того не хватало денег. Сосед-профессор хотел поселить рядом своих дочерей. На этот счет *Нижайший* сказал так:

— Семейная жизнь была для него случайной помехой. Раньше он наезжал туда один, чтобы писать книги. В его продовольственной корзине были только бананы и шоколад. Через пять дней снова шел в магазин, и опять — бананы и шоколад. Как только заявлялись домочадцы, он исчезал.

В конце концов денег не хватило и у профессора. Архитектор же, наоборот, уведомил агентство, что готов предложить больше, чем все другие

заинтересованные лица. Но ему *Нижайший,* несмотря на все уговоры агентства, не хотел продавать ни при каких условиях. Я посоветовал:

— Давай запросим на два миллиона больше, чем он предлагает. Пусть кишку надорвет.

— Ему, — ответил *Нижайший,* — и за пять миллионов не отдам.

Выбор пал на одного рекламиста из Франкфурта. Его жена якобы томилась ностальгией по местам детства. Дом он хотел использовать первое время для летнего отдыха, а потом и вовсе переселиться на Аттерзее.

Панда и Бригадир, которые еще ни разу не засветились в полиции и имели постоянную работу, взяли отгул, чтобы съездить с *Нижайшим* на Аттерзее. Они подписали договор купли-продажи в качестве свидетелей.

У нас был план, много раз обговоренный во всех деталях. Вечером *Нижайший* с обоими свидетелями идет в ресторан Хойптля, где не будет стеснять себя в расходах. Потом они как можно дольше празднуют сделку в Зеевальхене, Шёрфлинге и Вайрегте. Сачок и Профессор проведут пару дней в Раппоттенштайне. У крестьянина, некоего Раффельсэдера, они закажут тушу невыпотрошенного барашка. В девять вечера они едут

в трактир, где Раффельсэдер по пятницам, если не изменит своей привычке, будет резаться со своими приятелями в тарок. Они извиняются, что приехали за барашком так поздно. И говорят, что голову и потроха, как обычно, завезут ему потом. Им, дескать, они ни к чему, а у крестьян все идет в дело. Потом они едут к нему в усадьбу, болтают с его супружницей и сразу же — в Вену. По дороге Сачок на заднем сиденье займется разделкой туши, отрежет голову и вытащит внутренности. В Вене они забирают в камере хранения две канистры с бензином и проводят акцию. Если все пройдет нормально, они звонят мне из телефонной будки в Хайлигенштадте, после одного длинного гудка кладут трубку. Затем как можно быстрее едут в Раппоттенштайн, где в трактире, как мы знаем по опыту, должен еще оставаться Раффельсэдер. Они вручают ему ведро с бараньей головой и потрохами. Потом садятся выпить и глазеют на крестьянина до конца игры. Время от времени заводят разговор о том, как непросто потрошить барана, и как бы консультируются на сей счет. С утра пораньше разрезают мясо и жарят на обед ляжку. Остальные куски засаливают, после чего едут в Вену. Такой вот был план.

Все другие из наших должны в этот пятнич-

ный вечер помелькать где-нибудь на людях, желательно так, чтобы их кто-нибудь узнал. Файльбёк сказал, что собирается сходить на какое-то мероприятие Национальной партии. У меня намечалась сверхурочная работа. Я специально сдвинул заранее свой график, но оказалось, что этого можно было не делать, мне как раз в тот день поручили начертить план реконструкции. Наружный телефонный звонок я отключил: мне и без него было трудно сосредоточиться, поскольку я все время опасался каких-то накладок при осуществлении нашего замысла. И без одной все-таки не обошлось. Сачок и Профессор должны были прибыть в трактир до двух ночи, то есть до закрытия. В два часа хозяин обычно выключал свет и уже не впускал новых посетителей. Если бы они по каким-то причинам не сумели провернуть операцию, от них все равно требовалось как-то нарисоваться в трактире, иначе не будет алиби.

Я чертил и ждал. Тихо мурлыкало радио. За несколько минут до полуночи раздался один звонок. В половине первого музыкальную передачу прервали, я услышал, слова: пожар в доме на Гюртеле. Сообщалось о том, что весь район оцеплен, а жители соседних домов эвакуируются.

Задействовано двенадцать пожарных бригад. Жильцов с верхних этажей удалось спасти. В эти минуты пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания.

Это был полный успех. Во мне все пело. Сачок и Профессор, вероятно, успели вовремя попасть в Раппоттенштайн. Я достал из холодильника бутылку пива и включил телевизор. ETB уже где-то в час показало первые кадры. Один из пожарных начальников заявил: «Пока еще рано говорить о причинах. Наши эксперты проведут тщательное расследование. Нельзя исключать версию поджога».

Между половиной второго и двумя — ETB уже перешло к прямой трансляции — мне стали звонить товарищи, один за другим. Они говорили «алло», и я клал трубку. В два часа я вновь подключил наружный звонок и пошел домой.

Пожар на Гюртеле был гвоздем программы в прессе двух ближайших недель. И хотя уже на следующий день вышел запрет на передачу информации, газеты ежедневно состязались в обнародовании очередных подробностей. Было обнаружено 23 обгорелых трупа. Позднее в больнице умерла еще одна женщина. Большинство тел идентифицировать не удалось. Домовла-

дельца арестовали. Некоторые из жильцов, как выяснилось, иностранцев, проживали в стране нелегально. Они были допрошены и выдворены на родину. Из всех обитателей подвального помещения в живых осталась только англолка. Одна из газет поместила рядом друг с другом два портрета — ее и *Нижайшего.* Под ними — три строчки текста: «Счастливцы, избежавшие несчастья. Она провела ночь с друзьями. Он праздновал получение наследства на Аттерзее». Позднее англолку допросили. Постепенно стала ясна истинная причина ее отсутствия той ночью. Она дала показания в отношении *Нижайшего* и других жильцов. Однако на суде ее показания перепроверить не удалось: полиция по делам иностранцев уже успела выслать ее из страны. Судья тогда прямо сказал полковнику полиции: «Тут вы переусердствовали, уважаемый коллега».

Мы на два месяца прекратили все контакты между собой. Я лишь иногда перешептывался с Бригадиром и Пузырем в строительной будке. Бригадир сообщил:

— У Джоу железное алиби. А мы всю ночь разъезжали от кабака к кабаку. В полночь поехали на летнее гулянье в Нусдорф. И кого, думаешь, мы там встретили? Вальдхайма. Есть там такой

«Вальдхаймбар». Входим. А он, Вальдхайм, и впрямь сидит в кресле собственной персоной. Мы, конечно, сразу же втянули его в разговор. Но боюсь, что из-за своих уже общепризнанных провалов в памяти он — никудышный свидетель.

На выходные Бригадир в одиночку уезжал в Раппоттенштайн. Он разобрал и вынес все оборудование хай-тек-салона, а оружие перевез в Вену, к дяде.

Дней через десять после пожара арестовали Сачка и Профессора. Я прочитал об этом в газете, когда сидел в кафе возле стройплощадки. Вечером дали информацию и все другие газеты. Бригадир немедленно отправился в Раппоттенштайн — забрать видео и дискеты. А так как он не знал, где их спрятать, отвез всё к Файльбёку. На следующий день он сказал мне:

— Файльбёк что-то замандражировал. Надеюсь, не подведет. Сначала он вообще не хотел брать кассеты. Говорит, акция — наша ошибка. Я сунул ему под нос мизинец. И он все же согласился. Сказал, что ночью переправит записи к родителям, в ихний подвал.

На каком основании прихватили Сачка и Профессора, я так и не выяснил. Это не всплыло и на судебном процессе. Машину Сачка обследо-

вали криминалисты. На заднем сиденье были обнаружены следы бараньих потрохов, а также установили, что в багажнике хранились две канистры с топливом. Не было даже доказано, что это топливо — бензин. Бензозаправщик дал показания, что *Нижайший* покупал у него несколько канистр горючего, таких же, которые использовали при поджоге. В обугленном пристанище *Нижайшего* нашли расплавленные штуцеры. Канистрами там и не пахло. А сам *Нижайший* давно скрылся.

После запрета *Движения друзей народа* я нарушил наш уговор на случай ареста и повидал Профессора в тюрьме. Это было непосредственно перед рассмотрением апелляционной жалобы. Мне дали четверть часа на свидание с ним через стеклянную стенку. За его спиной расхаживал надзиратель. Лицо Профессора было покрыто гнойными волдырями.

— Они отказывают мне в лекарствах для кожи, — сказал он.

Я нажал на клавишу и спросил:

— А чем мотивируют?

— Тем, что это тюрьма, а не салон красоты. Точка.

Я смотрел на него в ожидании какого-нибудь

знака. Но он и бровью не шевельнул. Тишина насторожила надзирателя. Я снова нажал клавишу.

— Но это же бред!

Он хлопнул кулаком по пластиковому столу и произнес что-то невнятное. Потом нажал свою клавишу:

— Пусть режут! Это был не я!

— Но какое предъявлено обвинение?

— Да Бог его знает.

Он действительно не знал. Иначе хоть как-нибудь намекнул бы мне. Возможно, он хотел сказать, что только *Нижайший* знает, кто стукнул. Мы, на стройке, были уверены. Профессор и Сачок не проболтаются.

Апелляционный суд подтвердил приговор к *пожизненному,* хотя ни один из подсудимых не дал никаких показаний.

После разгона *Движения* я начал подозревать всех, кроме *Нижайшего.* Я тогда еще не знал, что он сам думает про предательство. Предателями могли оказаться даже Бригадир и Пузырь. От своих сомнений я не избавился и после возвращения *Нижайшего.* А когда Файльбёк предал перед операцией «Армагеддон», я стал думать, что он вполне мог дать показания и при поджоге на Гюртеле. Наверное, так думали все. Но в от-

крытую об этом не говорили — времена панихид в Раппоттенштайне миновали. С другой стороны, как только стало ясно, что месть за меня откладывается, Файльбёк очень увлекся замыслом поджога. У меня в общем-то не было оснований подозревать его в том, что он тогда уже предал нас Может, это сделал кто-то другой. Только не я. По крайней мере *это* я знаю точно.

Сейчас я даже не вполне понимаю, как нас угораздило затеять первую акцию. Допускаю, что *Нижайший* сам нанес себе ранения. У него было чем, и он себя не щадил. Файльбёк стремился стать боевым стратегом нашей группы. Благодаря поджогу *Нижайший* поставил его на место. Акция «Турецкая кофейня» была явно не по душе *Нижайшему.* В сущности, он и не ставил своей целью заваруху с инородцами. Для него это было мышиной возней. Он мыслил масштабно. Разумеется, он сделал свое дело, когда жребий выпал на него, коль скоро все должны были пройти испытание. Это произошло в последнем вагоне на шестой линии метро, когда поезд подъезжал к станции «Талиаштрассе». Тут он молниеносным движением схватил чужеземца, стоявшего в конце вагона, и наддал ему так, что тот ударился головой об угол компостера. В этом поезде ехали

все мы. И вдруг я вижу, как *Нижайший* преспокойно шагает по платформе. Несколько наших были в том же вагоне. Они не принимали участия. Чужеземец молчал в тряпочку. И только когда в вагон вошли новые пассажиры, поднялся шум. Инородец сидел на полу, из носа текла кровь, из глаз слезы. Жалкая размазня. Кто-то побежал к машинисту. Вызвали «скорую помощь». Все пассажиры вывалили на платформу, двинулись к последней вагону и начали заглядывать в окна. Мы смотались. Опять было что отпраздновать.

Фриц Амон, полицейский
Пленка 4

Это была игра в кошки-мышки до седьмого пота Снаружи, на Карлсплац, наши пытались отловить взбесившихся по одному. Работали наобум, гоняли, как могли, напирали с разных сторон, хоть и не в лад, А что толку? Несколько окровавленных черепов, синяки да шишки на рылах. Одного смутьяна они задержали, но его у них быстро отбили. Тут мы поняли: труба наше дело. Нас просто было слишком мало.

Никто не ожидал, что с самого начала такая прорва демонстрантов попрет на рожон. Они пришли протестовать против бала в Опере. Ну, это уже традиция. Но на сей раз они вроде всерьез решили преградить дорогу приглашенной публике. Их поддерживали антифашисты, как они себя сами называют, а для этих встреча трех лидеров-националистов была сущей находкой. Среди баламутов нашлись и такие, у которых хорошие связи с прессой. За несколько дней до бала затрубили об их протесте против сходки Бэренталя, внучки Муссолини и Жака Брюно.

Другую часть взбудоражил призыв отомстить за Абдула Хамана. Хотели поквитаться с нами. И что характерно: старых записных леваков — раз-два и обчелся, а так — все молодые. Они бросились на нас, как стая остервенелых волков. Никакая тактика уже не срабатывала. Мы разбились на группы, лавировали, старались хотя бы помочь друг другу, но нас просто выдавливали из толпы. И пошло-поехало. Мы себя-то защитить не могли. Самой главной нашей задачей, а может, и единственно реальной было не даться им в руки по отдельности. По рации кое-как нас оповестили: приказ рассеять демонстрантов отменяется. Нам надлежало выбраться из толпы и снова собраться в подземном переходе. Это было нелегко, но все-таки удалось. Кого-то мы недосчитались. Оставалась надежда, что они пробились на другой край Карлсплац к нашим подразделениям, которые должны были разогнать демонстрантов, наступая со стороны Рингштрассе, но тоже не сумели. Наконец оттуда передали по рации: «У Штипица отобрали оружие. Он избит, сейчас на пути в больницу».

Штипица я не знал. Но мне было ясно: этим Штипицем мог быть и я. С ним могли сотворить все, что угодно. На меня вдруг накатила страшная

ярость. Я представил себе, как все они наваливаются на меня одного, бросают на мостовую, топчут, бьют по лицу ногами. «Месть», — вертелось у меня на языке. Это самое малое, чем мы могли поквитаться за Штипица. В этот момент я готов был порешить их всех.

Мы проскочили в переход и построились в боевой порядок, который называли «бёгль» — по имени бывшего начальника венской полиции, придумавшего это тактическое нововведение в целях крепкой обороны. Такая позиция позволяла легко перейти в наступление и, наоборот, ощетиниться, При «бёглевании», как мы говорили про эту тактику, осуществлялось хорошее взаимодействие между оборонительными подразделениями и группами захвата. Оборонщики составляли первые шеренги. У них были плексигласовые щиты. Шеренги занимают по меньшей мере два ряда, а то и четыре-пять рядов в глубину. Они выстраиваются по кривой, почти полукругом с надежно обеспеченными флангами. Строй не должен быть слишком плотным, чтобы атакующие в любой момент могли выдвинуться вперед, а также для того, чтобы удобнее было отсечь демонстрантов, которых всегда намного больше, от их сторонников. У атакующих нет

щитов. Они совершают бросок из центрах Их задача — задержание смутьянов. Они выбегают вперед, хватают отдельных демонстрантов и волокут их внутрь полукруга. Поскольку мы стоим не впритирку, всегда есть возможность перейти к быстрому преследованию, не наступая друг другу на ноги.

Начиная построение в подземном переходе, мы еще не могли отдышаться, галдели и громко возмущались. Бесноватые сюда не сунулись, значит, было время подготовиться к следующему этапу схватки. Строясь в ряды — а это было нам не в новинку, — мы подбадривали друг друга.

— Сейчас мы как замурованы, — сказал кто-то, — но когда придет подкрепление, мы их так утрамбуем, что мало не покажется.

Но всем было ясно: пока наверху нам удачи не видать. Приходилось торчать в переходе. Здесь мы могли укрепить свою позицию. Пока наши на Рингштрассе держат под контролем спуск в переход, можно было не опасаться удара с тыла.

Потом трижды раздалось сообщение: «Огнестрельное оружие не применять».

И тут наступила гробовая тишина. Может, случилось что-то такое, чего мы не разглядели. А вдруг эти придурки пустили в ход оружие, отня-

тое у Штипица? В общем, после этого приказа по радио ясно было одно: дело принимает серьезный оборот. На сей раз и «бегль» не поможет. Мы встали поплотнее друг к другу. Никто ни слова не проронил. А внутри все гудела Казалось, воздух дрожит вокруг. И снаружи не доносилось никаких криков. Что там, наверху? Почему ничего не происходит? Куда подевалась эта орда?

Со стороны Рессельпарка в переходе появились пятнадцать — двадцать шалопаев. Рожи на удивление спокойные, сами какие-то расслабленные, в общем, агрессией и не пахнет. Они размахивали черным флагом, а подойдя, остановились, разинув рты, перед нашими плексигласовыми щитами, вроде бы даже уважительно замерли, встретив неожиданно грозную силу. Мы закрывали им спуск к станции метро. Переход здесь в ширину не больше пяти метров. Насчет тактики никаких указаний, приказ о наступательных действиях отменен. Оставалось держаться общей установки, как говорили у нас на инструктажах. А она предписывала делать все возможное, чтобы не допустить какого бы то ни было соприкосновения гостей бала с нарушителями. Для путной атаки в переходе было слишком тесно. Добрая сотня полицейских, выстроившаяся «бёглем»

на узком пятачке, — мы стояли и выжидали. Передние ряды — с поднятыми дубинками. Я был во втором ряду и все думал: ну и что дальше? С таким раскладом я еще не сталкивался. С тех пор как я служил в полиции, о стрельбе даже не заикались, и вдруг особое распоряжение — не стрелять. А это надо понимать так, что есть причины открыть огонь. Но какие? Я никогда еще не чувствовал себя брошенным в такую заваруху. Да и другие тоже, это было видно. Мы понятия не имели, что делается у здания Оперы и на Рингштрассе. Наши там связывались со штабом по другому радиоканалу. Из каких-то оперативных машин, по каким-то там телефонам, как пить дать, до хрипоты выясняли обстановку, советовались, переспрашивали. Как, должно быть, рявкал директор Службы безопасности! Легко было вообразить, как путается в словах министр внутренних дел, а еще легче — как перехватывает дыхание у секретаря его канцелярии. Я прямо вживую видел, как они, бедняги, вымучивали свой приказ по радио.

— Мы не можем гробить своих людей! — кричит бывший директор. — На вот, послушай.

Он прибавляет звук и протягивает рацию министру.

— Это не то, что в прошлом году. Их не только в десять раз больше. Они на Маргаретенштрассе целую стройплощадку разнесли. Ты готов отвечать, если они нас прибьют? Или даже перестреляют? Развяжи нам руки, и мы в пять минут их успокоим.

— Значит, тебе — лавры. А мне в отставку?

— Ты тоже должен уйти в отставку, если подставишь нас. Каша заварится крутая, дорогой однопартиец. Час пробил, решение за тобой.

— На кой черт ваш громадный аппарат, если не можете предвидеть опасность?

— А кто все время ее приуменьшал, кто настаивал на экономии? Сколько лет говорю я тебе: ты ставишь не тех людей. И вот результат. Теперь мы по уши в дерьме.

— Это ничего не даст, — бормочет секретарь и хватает ртом воздух. — Мы мобилизовали все резервы… В Граце собрали целый полк. Самое позднее через полчаса все образуется.

— А нам что делать все это время?

— Оцепить и ждать.

— Вот именно, — говорит министр. — Оцепить и ждать. Уж это-то в ваших силах.

— А если и с этим не справимся? Я требую полномочий. Моим людям нужна свобода действий,

если совсем прижмет.

— Справитесь, справитесь, — бормочет секретарь.

— Справитесь, — говорит министр. — И вот что: во избежание всяких недоразумений я хочу, чтобы ты прямо сейчас объявил: огнестрельное оружие не применять. Извините, я на минутку.

Он вышел, но едва закрылась дверь, появился опять, рука уже на ширинке.

— И никаких *пока* не применять, никаких *пока.* Огонь не открывать, и точка. Таков приказ.

То ли министру не доложили обстановку, то ли он пять минут назад выпил шампанского с Алессандрой Муссолини, а может, по душам поговорил с Жаком Брюно о проблеме иностранцев во Франции. Или в Граце знать не знали, в каком мы оказались положении. А возможно, господа были так уверены в эффективности «бёгля», что отказались от подкрепления. Как бы то ни было, мы, можно сказать, находились на фронта Мы знали, что нам грозит. Если эти супостаты будут действовать сообща, они выпрут нас из коридора и выдавят сквозь подвальное окно Оперы.

Но мы еще стояли. Через наш заслон пока было не пройти. Так просто нас не вымести. Они отступили. Похоже, у них не было особого интереса

тягаться с нами. Вначале они плясали под своим черным флагом, одна бесноватая даже подбрасывала его, сметая пыль с кессонного потолка перехода.

— Лучший бал — большой скандал! — горланили они.

Ясное дело, хотели нас спровоцировать. Но факта нападения не было, и мы не могли перейти к действиям. Хотя момент был подходящий. Мы бы без труда смяли эту кучку придурков. Сначала их, потом тех, кто сунется вслед за ними, так бы и пошло. Но эта сволочь знает наши правила. Нас хотели довести до белого каления.

Мы, конечно, понимали, что с нами целая страна. Но что толку, если многие из тех, которые ждут не дождутся, когда мы вломим по полной программе, понятия не имеют, в каких мы тисках. А когда узнают, все уже будет позади. До десяти часов оставались какие-то минуты. Вот-вот начнется трансляция с бала. А лучше бы начать передачу с того, чтобы пригласить людей к нам в туннель. Так нет же, одни только призывы поделикатнее обращаться с противной стороной. Прямо какое-то помешательство. Мы тут внизу — вроде пушечного мяса, а наверху — торжество миролюбия. Правда, без всякой защиты. А люди

только и ждут, когда по-настоящему закрутят гайки. Всех уже допекло. Какой разговор ни заведи, к примеру, в ресторане, услышишь одно: пора бы раз и навсегда положить конец мучениям порядочных граждан.

Такие вот мысли вертелись у меня тогда в голове, да я думаю, не только у меня. Я надеялся на телевидение. Если люди увидят, в какой мы ловушке, они с дробовиками прибегут выручать нас. Похожая катавасия была на восточной границе. Пограничники и армия не справлялись. За каждым свекольным кустиком — оголодавший славянин. А гнать назад нельзя: разные там благотворители заранее их пригрели, настропалили и, кому могли, сунули в руки заявления о праве на убежище. Жителям пограничной деревни это надоело. Надо было как-то защищаться. Вечером парни похватали дробовики, инструменты для забоя скота, вилы, и за какой-то час проблема была решена. С тех пор деревню не тревожат никакие беженцы.

Вот эти парни и пришли мне на ум. Я представил, как они на тракторах и машинах для разбрызгивания навоза выкатывают с Рингштрассе, встают полукругом перед демонстрантами, отрезая им путь к отступлению, включают свои

агрегаты и обдают дерьмом всю эту шушеру с головы до ног. А когда парни перелезут из кабин на крыши и взмахнут дробовиками, всех смутьянов просто сдует еще до первого выстрела. Потом крестьяне рассядутся прямо на улице перед Оперой, достанут сало и бутылки с молодым вином и скажут почтенным гостям бала: «Вот мы и показали им, где раки зимуют».

Круг быстро разбухал, с каждым оборотом толпы вокруг флага становился все шире и плотнее, при этом смутьяны приноравливали шаг к ритму своей хоровой кричалки. «Лучший бал — большой скандал!»

Вскоре все пространство перед нами было заполнено шалопаями, кружиться они перестали. Флаг все еще торчал из середины толпы. Пляска перешла в яростный топот целого стада, которое прямо на глазах разрасталось. Со стороны Рессельпарка подваливали все новые, лезли вперед, подстраивались под ритм, перли в нашем направлении. Рев стоял оглушительный: «Лучший бал — большой скандал!»

Вскоре их набилось так много, что они перестали топать, иначе бы пришлось наступать на ноги друг другу. Они медленно надвигались на нас, совсем медленно. Я заметил, что некоторые

хотели остановиться, но толпа несла их вперед. Чем ближе они подходили, тем громче и бешенее орали: «Лучший бал — большой скандал!»

Нет, вы только представьте: медленно надвигающаяся стена и нарастающий крик, они даже с ритма сбились и просто галдели вразнобой. Мы видели раззявленные пасти, сотни кулаков с какими-то железяками лупят по воздуху. Подняв все десять рядов дубинок, мы дали понять этим ублюдкам, что шутить не собираемся.

— Давай, ребята, надерем им жопы, — послышался чей-то голос за нашими спинами. Это были молодые пограничники, они пришли со стороны Оперы, их направили к нам для подкрепления. Горячие парни, они напирали сзади и пробивались к смутьянам. Заваруха еще сильнее раззадорила их. Им не терпелось услышать глухие удары своих *дубинок*.

Противник, похоже, дрогнул. Многие попятились, но толпа снова выталкивала их вперед. Пятнадцать — двадцать особо рьяных флагопоклонников образовали тем временем что-то вроде живого вала, который с ревом покатил на нас. «Лучший бал — большой скандал!» Ни дать ни взять — огромная машина, она ползла на нас медленно, но неудержимо.

В передних рядах кое-где мелькали шлемы мотоциклистов и палестинские платки на головах. Над ними появился здоровенный брус, руки в кожаных перчатках раскачивали его взад и вперед в ритме кричалки. Кто-то грозил кулаками, кто-то прятал руки за спиной. Мы смотрели им в глаза, пытаясь понять, кто здесь самый опасный. Одна рука сжимает булыжник, другая — в кармане залатанной ветровки, это было легко разглядеть. Один во втором ряду поднял кулак и показал нам тыльную сторону ладони, явно не пустой. Я смотрел на него и думал: «Этим камнем я тебе яйца растворожу».

Вот что лезло в голову. Многие даже бормотали, проговаривали свои мысли вслух. Это раззадоривает, придает куража.

В толпе выделялся один белобрысый с пунцовыми ушами, на голове у него ничего не было. Джинсовая куртка с простежкой, руки в карманах. Он не скандировал, как другие, губы были плотно сжаты.

— Немедленно нейтрализовать! — Команда раздалась как раз в тот момент, когда я и сам дал ее себе. Не знаю почему. Просто почувствовал: у этого парня — пистолет Штипица. Сотни раз мы обкатывали такие моменты на практических

занятиях. Но одно дело, когда на тебя с экрана надвигаются отобранные психологами типы и ты нажимаешь на кнопки джойстика, а совсем другое — когда происходит реальная заваруха. Там еще и орали: «Нацистских свиней в загоны!» или «Выметай полицейских с улиц!» Но на занятиях другое настроение: проще держать себя в руках и выбирать объект. А если все не понарошку, то уж тут не до выбора Молотишь все, что под руку попадет. И хотя я внезапно ринулся к белобрысому, тот уже растворился в толпе.

Не успели мы разогреться, как смутьяны попятились. Кто-то крикнул:

— К метро, линия один!

И все как по команде бросились бежать. Они увертывались от ударов, проскальзывали между щитами. Мой старший напарник сказал:

— Ни разу в жизни еще не саданул никого по сонной артерии. Но попадись мне наш министр, пришлось бы сдерживаться что есть сил.

Министра внутренних дел и его «наушного советника»-, я уже говорил, у нас не шибко любили. А после «поправки к дубинному праву», как выражались наши острословы, их уж совсем уважать перестали. Дело-то было темное. Весь шум из-за пачкотни пары газетных писак. А министр

поджал хвост, как будто наша вина доказана. Даже процесса не было. Между прочим, и сейчас не намечается. Я-то думал, в день бала среди демонстрантов будет полным-полно иностранцев. Ан нет. Мне, во всяком случае, они что-то не попадались. Говорят, по телевизору показывали какую-то группу с портретами Абдула Хамана. Но своими глазами я этого не видел. На самом-то деле им нужна была не демонстрация, а *месть за Абдула Хамана.* Вы, конечно, можете спросить, есть ли какая связь между катастрофой в Опере и всей этой историей с Хаманом. Отравляющий газ — из Ирака. Вот и все, что удалось установить. Но кто исполнитель? Они призывали к демонстрации перед Оперой, чтобы мы туда бросили все силы, а они сами бы спокойно занялись кровной местью.

Нам-то уж, видит Бог, было чем заняться.

Лестницы и эскалаторы с правой стороны были переполнены, точно так же, как и подъемные эскалаторы, которые работали в аварийном режиме. Наша фаланга мигом ослабила напор. Не было ни сжатых губ белобрысого, ни бруса, ни булыжника, оттягивающего куртку, ни того органа, который подмывало растворожить. Куда-то подевались грозные кулаки, а ведь только что

дразнили нас. Все же мы успели немного поработать дубинками. Шеи, конечно, не трогали. Били по головам и спинам. Практически никакого сопротивления. И вскоре мы с облегчением опустили руки.

А руки-то были как свинцом налиты. Хотя мы вроде не перетрудились. Видать, все ожидаемое физическое напряжение как-то отложилось в мышцах, будто схватка, которой мы избежали, была на самом деле. У нас шлемы к головам прилипли, мы были измотаны, взмылены, еле на ногах держались. Не было времени даже ремешок под подбородком ослабить. Нас тут же бросили к метро линии 1, где выход к зданию Оперы. И мы мигом сообразили: они здесь спустились в метро явно не для того, чтобы убраться восвояси, а скорее всего, поднялись с другой стороны станции. Если так, то мы окружены. Мы побежали вдоль всего перехода к выходу на Рингштрассе. Здесь нас ослепили прожектора телевизионщиков. Это было не ETB, а Общественное телевидение. На сей раз впереди оказались пограничники, что давало нам кое-какую гарантию безопасности, но вредило нашей репутации. Никак не получалось делать два дела: дубинками спускать с эскалатора баламутов, которые перли наверх от платформы

метро, и в то же время не задеть гостей бала Не было никакой возможности чисто их отфильтровать, когда толпа проходила через наши ряды. От пограничников тонкой работы ожидать не приходилось. А все должно было выглядеть так — да еще при телевизионных съемках, — будто никаких насильственных действий не совершается.

Из глубины метро доносились крики смутьянов. Такое впечатление, что они начали задирать других пассажиров, очевидно гостей бала. Как только на эскалаторе появились первые люди, его отключили. Мы ждали сигнала к действию.

Однако в вечерних новостях показали совсем другое. Одной из причин, почему тогда у нас не заладилось, почему мы становились всё беспомощнее, было телевидение. К полуночи телевизионщиков и всяких там репортеров собралось почти столько же, сколько и демонстрантов. Ничем хорошим это обернуться не могло, Сами посудите, какой из тебя боец, если перед каждым ударом ты думаешь, как бы его нанести по правилам и не попасть по сонной артерии. Тогда уж лучше вообще не браться за дубинку. Телекамеры всем давили на мозги. Даже на приказы влияли. Оперативный начальник стал бояться собственной смелости.

Мы стояли в вестибюле возле магазинчика почтовых марок. А справа наискосок — телевизионщики со своими прожекторами. Как только один из нас спускался хотя бы на ступеньку, начальник, которые держался поближе к камере, свистком одергивал его. Опять приходилось ждать явной провокации. Этой «явной провокацией» нам все мозги прокомпостировали. Пускать в ход дубинки мы могли только при «явной провокации».

Железные ступени гремели под ногами напирающих нарушителей. На ближней телекамере замигал красный огонек. Они быстро приближались. Целый табун необузданных лошадей. Нарисовались первые мотоциклетные шлемы, первые рожи, обмотанные платками по самые глаза. Мы выдвинули щиты и подняли дубинки. И тут прямо перед нами опустилась аварийная решетка. И сквозь железные прутья нас обдало жаркое дыхание взбешенной толпы.

Инженер
Пленка 5

«Здесь и сейчас Армагеддон, наша миссия становится зримой. Мы — святые Последнего дня. Мы — клинок великого плана избавления. В страстном самозабвении мы отдадим все силы неусыпного разума и все соки плоти завершению нашего дела, мы сдвинем стрелку истории. Наши враги думают, что одержали победу. Но эта мнимая победа служит приближению новой эры, подвигает нас к свершению. Это она горячит нашу кровь, будит наш разум и страсть самоотречения. Победа наших врагов — это тоже часть плана избавления, она лишь оттачивает и закаляет наш клинок. Только Последние дни покажут, кто истинно свят. Только прозревшие увидят, в чем заключалась наша миссия».

Так говорил *Нижайший* после возвращения. У него были длинные волосы и тюленьи усы. Нос как-то сузился и заострился. *Нижайшего* можно было принять за ископаемого хиппаря. О зачистке на Гюртеле он и слышать ничего не хотел. Он замышлял большую встряску, освободительный

штурм. Мы вначале подумали, что он чокнулся, что американцы не только лицо ему прооперировали, но и голову чужую пересадили. Однако вскоре мы поняли, что нас сбивала с толку роль, которой он овладевал, роль, можно сказать, миссионерская.

Мы всегда почтительно относились к христианству. Это — религия европейцев, питательная почва самой продвинутой культуры. И она несет весть о грядущем Тысячелетнем Царстве. Другое дело — Католическая церковь. Она, конечно, выражает эту идею, но в то же время выступает как старый враг великой вести. *Нижайший* уже не был в согласии с Церковью, которая его воспитала. Тут с ним расходился Файльбёк. При обсуждении критических высказываний *Нижайшего* в адрес Церкви Файльбёк все силился подчеркнуть, что речь идет о старой автократической Церкви, которая в наших краях давно уже агонизирует. А стало быть, теперь это уже не враг. Он увещевал нас не высмеивать Церковь.

— Тот, кто насмешничает, — говорил он, — пусть даже и не принадлежа к ее пастве, играет на руку врагу. Есть только одна истинная религия — христианская. Различные вероучения внутри нее — не наше дело.

А потом он, ко всеобщему нашему изумлению, употребил слово «толерантность». Раньше-то он только смеялся, когда об этом заходила речь: «Чуток толерантности здесь, чуток там — глядишь, и все мы станем неграми. Толерантность — это когда своими руками роешь себе могилу. Вот единственно верный смысл этого слова». А теперь затянул совсем другую песню: — Исток толерантности — во взаимном уважении приверженцев разных христианских учений. Вот где ее корни, ее истинное значение. Настоящий политик, действующий в интересах народа, никогда не станет перечить какой-либо религии, никогда не позволит себе вмешиваться в ее внутренние конфликты.

«Настоящий политик, действующий в интересах народа» — в этой фразе весь Файльбёк. Это — его мечта. После того как все его планы по расширению нашей группы были с порога отвергнуты *Нижайшим,* он начал доставать нас разговорами про Церковь. Я хорошо помню одну панихиду, когда он вдруг встал и прочитал целую лекцию. Он основательно подготовился, но все же не решился выйти к кафедре. Она была территорией *Нижайшего.* Файльбёк только встал, не приблизившись ни на шаг. Но и это выглядело

необычно. Он держал в руке «Майн Кампф» Гитлера, раскрыв ее на какой-то странице.

— Церковь, — сказал он, — есть хлеб простого народа. Глубоко религиозные люди, живущие сельским трудом, — это естественные союзники в борьбе с наплывом чужеземцев, изменяющим лицо континента» Посмотрите на наших крестьян здесь, в Раппоттенштайне. Церковь на нашей стороне в борьбе против старых и новых паразитов в Европе. Даже если какой-либо служитель Церкви ослеплен левой идеей и кормит дьявола дарами Господа, история Церкви учит нас, что, если твоя цель — победа, борьбу надо вести огнем и мечом. Постоянные поражения на пути к Тысячелетнему Царству — это крик о мести, но враг сегодня — не Церковь. Гитлер назвал Христа *великим основателем нового учения.* Он восхищался им, ибо Иисус *не скрывал своих убеждений в отношении еврейского народа и при необходимости даже брал в руки бич, чтобы изгнать из Храма Господня этих врагов рода человеческого.*

Так говорил и цитировал Файльбёк. С позволения *Нижайшего.* Но один пункт составлял исключение. Борьба с евреями не имела для *Нижайшего* существенного значения. Однажды он сказал:

— Сегодня антисемитизм — удел, прежде всего, самых опасных врагов культуры белой расы — исламских фундаменталистов. А с ними — никакого союза.

Но Файльбёк стоял на своем. Ненависть к евреям он вынес из молодежной организации Национальной партии. Когда он говорил о врагах, к ним всегда причислялись и *еврейские паразиты.* Однако мы не предприняли ни одной акции против евреев. Я говорю это не потому, что вы — еврей. Откуда знаю? Считайте, что носом чую. *Нижайший* несколько раз прихватывал в Раппоттенштайн книги Эрнста Блоха.[34] Программа получалась интересная. Иоахим Флорский и Эрнст Блох — ничего сочетание, да? Но Файльбёк взбунтовался — ведь Блох еврей, да к тому же коммунист. Началась бы большая буза, поэтому *Нижайший* не особо останавливался на Блохе. Но я помню фотографию, которую он нам показал. У Блоха нос такой же, как у вас Вы не родственники? Ладно, шутки в сторону. С турками, цыганами, сербами, боснийцами и неграми мы сталкиваемся каждый день, а евреев видим только по телевизору.

---

[34] Примечания: 34

Немецкий эссеист, участник антифашистского движения немецких писателей в эмиграции.

Несмотря на то что они часто спорили, в принципе *Нижайший* не очень-то давил на Файльбёка. Обоим в церковной традиции было важно одно: разрешение, даже призыв идти на врагов с бичом в руке. Но Файльбёку хотелось большего. Он стремился к контакту с *церковными* организациями.

— Поймите меня правильно, — уговаривал он, — Я не хочу втягивать вас. Там даже не узнают, что у нас за группа. Но разве нашей борьбе повредит, если ее будут поддерживать своими средствами другие? Правда, в данный момент я еще не имею доступа к ним.

Что касалось его старых друзей, то он выяснил, что среди них есть священники, которые споспешествуют борьбе немецких националистов. Он не раз пытался убедить *Нижайшего* дать ему для своей миссионерской работы, как он выражался, зеленую улицу.

— Пусть это будет только моей заботой, — продолжал наседать Файльбёк. — Тебя я в эти дела не стану впутывать. Надо только начать. Ты знаешь братьев, знаешь, как к ним подойти. Огромный пиаровский аппарат остается незадействованным.

Но *Нижайший* не проявлял никакого интереса к «миссионерской работе» Файльбёка. Отказался он

ехать и в свой монастырь для поиска контактов.

— За свою жизнь, — сказал он, — я вдоволь нанюхался ладана.

И хотя можно было согласиться с призывом Файльбёка не упускать ни одного шанса, у нас никогда не было двух мнений на тот счет, что вождь *Движения друзей народа — Нижайший,* а вовсе не Файльбёк. *Нижайший* ответил ему так:

— У тебя отвратительная склонность к учительству. Ты превратишь наше движение в занудное просветительское общество, которое работает с быдлом при помощи букваря, а тут нужен тротил. Ты бы завел для разрядки велотренажер, что ли.

Их спор достиг однажды такого накала, что Файльбёк готов был броситься на *Нижайшего* с кулаками. Насилу мы его удержали.

— Зачем попусту тратить силы! — кричали мы. — В главном-то вы сходитесь. Пойдемте лучше почистим Гюртель.

Файльбёка легко было спровоцировать, особенно такому человеку, как *Нижайший,* который, прежде чем реагировать на вызов, спокойно отхлебнет кофе и с полным равнодушием, как будто ему вообще нет дела до своего противника, пошлет ему пару убийственных стрел. Конфликт дошел до точки кипения в тот момент, когда мы

планировали поджог на Гюртеле. *Нижайший* обронил такую фразу:

— Даже если наш друг *Файль-в-бок* смотрит на дело иначе, я не меняю своего решения.

Это было последней каплей. Файльбёк вскочил и заорал:

— Ты для меня умер!

После чего выбежал, хлопнув дверью. *Нижайший* продолжал прерванный разговор как ни в чем не бывало.

После его возвращения из Америки все приобрело новое, более масштабное измерение.

— Армагеддон гораздо ближе к нашему порогу, — говорил он, — чем вы думаете. На забаву, вроде шороха на Гюртеле или мордования турок, способен всякий. Но для Армагеддона мне нужны непримиримые, которые могут посвятить общему делу каждую свою кровинку, каждую частицу воли и духа, всю силу души. Избранных мало.

Он все чаще цитировал Библию. Адольфа Гитлера ценил уже не так высоко, как прежде.

— Гитлер, — заметил он однажды, вернувшись из Америки, — сказал много верных вещей, но и напортачил изрядно. Затеяв борьбу с евреями, он безнадежно запутался. Потому и проиграл. А Библия владеет умами тысячи лет, ее фунда-

ментальные истины несокрушимы. Время Суда неудержимо приближается к нашим дверям. И мы избраны для того, чтобы открыть дверь грядущей эре.

Се, гряду скоро[35] — эту весть мы узнали, когда позвонили на почту в отдел заказных международных телефонограмм и назвали соответствующий номер.

Женщина на другом конце провода сказала:

— Минутку. Читаю текст сообщения: «Се, гряду скоро».

Это было последним посланием из Америки. Больше двух месяцев оно оставалось единственным. Мы каждый день ожидали нового сообщения либо по телефону, либо через компьютер. Но текст был все тот же: *Се, гряду скоро.*

И вдруг заработала цепочка связи, она началась с Файльбёка. К нашему немалому удивлению, *Нижайший* установил контакт именно с ним. У нас не было уговора о том, кто будет первым звеном цепочки. С самого начала мы знали только, кто за кем приглядывает и что сообщение будет получено в виде объявления о находке какого-то предмета. С указанием места, даты, времени дня

---

[35] Примечания: 35
Откр. 3:11.

и номера телефона. Если прибавить к указанному времени восемь дней и восемь часов, можно точно вычислить час встречи. Затем требовалось еще набрать этот номер из телефонной будки — ни в коем случае не по частному телефону — и убедиться в том, что такого номера не существует. Ведь случайно могло появиться сообщение о реальной находке. Несуществующий телефонный номер был для нас опознавательным знаком.

«Найдена роскошная ангорская кошка. 16 апреля, 13.00, Швейцарский сад. Тел. 65-82-583».

Таков был текст, который я после обещания *Се, гряду скоро* нашел у дерева возле своей входной двери. Сообщение означало: встреча 24 апреля, в 21 час, в Швейцарском саду.

После набора номера должны были послышаться три свистящих сигнала. Я набрал сообщение на компьютере и распечатал его. Затем стер файл. У дома Файльбёка не было дерева. Сначала я решил прикрепить напечатанный текст к доске объявлений на его доме, но передумал. И хотя я не чувствовал никакого наблюдения за собой, нельзя было исключать, что мой образ жизни стал объектом выборочного контроля. Поездка к дому Файльбёка могла привлечь внимание. Как-никак, я был не так давно членом запрещенной

организации. Поэтому я вырезал из распечатки полоску текста и приклеил ее к плакату на двери кафе, где часто бывал Файльбёк. Известить Панду было проще всего. Рядом с магазином, в котором он работал, стояла тумба для афиш и объявлений. За Панду отвечал Бригадир. Мы могли также оставлять сообщения на шлагбауме перед стройплощадкой. Сразу же по прочтении их полагалось убрать с глаз долой. Ни одну из записок не использовали дважды. Копии не дозволялись. Информацию нельзя было передавать ни по телефону, ни по почте, копировальная техника совершенно исключалась. Абонементными ящиками в отделах доставки мы договорились пользоваться не дольше двух месяцев.

Движение друзей народа к моменту нахождения ангорской кошки имело в своем активе всего семь человек: Сачок и Профессор сидели в тюрьме. Но сколько нас было на самом деле, одному Богу известно. Мы не могли знать, кто еще готов участвовать в нашей работе.

В Швейцарском саду мы быстро нашли друг друга. Пришли все. Только вот всё те же ли? Как я мог быть уверен в том, что кто-то из нас не продался полиции, пока мы отсиживались? Судя по тому, как сложились обстоятельства после

пожара на Гюртеле, нельзя было исключать, что среди нас оказался предатель.

Мы несколько раз продефилировали друг мимо друга, точно незнакомые люди, осмотрелись, приглядываясь к посторонним. Их было немного. Несмотря на то что вечер выдался теплый, прохожих в это время можно было пересчитать по пальцам. Ресторанчик на окраине со столиками под открытым небом, за которыми обычно с наступлением сумерек остается мало свободных мест, был сегодня единственной точкой притяжения немногих горожан, решивших свернуть с асфальта улиц на гравийные дорожки. К ресторану шла подъездная дорога со стороны «Арсенала» — бывших оружейных складов армии его императорского величества. Ах да. Вы ведь знаете этот ресторан. Так вот. Как раз возле него какой-то тип сел в машину и уехал. Вы, наверное, помните и детскую площадку за сетчатым забором, наискосок от ресторана. Ворота были открыты. Я вошел внутрь. Файльбёк — за мной.

— Эй, Файльбёк, — тихо произнес я.

— Добрый вечер, господин Инженер.

— Кто выбрал место?

— Я получил два сообщения, — сказал Файльбёк. — Будем надеяться, что первое от Джоу.

Мы осмотрели «тарзанье гнездо» и паровозики. Везде — пусто. За оградой наши начали переговариваться. Они все еще гуляли каждый по отдельности, но уже обменялись первыми фразами. Панду разнесло, он стал толще Пузыря. Тот ему говорит:

— Кого я вижу! Старый обжора!

— Всех отборных баранов пришлось съесть в одиночку, — отвечает Панда. — Да и на Гюртеле давно не тренировался.

Дорожка, с обеих сторон обставленная скамейками, вела на восточную окраину, туда, где спуск к туннелю скоростной дороги. На одной из скамеек сидел какой-то опустившийся тип. Заношенные до дыр джинсы. Голова опущена. Похоже, он прикорнул. Длинные черные волосы лезли на лицо из-под надетой задом наперед бейсболки.

Неужели ради него нас здесь собрали? Или *Нижайший* решил отметить свое возвращение воспитательной акцией? Что, нам поколотить этого наркососа? Не выпуская его из виду, мы озирались в ожидании *Нижайшего.* Он не появлялся. Когда мы сбились в кучу, чтобы посовещаться, долго ли нам тут еще околачиваться, тот самый доходяга встал, подвалил, шаркая по гравию, к

нам и сказал:

— Меня зовут Иуда.

Слово «Иуда» он произнес по-английски — «Джюдас».

Пузырь его отшил:

— По балде захотел, наркуша?

Длинноволосый и бровью не повел.

— Джюдас, — повторил он. — Предатель. *Нижайший* среди учеников Джизуса.

Мы собрались уже повозить его мордой по гравию. Пузырь взял парня за грудки, вернее, за футболку, мы зашли сзади, кто-то схватил его за шею, кто-то за плечо. Он накрыл правой ладонью руку Файльбёка. На верхней фаланге мизинца были видны две черные восьмерки. Сначала я испугался. И тут же подумал, что это — легавый. Восьмерки были не вытатуированы, а нарисованы. Он продолжал:

— Тысячелетнему Царству нужны не только пророки, но и бойцы. Вот я и пришел.

Это были его слова, это был голос, который мы наконец узнали. И хотя акцент немного озадачивал, голос звучал так, как если бы это именно *Нижайший* говорил с американским акцентом. А вот лицо какое-то чужое. Верхняя губа закрыта длинными тюленьими усами. Однако всем нам

были знакомы эти кисти рук со вспухшими венами и холодными пальцами. Тут мы разжали руки.

— Мое настоящее имя, — сказал он, — Стивен Хафф. Я мормон и совершаю миссионерскую поездку по Европе. Для своих и новообращаемых я — *Нижайший.* Прошу вас с этого дня называть меня так. И только так. Если кто-то спросит, с кем вы разговаривали, отвечайте: с одним рехнутым — мормонским проповедником Стивеном Хаффом.

Поскольку мы все еще недоверчиво приглядывались к нему, он показал нам свой американский паспорт на имя Стивена Хаффа, уроженца Аризоны. На фото — точно его лицо. Он указал на дату рождения и на сей раз без акцента произнес:

— Се, гряду скоро.

Если к указанной в паспорте дате рождения прибавить 88, получится тот самый день и тот самый год, когда на самом деле родился *Нижайший.*

Тут мы начали его похлопывать по плечам и восторженно приговаривать:

— Вот это класс! Просто прикольно, Джоу!

Он приложил палец к губам.

— Стивен Хафф, — напомнил он, — или *Нижайший.* Личность идентифицирована безупречно.

Учился в Принстоне. Доказательств достаточно.

— О'кей. Нет базара, — сказал Бригадир. — Как тебе это удалось? Тебя ведь никто не узнал.

Мы всматривались в его лицо. Нос вроде бы настоящий. Вдоль переносицы две неглубокие складки. Пузырь тронул *Нижайшего* за волосы. Тоже настоящие. Хотя кто его знает. Он сказал:

— С тобой даже как-то непривычно… Смотри только, чтобы никто не выщипал твои длинные перья.

Панда предложил зайти в ресторан и отпраздновать возвращение. *Нижайший* возразил:

— Мормоны не терпят алкоголя. А праздновать будем, когда сделаем дело.

Он обвел всех нас взглядом, как прежде, перед тем как мы отправились чистить Гюртель.

— На этот раз, — сказал он, — мы пойдем до конца. Но вначале надо удостовериться, кто действительно готов.

— Все, — в один голос сказали мы. — Сейчас, когда ты здесь, ясное дело, все.

— Все, — подтвердил Файльбёк, — ты же сам знаешь. Если бы ты еще и говорил нормально.

— Посмотрим, — ответил *Нижайший.* — До сих пор мы занимались детскими играми, а теперь нам предстоит священная война.

— Что это значит? — удивились мы. — Какая разница? Ты опять здесь, и мы вместе продолжим борьбу.

Нижайший сказал:

— Я привез с собой план. Он называется «Армагеддон». Мы не вправе допустить ни малейшей ошибки, только при этом условии наша война будет победоносной. Одна-единственная ошибка обернется поражением раз и навсегда. Вот какая разница.

Бригадир добивался ясности:

— Да говори ты нормально. Кругом ни души.

Нижайший посмотрел на него и, как в былые времена, помедлил с ответом:

— Только когда мы победим. Тогда все будет иначе. И избранные увидят, что они избраны, и говорить они будут по-другому.

Он сунул мизинец в рот, пожевал его губами, а когда вытащил, двух восьмерок как не бывало. Вместо них мы увидели клеймо.

— Всего лишь рисунок, — сказал он. — Чтобы вы меня узнали. Запомните, я — Стивен Хафф из Аризоны по прозванию *Нижайший.*

С нами он пробыл не больше двадцати минут. Расставаясь, назвал время и место следующей встречи. Она была назначена на следующую

субботу. С интервалами в пятнадцать минут мы должны были прибыть к так называемому Новому зданию. Но не на машинах, каждый поодиночке добирается на общественном транспорте. Он будет там первым. Файльбёк установит очередность. *Нижайший* сунул каждому по мормонской листовке.

— А теперь разойдитесь, — сказал он напоследок. — Каждый идет своей дорогой.

Он повернулся и медленно побрел, обходя ресторан, в сторону Музея XX века.

Разинув рты, мы стояли с листовками в руках. Я уверен, что каждый из нас иначе представлял себе первую встречу. Мне она рисовалась с пивом, стрельбой и взрывами смеха непобедимых воителей. А мы молча застыли на месте, точно апостолы при виде исчезающего в облаках воскресшего Спасителя. Когда красная бейсболка скрылась за поворотом, Файльбёк объявил, кто вслед за кем должен прийти на следующую встречу. Сам он высказал желание явиться первым. За ним идет Бригадир. Потом — Пузырь, Панда, я и Жердь. Сказав это, он двинулся своей дорогой. Мы последовали его примеру. Каждый наверняка улучил момент, чтобы прочитать свою листовку. Скорее всего, не я один побаивался, что правила

поведения *святых Последнего дня* — отказ от алкоголя, никотина, чая, кофе и внебрачного секса — скоро могут стать нашим кодексом.

И все же с того вечера начался отсчет какой-то иной жизни. Меня насторожил порядок очереди, вроде бы с ходу сочиненный Файльбёком. Это сильно смахивало на установление новой иерархии и сказалось на моих отношениях с Бригадиром, хотя я не мог точно сказать, в чем именно состояла перемена. Сейчас, задним числом, я понимаю в чем. Может, конечно, Файльбёк поставил Бригадира сразу после себя из благодарности за прекрасные деньки в Раппоттенштайне, но уже в тот апрельский вечер я почувствовал себя объектом бдительного внимания Бригадира.

Через два дня мы встретились на развалинах Нового здания. Вы знаете, что это такое? Название обманчивое. На самом деле это — пустующий старый замок, который несколько лет назад дети превратили в кучу мусора и золы. Городские власти не знали, что делать с этими разрушенными постройками. *Нижайший* обнаружил под развалинами вполне сохранившееся подвальное помещение. Когда, сунувшись в развалины, я не знал, куда идти дальше, из-за какого-то уступа появился Панда. Он отвел меня в подвал, где вокруг

свечей сидели *Нижайший* и еще четверо наших. Волосы у *Нижайшего* были заплетены сзади в большую косицу. Панда подсел к остальным, а я вышел, чтобы дождаться Жерди. Он принес коробку баночного пива.

Нижайший его спрашивает:

— Ты не прочитал листовку?

Тот бормочет:

— Но мы же не мормоны.

— Нет, не мормоны. Но теперь мы редко будем собираться и каждый раз в новом месте. Голова должна быть ясной. Армагеддон не простит самой ничтожной ошибки.

Нижайший опять нарисовал на мизинце две восьмерки. Он обошел нас по кругу, сцеплял свой мизинец с мизинцем каждого из нас и каждого целовал в щеку. Потом он сказал:

— На наших собраниях я буду говорить обычным языком. Но всюду, где нас может услышать чужое ухо, я — американец. К этому вам придется привыкнуть.

Он сунул руку в карман джинсов и начал ходить взад и вперед внутри нашего круга. Затем остановился и продолжал:

— Если кому-то из вас понадобятся деньги, он может получить их у меня. Сумма не имеет значе-

ния, если это не идет вразрез с высшим правилом поведения. А оно гласит: стиль жизни не должен привлекать к себе внимания. То есть никаких долгов. И в то же время никакой явной роскоши, никаких дел с полицией, никаких конфликтов на работе. Второе правило — не корешиться с посторонними. Третье правило — трезвая голова и отличная физическая форма, что не допускает никаких вредных пристрастий. А отсюда четвертое: не надо резко порывать с прежними привычками, которые не отвечают этим правилам, их надо изживать постепенно, но неуклонно.

— А это обязательно? — спросил Панда.

Нижайший уперся в него долгим взглядом и, не ответив на вопрос, продолжал:

— Мы клятвой связаны друг с другом на всю жизнь. Однако не сумели сохранить в тайне *Движение друзей народа.* Его запретили. В знак того, что старая клятва остается в силе, отныне будем называться *Непримиримыми.*

Он достал из заднего кармана смятый лист бумаги. На нем была написана клятва, которую мы дали в Раппоттенштайне. Правда, с одной поправкой: вместо *Движения друзей народа* там стояло слово *«Непримиримые».* Он передал листок Файльбёку и сказал:

— Прочитайте клятву еще раз, повторяя про себя каждое слово. Тот, у кого есть какие-то сомнения, пусть уйдет и больше не попадается нам на глаза. Если он будет молчать, с ним ничего не случится.

— А как же Сачок и Профессор? — спросил Файльбёк.

— Никаких контактов с ними, — ответил *Нижайший.* — Когда Армагеддон закончится победой, они будут освобождены. Если бы мы их освободили сейчас, это было бы полным провалом. Тогда всем пришлось бы лечь на дно, а это — дело безнадежное. Полиции слишком много известно про нас.

Файльбёк протянул листок следующему. Я хоть и запомнил все пункты клятвы, дословно воспроизвести их не могу. Когда текст прочитали все, *Нижайший* указал рукой на выход. Я ожидал, что кто-нибудь встанет и навсегда выйдет из нашего круга. Мы переглядывались. Кто бы это мог быть? Но никто не поднялся. *Нижайший* потушил все свечи, кроме одной. Мы сгрудились вокруг нее и положили руки на плечи друг другу. Мы соприкасались склоненными головами. Не знаю, случайно ли это получилось, но я оказался слева от *Нижайшего.* А справа от него стоял Файльбёк.

Нижайший сильнее налег на мое плечо и сказал:

— С этой минуты я один из *Непримиримых.*

Мы повторили хором:

— С этой минуты я один из *Непримиримых.*

Снова послышались слова *Нижайшего:*

— Клянусь солнцем, дарующим мне свет.

— Клянусь солнцем, дарующим мне свет.

Так мы произнесли клятву до конца. *Нижайший* знал ее наизусть.

Он взял листок за кончик и поднес к свече. Затем поднял загоревшуюся бумагу, а когда она почти исчезла в пламени, выпустил ее из рук и поймал почти истлевший лоскуток, словно перо в воздухе. Он растер ладонями пепел и передал его Файльбёку. И каждый из нас протягивал соседу свою почерневшую руку. *Нижайший* заключил ритуал словами:

— Ничто на свете не в силах разрушить этот союз. Армагеддон даст ему вечную жизнь.

На этом наша встреча закончилась. А что значит Армагеддон — открылось нам далеко не сразу.

Напоследок *Нижайший* сказал:

— Уходим отсюда в обратной очередности. И не забудьте вытереть руки о траву. Первое правило — не привлекать к себе внимания.

Когда Жердь ушел, мы заговорили про прежние дела.

— Полиция все перевернула вверх дном, — сообщил Бригадир. — Хай-тек-салон похож на свалку, только под крышей. Но приборы не конфискованы. Если что понадобится, я могу притащить.

Раппоттенштайн был нашей юностью. Мы вспомнили о деньках со стрельбой в подвале, о панихидах и о пирах во дворе. *Нижайший* сказал:

— Для нас это — потерянный рай. Мы сотворим нечто более грандиозное и долговечное.

Пятнадцать минут пронеслись незаметно, и мне пришлось уйти.

Контракт

Фред стал ассистентом оператора в отделе сплетен. Чтобы избежать пересудов насчет всяких предпочтений при подборе кадров, мы пришли к единому решению: он не будет работать в моей команде. А отделу светской хроники, как он именовался собственными сотрудниками, Фред мог пригодиться. В первой половине дня он с поразительной регулярностью посещал в университете курсы немецкого для иностранцев. Бывало и так, что он не мог вовремя проснуться. Однако он не хотел, чтобы я будил его. По вечерам вместе с двумя репортерами своего отдела Фред рыскал по городу. Домой возвращался за полночь, часто — в подпитии. Иногда с приятелями. В квартиру врывался разноголосый шум. Я просыпался и, несмотря на то что нас разделяла пустая комната, слышал раскаты молодых басов, от которых содрогались стены, и хоровые взрывы хохота. Я прямо физически ощущал, как тают домашние запасы алкоголя, будто их высасывают из моего собственного организма. Друзья и подруги Фреда имели безошибочный нюх на самые дорогие

вина. Но в общем-то мы как-то уживались. В стапятидесятиметровой квартире вполне хватало места, чтобы не мозолить друг другу глаза. Фред купил машину. В свободное время он неизменно куда-то укатывал. Несколько раз он заикался о том, что в будущем ему понадобятся деньги на квартиру и питание, но на самом деле никогда их не требовал. Однако ему даже не приходило в голову вносить какой-то пай на совместное проживание.

Первый сыр-бор разгорелся из-за coq au vin,[36] и хотя причина лежала глубже, но поводом послужил именно coq au vin.

Дело в том, что я пригласил на ужин Габриэлу. Но, к сожалению, выяснилось, что в тот день мне придется задержаться в студии. Поэтому о столе я позаботился заранее, еще утром. Петушок станет еще лакомее, решил я, если проведет день в кастрюльке с «бордо». Тогда при разогревании останется добавить только шампиньоны, иначе они размокнут и утратят вкус. Вечером, когда я опрометью влетел в квартиру, на кухонном столе меня ожидала гора грязной посуды — жалкие руины обильного застолья. Петушок был слопан.

---

[36] Примечания: 36

Петух в вине *(фр.)* — знаменитое блюдо французской кухни.

Шампиньонам, правда, повезло — в изящном кулинарном наряде они красовались на подоконнике.

Пришлось нам с Габриэлой отправиться в ресторан. Душевная смута постепенно улеглась. Мы говорили о неонацистах и словно непотопляемом Юпе Бэрентале. Я сказал, что лондонские расисты гораздо более склонны к насилию, чем здешние. Она напомнила мне о поджоге на Гюртеле, что случился несколько лет назад. В то время Габриэла, по ее признанию, уже была готова паковать вещи. Затем она стала расспрашивать меня о моих родителях. Некоторые из ее родственников тоже эмигрировали в Англию. Мы перебирали имена, пытались найти общих знакомых, при этом всплыло имя живописца Бака Дахингера, которого Габриэла знала лишь заочно. Она собирала картины венских акционистов,[37] была в дружеских отношениях с Яном Фридлем. Габриэла давно мечтала приобрести одну из его картин, но художник попал в безнадежную кабалу к некоему хлебозаводчику, распоряжавшемуся судьбой всех его произведений.

Слушая Габриэлу, я время от времени гладил

[37] Примечания: 37

Художники, прибегающие к публичным провоцирующим действиям, чтобы побудить зрителей к деятельному изменению жизни.

пальцы ее левой руки. Правая почти всегда была занята сигаретой. Когда Габриэла смеялась, вокруг глаз собиралось множество мелких морщинок. Она откидывала голову и смахивала со лба длинные черные пряди. Потом я проводил ее домой. Стены квартиры были сплошь увешаны картинами Гюнтера Бруза и Гюнтера Нича. Когда она угощала меня на кухне «Бурбоном» со льдом, заголосил автоответчик. Это звонил один из тех молодых газетных пижонов, которые считают собственную персону значительнее того, что им полагается сообщать. Я знал его по журналистскому кафе на Бекерштрассе. Недавно он в своей газете разразился злобной филиппикой против «зеленых». Под музыку Моцарта он закидывал удочку: нельзя ли нынче ночью заглянуть к Габриэле. Она быстро нажала на клавишу, но, как и следовало ожидать, через минуту мерзавец повторил свой вопрос. Тогда она выдернула штепсель.

Если бы я застал тебя дома, Фред, бормотал я в тот вечер, то уж на сей раз спустил бы с тебя три шкуры.

Я искал для него квартиру, и тут мне как будто несказанно повезло — в нашем же доме как раз освободилась подходящая. Но домовладелица не

проявила интереса к моему предложению. Сказала, что хочет сначала отремонтировать квартиру, а там видно будет. Я изъявил готовность взять ремонт на себя. И тут она рявкнула: «Этой квартиры вам не видать! Ясно?»

Я ничего не понял. Габриэла смеялась, слушая мой рассказ. «Разумеется, видать, — успокаивала она. — Надо только предложить этой даме деньги. Дай ей двести тысяч шиллингов, и уже завтра Фред может переезжать».

Я возобновил попытку, решившись, правда, на вдвое меньшую сумму. Ответ прозвучал так: «Несите деньги, и мы заключим договор. Только, пожалуйста, никаких чеков».

Когда я спросил, как быть с ремонтом, она сказала: «Вы же хотели взять ремонт на себя».

Это была маленькая двухкомнатная квартира с кухней и ванной. Фреду она понравилась. Квартплата весьма скромная, так как здесь не было центрального отопления. По моему заказу его должны были провести. Где-то через два месяца Фред мог уже въехать в новое жилище.

Когда в квартире Фреда начали ремонт, я получил факс из Парижа. Мишель Ребуассон интересовался, утрясен ли вопрос с правом на показ предстоящего бала в Опере. Я счел, что

это — вопрос не ко мне, и передал факс в отдел сплетен. Несколько дней спустя на мое имя пришел еще один факс. От меня требовалось лично озаботиться разрешением на трансляцию. ЕТВ намеревалось сделать из бала гвоздь сезона.

Я ответил факсом, в котором задал вопрос: о каком бале идет речь — в будапештской или в бухарестской Опере? В конце концов, сфера моей деятельности распространяется на Восточную Европу. Едва успел вопрос долететь до адресата, как позвонил сам Мишель Ребуассон. Выяснилось, что нам позарез необходимо большое событие светской жизни, в орбиту которого включается и Восточная Европа. Вена в этом отношении — особо перспективный город, так как, во-первых, пользуется славой музыкальной столицы, а во-вторых, в силу географического положения, наиболее удобна для привлечения восточноевропейских толстосумов. ЕТВ в Париже позаботится о безотказной приманке в виде представителей аристократии и шоу-бизнеса. Моя же задача сводится лишь к тому, чтобы выцыганить в компетентной инстанции права на показ и, насколько возможно, на дизайн. «Убедите дирекцию, что из старой коробки на Рингштрассе мы сумеем сделать центр европейской культуры».

Я направился к директору Федерального театрального общества, к тому самому господину, который с первых дней моего пребывания в Вене пытался с помощью контрамарок посодействовать расширению моего культурного кругозора. Он закрыл на миг глаза, словно ему нужно было время, чтобы осмыслить неслыханную дерзость. Затем рванул на себе воротничок рубашки.

— Но это же кощунство, — запричитал он. — Ведь мы государственное учреждение. Отказываться от сотрудничества с Общественным телерадиовещанием — это, я бы сказал, политическая бестактность. Вы же понимаете, что я имею в виду. И хотя вы в принципе человек компетентный, поверьте, министр линчует меня, если я дам какой-либо ответ, не осведомившись предварительно о его мнении.

Как ни противна была вся эта оперная затея, после разговора с директором меня посетила хорошая мысль. Я позвонил Мишелю Ребуассону.

— Великолепно, — сказал он. — Сейчас все будет улажено.

Через несколько дней я уже был на площади Миноритов и, поднявшись по барочной лестнице и проследовав вдоль указателей, колонн и пепельниц на высоких ножках, вошел в кан-

целярию министерства. Мне уже приходилось встречаться с министром по делам искусств. Это был молодой человек с отточенными манерами. Однажды он мне польстил: «Сейчас войска ООН дислоцированы в Югославии, и в этом немалую роль сыграл ваш репортаж из Мостара».

В другой раз он поинтересовался моим происхождением и эмигрантской историей моего отца. Я рассказал, что отец участвовал в освобождении концлагеря в Берген-Бельзене, а вскоре после этого предпринял попытку вернуться в Вену. Не умолчал я и о том, с какой горечью отец с тех пор вспоминает о Вене. Министр проявил свою осведомленность на сей счет, сказав, что это более чем понятно.

Как только я представился в приемной, министр вышел из своего кабинета и протянул мне руку.

— Прежде всего — хорошая новость. Я пригласил вашего отца в Вену.

— Как? Зачем?

— Мы устраиваем масштабное мероприятие для бывших соотечественников со всего мира, прежде всего — из США и Англии.

— И он согласился?

— Насколько мне известно, да. Гертруд, госпо-

дин Фрэйзер дал согласие?

Из-за спины министра появилась черноволосая женщина с короткой стрижкой. Она улыбнулась и подала мне руку.

— Вы хотите знать, что он ответил? Нет, лучше не стану пересказывать. Но он приедет.

— А плохая новость? — спросил я министра.

Тот изящным жестом пригласил меня в кабинет.

— Давайте обсудим это за закрытыми дверями.

На кушетке и в кресле сидели директор Театрального общества и директор Оперного театра. Оба поднялись, как только мы переступили порог. В отличие от министра, они напоминали выжатые лимоны, будто только что пережили изнурительные словесные баталии.

Гертруд принесла кофе.

— Плохая новость, — начал министр, — звучит весьма просто: я не могу этого сделать. Как бы ни привлекало меня ваше предложение. Надеюсь, мы правильно поймем друг друга. Политика в области средств массовой информации — дело щекотливое. В прошлом тут наломали немало дров. Я думаю, вам не надо рассказывать про наши газеты. А государственная Опера — не просто оперный театр. Это — национальный символ.

Если я отстраню Общественное, так сказать, официальное телевидение от бала в Опере, разразится правительственный кризис.

— Так объявите просто-напросто конкурс, — предложил я.

Директор Оперы упавшим голосом вякнул:

— Это и я предлагал.

Министр сделал примирительный жест, который никак не вязался с его непреклонным тоном, и сказал:

— Это не может быть предметом дискуссии, даже гипотетически. Иначе завтра на меня навалится половина парламента. Тут не поздоровится ни вашему проекту, который, как я уже сказал, привлекает меня, ни мне, грешному. Все поднимут хай: «Как можно разбазаривать фамильное серебро?»

— Хорошо, — сказал я, — в таком случае мы начнем переговоры с Прагой.

При этих словах лицо директора Оперы передернулось, как от пощечины.

— Господи, — забормотал он. — Час от часу не легче.

— С Прагой? — спросил министр.

— Да, с Прагой. Она уж не упустит шанса стать столицей Центральной Европы. И в силу своего

географического положения столь же привлекательна, как и Вена.

Министр сидел молча и потирал рукой подбородок. Затем выпрямился, положив ладони на колени.

— Мне кажется, вы уже вели переговоры с Прагой.

— Не я, а Мишель Ребуассон — мой шеф. С Прагой у нас никаких проблем.

— Дайте мне два дня. Я поговорю с бундесканцлером.

В коридоре меня догнала Гертруд.

— Постойте, господин Фрэйзер. Я должна вам кое-что показать.

Она передала мне письмо отца. Он благодарил за приглашение, которое, по его словам, охотно получил бы сорок девять лет назад. А если и принимает его теперь, то лишь потому, что хотел бы повидать сына, которого не смог удержать от переезда в Вену. Отца задело предложение вручить ему австрийский паспорт.

Особенно красивым показался мне последний абзац: «Поскольку коллекционирование паспортов не является моим хобби, и я к тому же имею паспорт, до сих пор не служивший помехой для удовлетворения моей тяги к дальним

странствиям, позволю себе не воспользоваться Вашим великодушным предложением. Однако мне известно, что в Вашей стране довольно людей, для которых получение подобного документа равнозначно второму рождению. Такому изгнаннику былых времен, как я, коего Вы ныне готовы, к счастью, признать ровней, Вы сделали бы большое одолжение, если бы переадресовали обещанный мне документ одному из теперешних изгнанников, оказавшихся в Вашей стране».

Через день мне позвонил пресс-атташе министра. Он говорил со мной так сухо, будто имел на меня зуб, мол, ЕТВ навлекло беды на голову его шефа. Краткое изложение принятых решений звучало подобно боевому приказу: «Заключите договор с директором Оперы. Два условия — декорации и наружное оформление здания остается за дирекцией. И еще: никакой рекламы во время трансляции из зала».

Однако без рекламы, конечно, не обошлось. Но это была наша самореклама, ненавязчиво мелькавшая на оборудовании и одежде. Каждый микрофон, каждая камера, каждый репортер были отмечены фирменным знаком. Первоначально речь шла об одном часе эфирного времени. В Париже явно не было уверенности, на

ту ли лошадку делается ставка. Возможно даже, кто-то был против. Проект, связанный с балом в Опере, в узком кругу руководства рассматривался как своего рода пробный забег: в договоре было особо подчеркнуто, что имеется в виду лишь предстоящий бал, хотя это не исключало продолжения подобных телешоу в последующие годы. Путем целенаправленно распространяемых в подготовительный период слухов об ожидаемых гостях удалось достичь неожиданно высокого пиаровского эффекта. Вскоре стали ориентироваться на два с половиной часа трансляции. В начале декабря было решено увеличить время до четырех часов, чтобы установить терпимый для европейского зрителя баланс прямой передачи и рекламных блоков.

Но этому, к сожалению, предшествовало кое-что другое, чему я сопротивлялся до последнего. Свою задачу, связанную с балом, я считал выполненной, как только удалось пробить договор. Это было заблуждением. Мишель Ребуассон настаивал на том, чтобы я взял на себя руководство передачей. Я же вспоминал слова матери: «В конце концов ты окажешься в отделе рекламы».

В письме Мишелю я объяснил, почему вынужден отказаться от своего участия в трансляции

бала. Мне надо, мол, готовить новый югославский репортаж и в срочном порядке осваивать тему Кавказа, где возобновилась уже подзабытая война. Большой кавказский репортаж принесет ЕТВ тысячу очков. Затем я напомнил, что, согласно контракту, я отвечаю за политическую информацию о странах Восточной Европы, а не за светскую дребедень в Вене.

Ответ пришел уже через несколько дней заказным письмом. Мне было указано на то обстоятельство, что ЕТВ рассматривает Венский бал как выдающееся событие всеевропейского масштаба. А на меня выбор пал не столько из-за признания моего профессионального мастерства, сколько потому, что только я могу наилучшим образом поставлять из Восточной Европы репортажи вживую. Письмо заканчивалось директивой: «Пригласите в Вену всех президентов и премьер-министров восточноевропейских стран. Бал в Опере должен стать ежегодно проводимым "Венским конгрессом". Таково Ваше служебное задание».

Я скомкал письмо и запустил им в стену. Потом взялся за дело. Неожиданную поддержку мне оказала бундесканцелярия. Пресс-атташе вскоре начал звонить каждый день, интересуясь,

кто из политиков принял приглашение. Он и сам рассылал пригласительные письма и начал составлять протокол касательно гостей, размещаемых в ложах. Всякий значительный политик в ночные часы, то есть за время бала, должен нанести неофициальный визит бундесканцлеру. Бундесканцлер пожелал выступить в роли хозяина. Это привело к трениям с бундеспрезидентом, который чувствовал себя истинным главой государства. Его пресс-атташе докучал мне пересмотром и корректировкой протокола, составленного в департаменте бундесканцлера. В конце концов я взбеленился и заявил обоим господам, что отныне буду иметь дело только с окончательно составленным протоколом. Это, однако, вовсе не отвадило их от общения со мной, во всяком случае не помешало им давать мне ценные советы на ужинах и банкетных тусовках.

Как-то во время очередной запарки до меня добралось письмо отца, где он кратко и толково сообщал то, что мне и так уже было известно. Он не хочет быть мне обузой в Вене, но, естественно, был бы не прочь хоть раз в течение своего четырехдневного пребывания в столице Австрии повидать меня. Это сулило мне неприятные осложнения, поскольку я договорился об интер-

вью с кое-какими политиками в Братиславе и Будапеште, не придав значения датам. Интервью мыслились как часть репортажа о венгерском нацменьшинстве в Словацкой Республике. Я позвонил отцу и сказал, что в начале его пребывания не смогу находиться в Вене. Однако сердечно приглашаю его пожить у меня.

— Нет, нет, — ответил он, — это будет слишком канительно. В аэропорту меня должны встретить и отвезти в отель «Вандль». Там будет все, что мне необходимо.

— Я заберу тебя в последний день из «Вандля». Мы придумаем, как провести время. А потом я сразу отвезу тебя в аэропорт.

Он согласился. У меня создалось впечатление, что отец собирался приехать один. Я вспомнил, что перед моим отъездом в Вену он дал мне несколько адресов. В конце недели у меня нашлось время заняться ими. Записку я нашел в стопке бумаг, пролежавшей на полке в том виде, в каком я несколько месяцев назад ее извлек из чемодана, — лишь пару раз ее тронул пылесосом моей польской домработницы, покинувшей стезю педиатрии.

Женщину, о которой хотел навести справки отец, звали Роза Новотны. Я полистал телефонную

книгу. Там было много Новотны, с некоторыми различиями в написании: Новотни, Новотны, Новотный. Но никто из носивших эти фамилии не проживал на Зальмгассе. Я сел в машину и отправился на поиски, надеясь, что хоть адрес-то правильный. Ведь номер дома отец запомнил лучше, чем саму Розу Новотны. Добраться до Зальмгассе на автомобиле было вовсе не так легко, как это могло показаться при взгляде на карту города. Замысловатая система пешеходных зон и дорог с односторонним движением уводила меня от цели, заставив проделать долгий кружной путь в 3-й район, покуда я не остановился вдруг перед кафе «Цартль». Я свернул влево, на Разумовскийгассе, и припарковал машину.

Ветер срывал листья с деревьев. Они вихрем проносились по мостовой и облепляли стоявшие на ней машины. Субботний день незаметно переходил в вечер. Магазины были уже закрыты. Когда у кафе «Цартль» зажегся зеленый глазок светофора, вперед проехали две-три машины, и снова все стихло. Улица шла с небольшим подъемом в направлении Ландштрассер Ха-упт-штрассе. Где-то в двух шагах от нее надо было искать Зальмгассе. Единственное, что меня здесь поразило, — это обилие старых кленов, а дальше

наверху — еще и липы в соседстве с лесными буками. Отец никогда не упоминал о них. Я прошел мимо филиальчика «Булочных Анкера» и вдруг оказался перед домом номер 16. Я прочитал старинную табличку с кнопками звонков. На другой стороне улицы находился Геологический институт. Когда отец описывал другим эмигрантам свою старую квартиру, он говорил: «Третий район, Разумовскийгассе, прямо напротив Геологического института».

Теперь я уже не сомневался. Я стоял перед домом, где он провел детство и юность. Я немного замешкался: не позвонить ли кому-нибудь наобум. И тут открылась дверь — из дома вышла юная парочка с велосипедами. Я посторонился. У парня прическа ежиком, виски выбриты. На нем модная куртка, стилизованная под национальный костюм.

— Я могу вам помочь? — спросил он.

— Нет, спасибо. Впрочем, возможно. Вы случайно не знаете некоего Фойербаха?

— Даже не слыхал. Он здесь живет?

— Может быть.

Он перекинул ногу через раму. А девушка сказала:

— Я не отсюда. Простите.

Вьющиеся светлые волосы придавали ей сходство с ангелом. Юноша обернулся.

— А вы войдите, — посоветовал он, — и позвоните в дверь на втором этаже, где фамилия Пфайфер. Моя мать всех тут знает.

Я поблагодарил и проводил их взглядом. Они удалялись вниз по улице в сторону кафе «Цартль». Вокруг колес крутились вороха облетевших листьев.

Метров через двести, не дальше, веткой вправо уходила Зальмгассе. На желтом фасаде углового дома — мемориальная доска: «Здесь жил Роберт Музиль». Под ней — табличка «Литературное общество авторов из Граца». Был ли отец знаком с Робертом Музилем? Возможно, они встречались у портного на Геологенгассе. Я двинулся дальше.

Зальмгассе была узка и вымощена камнями. Звук моих шагов уплывал в прошлое, будто это были шаги моего отца. Но и здесь я ничего не добился. Не нашел я, как и опасался, таблички с фамилией Новотны. Я позвонил в дверь привратника. Ко мне вышел уже немолодой человек, по-видимому уроженец чужих краев.

— Не живет ли в этом доме некая Роза Новотны?

— Нет никакой Новотны.

— Она жила здесь пятьдесят лет назад.

— Я тут недавно. Нет никакой Новотны.

— А есть ли какой-нибудь старожил, кто мог бы знать о ней?

Он немного подумал.

— Старый тут Нойман. Это женщина. Фрау Нойман с третьего этажа.

Старый лифт открывался только ключом. Мне пришлось подниматься по широкой лестнице, которая обвивала шахту лифта. Второй этаж по надписи на табличке именовался «бельэтаж», третий — «мезонин». И только потом начинался настоящий второй этаж. Стало быть, дверь с золотой табличкой «Инг. Нойман» находилась, по существу, на пятом.

Едва я притронулся к звонку, как за дверью послышался женский голос:

— Да-да. Чем могу быть полезна?

— Простите, мне нужные кое-какие сведения. Привратник направил меня к вам. Я ищу человека, который раньше жил в этом доме.

Пока я это говорил, на двери приподнялся клапан глазка. Потом дверь немного приоткрылась, насколько позволяла толстая цепь. Однако щель оказалась достаточно широкой, чтобы можно было разглядеть маленькую седенькую женщину

в бежевом плаще. Она окинула меня взглядом с головы до ног.

— Кто вы?

— Меня зовут Курт Фрэйзер. Я бы хотел знать, какова участь женщины по имени Роза Новотны. Когда-то она, должно быть, жила в этом доме. Она была знакомой моего отца.

Старушка недоверчиво уставилась на меня.

— Как зовут вашего отца? Фрэйзер?

— Да, но тогда его звали Фойербах. Курт Фойербах.

Она прикрыла дверь. Я услышал, как загремела цепочка.

— Проходите, пожалуйста.

Она провела меня в гостиную.

— Вы уж извините, — сказала она, скосив взгляд на свой плащ. — Я как раз собралась на прогулку. Люблю последние осенние дни. Вероятно, потому, что сама вошла в возраст поздней осени. Присаживайтесь, милости прошу. Что вам предложить: кофе или бокал вина?

— Благодарю, ни то ни другое. Не хочу доставлять вам хлопот. Мне бы хоть что-то узнать для моего отца.

— Прогулка от меня не убежит. А вот вечером

я должна быть в «Мюзикферайне».[38] Надеюсь, к тому времени вы успеете узнать все, что хотите. Да присядьте же.

Она вышла в прихожую и сняла плащ. Потом исчезла в какой-то другой комнате. Женщина, несомненно, была сверстницей моего отца. Но лицо сохранило моложавость. Да и на здоровье, как видно, она не жаловалась. Я сел на софу в стиле «бидермейер». В одной половине гостиной доминировал старинный рояль, в другой располагалось все, на чем можно было сидеть по-бидермейерски уютно. За стеклами двух горок посверкивали бокалы, фужеры, фарфор и столовое серебро. Женщина знала моего отца. А вдруг это и есть Роза Новотны?

Хозяйка вернулась с серебряным подносом, на котором стояли утонченно-точеный графин и два бокала.

— Подкрепитесь хересом?

— Пожалуй.

Она поставила поднос на столик и начала возиться со стеклянной пробкой, и тут я спросил, что называется, в лоб:

— Вы Роза Новотны?

---

[38] Примечания: 38

Musikverein — музыкальное общество *(нем.)* — здесь: название концертного зала в Вене.

Она опустила графин на поднос. Потом села наискосок от меня, заняв стул с такой же бронзоватой обивкой, как и моя софа; стеклянная пробка осталась у нее в руке.

— Вы похожи на своего отца. На том месте, где вы сидите, пятьдесят пять лет назад сидел ваш отец. А здесь — моя мать. А я то и дело выбегала и… — она замолчала и усмехнулась, — ревела. Да, ревмя ревела. Моя мать поддерживала Курта. Она пыталась вразумить меня. Я тогда ничегошеньки не понимала. Была просто дурочкой.

Роза встала со стула, где когда-то сидела ее мать, и принялась наполнять бокалы. Она делала это очень аккуратно. Мне налила гораздо больше, чем себе.

— Курт остался в Англии? — спросила она. — Как он там? Он писал мне на протяжении полугода. Так и должно было произойти. Все иное было бы ложью.

Она поставила бокалы с хересом на серебряные блюдца. Мы пригубили, как полагается, за здоровье друг друга. Я рассказывал ей об отце. Она внимательно слушала. Когда она говорила о себе, в интонации неизменно сквозила ирония. Муж умер десять лет назад. У нее трое детей. Дочь со своей семьей живет в Германии. Один сын — в

Зальцкаммергуте.

— Второй сын, — сказала она, — вынужден временами терпеть мать. Он живет в седьмом районе. Когда выпадает свободный часок, он провожает меня в «Мюзикферайн».

Затем она рассмеялась. При этом забавно прищурилась. Это придало ее лицу лукавое выражение.

— Сейчас вы подумаете, что я безнадежная идеалистка. Но моего второго сына зовут Курт. Только лучше не говорите об этом вашему отцу.

Мы просидели до самого вечера. Она готовила кофе и угощала меня фруктовым тортом. Я сказал, что отец скоро приедет в Вену.

Она методично расправлялась со своим куском торта.

— Стало быть, старые недотепы могут встретиться еще раз.

Я сообщил, что в плане встречи бывших соотечественников предусмотрена дискуссия в Большой аудитории университета, а отец будет сидеть в президиуме. И спросил, могу ли дать ему номер ее телефона.

— Нет, и вообще не говорите ему о нашей беседе. Я приду в Большую аудиторию. А там уж посмотрю, узнает ли он меня и захочет ли узнать.

На прощание я обнял ее.

Фред сидел дома. Я рассказал ему о своем визите.

— Вот это да! — удивился он. — Прибавление в семействе.

Позднее он спросил:

— Почему ты, собственно, не окрестил Куртом меня?

Еще до встречи с отцом я увидел его в программе Общественного телевидения. Он был представлен как Керк Фрэйзер, отец известного репортера Курта Фрэйзера. Затем показали кусочек его выступления на подиуме. Настольный микрофон ему пришлось делить со своим соседом. Вместо того чтобы поставить микрофон перед собой, отец держал его над столом в левой руке. Произнося свою речь, он поглаживал большим пальцем защитную сетку микрофона, как бы подчеркивая свои слова соответствующим шумовым сопровождением.

— Сегодня гораздо яснее, чем тогда, в дни расставания с родиной, я вижу, что эта страна готовила для меня одно-единственное будущее, а именно — участь жертвы убийц. Но сегодня я вижу и другое: эта страна вышла из зловещей тени. В последние дни я повстречал много моло-

дых людей. В том числе и в моей старой школе на Берхаафегассе. И я преисполнен радости, да будет мне позволено так выразиться, оттого, что эти люди готовы признать мою историю как часть их собственной. И для меня это важнее, чем все официальные церемонии, на которых нас чествуют.

Это был какой-то новый тон. Еще больше я удивился, встретившись с отцом на следующее утро. В вестибюле отеля «Вандль» он стоял в центре горстки людей. Примерно десять человек почтенного возраста — лет семидесяти и старше — делились воспоминаниями о своей юности. Все сходились на том, что отец в президиуме сказал правильные вещи. Я был представлен старикам. Некоторые из них говорили с английским или американским акцентом. Одна женщина с трудом подбирала слова, она объяснила, что уже больше пятидесяти лет не говорила по-немецки.

— Чем займемся теперь? — спросил я отца, когда он наконец, успев обменяться адресами со всеми товарищами по судьбе, освободился.

— Если у тебя есть время и я не нарушаю твои планы, хотелось бы снова увидеть Венский лес.

И мы по Оттакрингу поехали наверх, к башне Юбилеумсварте. Отец был в восторге от того, как быстро мы туда добрались. Сам я никогда

здесь не был. Машину оставили возле какого-то ресторана.

— Это мне внове, — сказал отец, указывая на бетонную башню с винтовой лестницей. И то и другое обнаруживало явные признаки разрушения. — Настоящая Юбилеумсварте — там, позади, — добавил он, махнув рукой в сторону восстановленной островерхой башни, которую было еле видно за окружавшими ее деревьями.

Отец взял меня под руку, и мы мелкими шагами двинулись по тропе, утрамбованной толпами туристов. Он сказал, что перезнакомился с доброй половиной членов правительства. Особенно приятное впечатление на него произвел министр по делам искусства.

— Вот это человек, — восхищался он. — Если бы ему довелось стать бундеспрезидентом, страна избавилась бы от репутации нацистской цитадели.

Чем дольше он говорил, тем сильнее звучала его новообретенная симпатия к стране своего происхождения и к успехам Социал-демократической партии. А ведь накануне эмиграции он в полном разочаровании покинул ее ряды и присоединился к коммунистам. Явно понравился ему и министр финансов.

— Это социалист, — сказал он, — который понимает психологию и нужды людей. Нам в Англии не хватает такого. Этот господин спросил меня, как я смотрю на проблемы восточной границы. Я посоветовал не жалеть инвестиций в регионы по ту сторону границы. Тогда и проблема с беженцами со временем решится сама собой. На что он ответил: «Вы совершенно правы, господин Фрэйзер. Но, чтобы добиться серьезного результата, надо привлекать большие средства из бюджета. А убедить в этом население будет трудновато». Все та же старая проблема. Но этот человек знает, что миром нельзя управлять с помощью полиции. Впрочем, теперь я должен жить и утешать себя тем, что я отец репортера Фрэйзера. Честно говоря, я даже немного горжусь.

Наш пеший поход длился где-то около часа, а потом мы свернули с тропы влево и углубились в лес. Время от времени я нагибался и убирал с дороги сучья. Мы вышли на просеку, облюбовали два пенька и присели. На земле валялся пластиковый пакет. Перед нами был склон, он круто обрывался в поросшую лесом долину, через которую по невидимой отсюда дороге катились грузовики.

— По воскресеньям мы на велосипедах под-

нимались к Юбилеумсварте. Тогда это было самое тихое место на белом свете. А там, на той стороне, — Софийский луг. А рядом это… погоди-ка… уже не помню. Здесь, где все вырублено подчистую, был лес. А впереди, видишь, у самого уступа, стояла скамейка. Она была сработана из древесного ствола. Кто-то сделал ее для себя, потому что в те годы сюда мало кто заглядывал.

— И ты сидел здесь с Розой Новотны?

Он промолчал. Потом посмотрел на меня, и у него заколыхалась грудь. Он смеялся.

— Роза говорит, ты похож на меня.

— Роза — чудесная женщина. Сходи с ней на бал в Опере. Я достану билеты.

— Ты в своем уме? Может быть, это старомодно, но я знаю свой шесток.

Рихард Шмидляйтнер, фабрикант
Пленка 1

С Яном Фридлем я связан целую вечность. Когда я познакомился с ним, это был лохматый, расхристанный парень, который приходил в такое возбуждение от собственных поступков, что не находил слов для их объяснения.

Это был человек дела, а не слова. Он потом и музеем-то стал руководить, и кафедру получил по той же самой причине — поскольку никто не мог понять, что он говорит.

Однажды я шел себе — это было, как уже сказано, много лет назад — в одно кредитное учреждение на Верхнем рынке. А так как за несколько минут до заседания я еще понятия не имел, одобрять ли мне кредиты для сделки с заокеанскими партнерами или же задробить их, я решил свернуть за ближайший угол и пройтись по Кертнерштрассе, чтобы не торопясь обмозговать это дело. И тут я встретил Яна Фридля. Он выступал в роли пса, ползал на четвереньках по тротуару и лаял, а подруга держала его на поводке. Иногда даже одергивала командами.

Какое-то время я следовал за ними, поглядывая на шокированных или возмущенных прохожих.

— Какой у вас прелестный песик, — сказал я наконец.

— Будьте осторожны, — ответила женщина с поводком. — Я его воспитала по бойцовской программе.

— А можно его чем-нибудь угостить?

— Да, но имейте в виду: он кусается.

Я встал на колени в нескольких метрах от Яна Фридля. Он медленно пополз ко мне, обнюхивая при этом брусчатку. Когда Ян совсем приблизился, он задрал голову и облаял меня. Я сунул ему в рот несколько тысячных купюр.

— Посмотрите на этих придурков, — сказал какой-то мужчина. — Нет бы работу работать, а они только людей продуцируют.

Именно так и выразился: продуцируют, а не провоцируют. Это напомнило мне о нашей заокеанской сделке. Я быстро впихнул в рот озадаченной собаке еще одну тысячную бумажку и удалился.

На заседании я обратился к расфранченному руководителю проекта, который не мог дождаться благословенной возможности взглянуть на Нью-Йорк с высоты тридцать первого этажа, и

спросил его: готов ли он в собачьем образе ползать на четвереньках по Кертнерштрассе, если я буду держать его на поводке?

Он покраснел до ушей и с идиотским видом рассмеялся.

— Ну вот, — сказал я членам наблюдательного совета, — теперь моя позиция ясна. Быть собакой на Кертнерштрассе — гораздо менее рискованное предприятие, чем представленный проект. Когда вы подберете для меня нового руководителя проекта, мы вернемся к этому вопросу еще раз.

На следующий день я попросил секретаршу накупить газет и выяснить, кто вчера изображал на улице собаку. Уже через час на моем столе лежал ворох газетных вырезок, две — из разделов культуры, другие — под рубрикой «Хроника», а одна даже с первой полосы: «Злобная дворняжка хочет стать художником». Тем не менее газета успокаивала нас констатацией факта, что собака никого не покусала. Одна короткая информация заканчивалась вопросом: не имеет ли смысла употребить против Яна Фридля аналогичные средства и навести порядок с помощью полицейской собаки?

Я пригласил Яна Фридля отобедать в японском ресторане. Разговор получился трудный. Ян,

бесспорно, был самым радикальным феминистом в Вене. В свой акционизм он вкладывал пыл и непреклонность феминисток. Из него фонтанировали проекты, пестрые и сумбурные. Удивительно, как все это помещалось в одной голове. Когда я сказал ему, сколько получают у меня работницы, он изъявил величайшую готовность взорвать мой хлебозавод к чертям собачьим. Я спросил:

— А если я буду регулярно подкармливать собаку тысячешиллинговыми дензнаками?

Он устремил на меня долгий взгляд и как-то передернулся.

— Это не пойдет, — сказал он. — Тогда со мной будет покончено.

— Но ведь втайне же.

— Тогда со мной будет покончено втайне.

Прежде чем мы расстались, я дал ему свою визитную карточку.

— Вы все же подумайте, — сказал я. — Мне нравятся ваши проекты. Если вам нужен спонсор, позвоните мне. Подождите, я напишу еще и номер домашнего телефона.

Он поблагодарил меня, как благовоспитанный мальчик. А напоследок повторил:

— По вашему хлебозаводу тротил плачет. Взо-

рвать его надо.

— Допустим. Но тогда мои работницы потребуют для вас пожизненного заключения в самой суровой тюрьме, с водой из клоаки и черствой коркой на обед. Кто же будет вас спонсировать в такой ситуации?

Когда он поспешил восвояси в своем долгополом черном пальто из вельвета, фалды которого были забрызганы дорожной грязью, я перешел на другую сторону улицы, к своему турку. Он обычно звонил моему шоферу, когда после обеда я откушивал у него кофе из медной чашечки величиной с наперсток. Я не сомневался в том, что Ян Фридль объявится. Он поглотил уйму японской снеди.

Должен признаться, в скандалах вокруг искусства я черпаю истинную радость. В последние пятнадцать лет, пожалуй, не было ни одного, в который я не вложил бы деньги. Разумеется, бывали случаи, когда какие-нибудь районные судьи запрещали, скажем, постановку пьесы. Но какой же это скандал? Это просто демонстрация слабоумия. А настоящие скандалы, которые требовали основательной подготовки, сработаны на мои деньги.

Помните, как несколько лет назад процессия

священников и причетников чинно проследовала в собор Святого Стефана? Они трижды склонились перед алтарем, повернулись и распахнули роскошные богослужебные одеяния. Онемевшие от ужаса католики и несколько туристов уставились на обнаженные женские телеса и запачканные кровью ноги. Церковные одеяния можно без особого труда купить. К примеру, тут же на Штефанусплац, в винном погребке. Стоят они чертовски дорого. Но мне так или иначе нужны церковные облачения ко дню святого Николая: в конце недели, ближе к шестому декабря, я выдаю их служащим фирмы в качестве дополнительного вознаграждения. Никто до сих пор не заметил, что эти наши ризы — те же самые, в которые были облачены скандалистки в соборе, хотя их сто раз показывали на газетных фото.

Почему я финансирую скандалы? Потому что они продвигают общество. Я, видите ли, человек консервативный. Мой хлебозавод — предприятие, богатое традициями. В этом столетии его не единожды разграбляли голодные толпы. Во время одной кровавой заварушки в двадцатые годы мой дед чудом остался в живых. Мятежники заложили бомбу в бачок туалета для начальства. При смывании — а тогда надо было потянуть

за бечевку — должен был воспламениться детонатор. Однако мой дед был бережливый, я бы сказал, прижимистый человек — справив малую нужду, он не спускал воду, так как считал это расточительством. Кроме него туалетом пользовался только прокурист. Царство ему небесное.

Чем хвататься за бомбы или в отчаянии мочить епископов, пусть уж лучше горячие головы перебесятся на ниве искусства. Если повезет, они даже добьются признания, что вряд ли возможно при бомбометании. Для обывателя достаточно газетных похвал, он чувствует себя на вершине карьеры, когда получает государственную премию. Гений же ищет конфронтации. Ян Фридль был гений. Такие люди просто не ощущают различия между частным и общественным. Они чувствуют себя глубоко уязвленными, когда власти гонят дезертировавшего иностранца назад, в пекло боя. Но они не настолько атеисты, чтобы не чувствовать себя оскорбленными отлучением женщин от касты священнослужителей.

Томас, мой старший сын, сорвался при восхождении на Траунштайн. Это был несчастный случай. Его невеста находилась рядом. Вы представляете себе Траунштайн? В сущности, его не так уж трудно одолеть. Но там есть дьявольски

крутые склоны и узкие расщелины. За ближайшим уступом может оказаться гладкая и скользкая стена. Стоит оступиться — и пропал. Я спрашиваю себя: почему именно он? Вы задаете себе тот же вопрос, когда думаете о своем сыне? Ответа нет, но как раз поэтому вопрос неотвязен. Он преследует постоянно. На Траунштайн ежегодно взбираются сотни. Почему же разбиться суждено было именно ему? Вы это понимаете. У вас были хорошие отношения с сыном? У меня, к сожалению, нет. И мне приходит в голову: может быть, он сделал это намеренно? Как бы нелепо это ни звучало — тем более что такое предположение абсолютно противоречит показаниям невесты, — меня эта мысль просто изводит. Иногда я вижу Томаса во сне. Это всегда кошмарные сны. Случившееся несчастье представляется мне порой каким-то обвинением или последней местью, от которой невозможно уйти. В какие страны я только не посылал его учиться. Надеялся, что он будет искать какое-то иное поприще. Он был смышлен, а в те годы интересовался уймой вещей, но изначально отличался скупостью, как и его прадед. Его интересы прямо на глазах свелись к одному-единственному: все, чем он занимался, мыслилось им как подготовка к управлению

хлебозаводом. Идеальный наследник для какого-нибудь директора, но не для меня. Мне бы следовало либо сразу переписать имущество на его имя, либо держать его подальше от завода. Все остальное могло обернуться лишь несчастьем. Он учился во Франции, и вдруг в один прекрасный день нежданно-негаданно появился на пороге нашего дома вместе со своей нареченной. Она — не француженка, а скромная милая девушка из Хитцинга, которая сказала моей тогдашней жене: «Я очень рада», как это у нас принято при знакомстве. Но, войдя в дом, он, прежде чем представить нам невесту, первым делом спросил: «Как у нас с финансами?»

Сначала я подумал, что это завуалированный намек на предстоящие свадебные расходы.

«Если вы собираетесь строить дом в Гонолулу, — ответил я, — мы сделаем вам такой подарок».

Но тут я дал маху. Он вовсе не думал о свадьбе. Он и обручился-то лишь потому, что мать его подруги, супруга надворного советника, придавала большое значение приличиям. На самом деле он давно женился на фирме. Она была смыслом и страстью его жизни. Я совершил жестокую ошибку, пойдя у него на поводу и благословив его

вхождение в бизнес.

Томас, как коршун, следил за всеми расходами. Наступил момент, когда я уже не мог утаить от него суммы, которые инвестировал в скандалы. Он пришел в ужас. Он счел меня сумасшедшим.

— Если уж уводить деньги от налогов, — сказал он, — то по крайней мере ради рекламы хлебозавода.

Я пытался объяснить ему, что для собственной же выгоды надо вкладывать деньги в будущее общества, а не только пускать в оборот фирмы. Но моему сыну эта логика казалась дикой.

— Ты тратишь деньги на искусство, — говорил он, — а на стенах ни одной картины. Твои деньги — мертвый капитал. Они пущены по ветру. Смотри, как бы этот ветер не унес тебя самого. Епископ и его резиденция — в числе нашей постоянной клиентуры, а ты его дразнишь.

— Значит, толково распоряжаюсь его деньгами, — отвечал я, но с Томасом такие шутки не проходили.

Он пригрозил прессой. Но, в конце концов, Томас был слишком жаден, чтобы осуществить свою угрозу.

Коньяком и виски погасить конфликт не удалось. Однажды мы позволили себе поразвлечься

игрой в теннис у одного знакомого из Гринцинга, у него был свой корт. Там мы могли переругиваться без помех. Девушка, подававшая напитки, понимала только английскую речь, а крестьяне, что находились поодаль, на склонах Каленберга, были слишком заняты уборкой урожая. На этом корте я подавал Томасу первые мячи. Если он отбивал удачно, то получал от меня доллар, если промахивался, нес потерю в том же размере. Разумеется, я следил за тем, чтобы его долларовый счет не превышал скромных пределов.

На сей раз я уже не мог с ним тягаться. И это было к лучшему, поскольку, млея от успеха — и тут он тоже смахивал на моего деда, — Томас становился прямо-таки великодушным. При счете 6:2, 6:2 ему пришло в голову, что гению не пристало числиться в гильдии хлебопеков. Однако и я должен был идти на уступки. Когда я заверил его, что в скором времени на стенах у нас будут висеть картины или еще что-нибудь стоящее, он дал мне возможность дойти до тай-брейка. Победу у него было не вырвать. Но я защищал свой принцип.

Завод все еще принадлежал мне. Однако я не мог воспрепятствовать тому, чтобы он, как младший совладелец, перебрался на мой этаж. Я ненавидел его, когда он за моей спиной провора-

чивал вместе с прокуристом новые сделки. Его интересовали только деньги. Климат на предприятии был ему безразличен. Кто не выказывает должного послушания, тот пусть увольняется. Он хотел снизить сдельную зарплату пекарям, работавшим вручную. Булочки, производимые таким способом, были нашим единственным убыточным продуктом. Мы не могли повысить цену, так как она определялась конкуренцией, но не могли также перекрыть доступ этой продукции на рынок. В Вене такие булочки пользуются спросом у респектабельной клиентуры. Она принципиально признает только те магазины, где продается сдоба, сделанная вручную. Кроме того, эти клиенты покупают рогалики, соленую соломку, хлеб, кексы, пышки и прочее, что приносит весьма недурной доход. Но Томас во что бы то ни стало норовил выжать побольше денег, будь это даже сделано только за счет рабочих. Я поддержал производственный совет, который был на их стороне. Томас вновь настропалил прокуриста. Но у них ничего не вышло. С тех пор мы с Томасом стали, так сказать, врагами по бизнесу. И вот в один субботний вечер раздается этот страшный звонок из Гмундена. И у меня опускается челюсть. И все эти наши препирательства

вмиг оказываются смехотворными пустяками.

Без Томаса дело с Яном Фридлем никогда не дошло бы до контракта. Я бы финансировал его просто так. Своим взлетом он обязан мне. Ни одна государственная инстанция не осмелилась бы тогда поддерживать художника, чье участие в публичной дискуссии по вопросам искусства выразилось в том, что он нагадил на подиум. Ян Фридль стал бы одним из многих акционистов шестидесятых годов, погибших от нищеты и алкоголизма. С ним, во избежание домыслов насчет фирмы, я заключил частный договор на двадцать лет. В то время я навещал Яна в его хибарке, находившейся за пределами Вены. Он там работал, а зачастую и ночевал. А работал он над необычными трехмерными картинами, с которых свисали использованные тампоны и прокладки. Я покупал все, что находил у него на стене. Ян Фридль был тогда изгнан из творческих кругов. Его знали как акциониста, но никто не хотел платить за его работы. Он слыл непредсказуемым. Даже акционисты должны как-то считаться с публикой. Но Ян Фридль торпедировал все, что напоминало более или менее жесткие рамки. Его картины и объекты были чем-то поистине невиданным. Я покупал их и

складывал. На шестой год нашего контракта я дожал его, и он согласился на выставку. К тому же он, конечно, страдал от отсутствия публики. Я договорился с одной весьма известной галереей. Выставка имела большой успех. Ян Фридль взял вершину. Только публике было невдомек, что ни одна картина и ни один объект не выставлены на продажу. Все они были моей собственностью. Тем не менее поступали предложения о покупке. К концу выставки я просто объявлял все объекты распроданными.

Наш договор предусматривал, что ежегодно он выдает хотя бы один объект, а больше так больше. Но все они первым делом должны предлагаться мне. Так я сумел перекрыть их поступение на рынок.

Разумеется, он мог надувать меня. Я понимал это с самого начала. Какому художнику охота продавать себя с потрохами? Но, опять же, какой художник выдержит двадцать лет без зрителей? Поэтому я надеялся, что лишь к концу двадцатилетнего срока смогу недополучить какие-то стоящие произведения. И все же он меня обманывал. И вопреки моим ожиданиям — особо подлым образом. Это выяснилось уже теперь, после его смерти. Мой адвокат идет в бой.

А ведь я еще избавил его алчную подругу, которая сейчас размахивает всюду завещанием и фальсификатом моего контракта, от всех похоронных расходов. Теперь я понимаю, почему она все время твердит о том, что ей неприятны тяжбы. Она была соучастницей.

Какое-то время Ян Фридль околачивался в Париже. Естественно, с моими деньгами. Но он привез кучу картин. Я купил все до одной. Два парижских года имели для него немалое значение. Он вернулся, и тут вдруг на него обрушилась легендарная слава. Едва ли кого-то теперь шокировали его прежние провокации. В Любляне ему предложили половину профессорской ставки. Деньги пустячные, но он без колебаний принял предложение. Меня самого поразило, как быстро он согласился. Кстати, это место он никогда не бросал. Даже когда его пригласили заведовать венской частью художественной коллекции Людвига[39] — и должен признаться, для этого мне пришлось использовать все свое влияние, — два дня в неделю он проводил в Любляне. И не так уж это было страшно, к нему приставили хорошего куратора. Но я понятия не имел, что Ян Фридль

---

[39] Примечания: 39
Один из венских музеев современного искусства.

обзавелся в Любляне мастерской и, по-видимому, проводил там больше времени, чем в академии. Ателье было битком набито художествами, которые, согласно авторским подписям, якобы были созданы Яном Фридлем в последние двенадцать лет.

Я с давних лет храню все мои памятки с датами и цифрами и пачку частной переписки. Я не собираюсь нигде их предъявлять. Но документы есть документы. Даже если из-за них я вынужден заодно выдать кое-что, не предназначенное для широкой огласки: с помощью этих бумаг я могу доказать, что так называемые оригиналы Яна Фридля либо не являются таковыми, либо созданы не в Любляне. Меня не удивит, если через пару лет его алчная спутница жизни будет носиться с картинами Фридля, которые я до сих пор считал своей собственностью.

В сущности, этому можно не придавать особого значения. Ян Фридль был игрок. И ведь именно это завораживало меня. Но мне бы и в голову не пришло, что он способен сыграть со мной такую убийственную шутку. Представленные на первом слушании графологические и всякие прочие заключения были просто ужасны. Я сидел в полуобморочном состоянии, адвокат держал

меня за руку. И единственное, на что я был способен, — это кричать. Или плакать. В один миг была перечеркнута многолетняя дружба, в которую я всегда верил. Если подкопать фундамент, обрушится все здание. Не останется ничего. Кроме печальной мудрости, от которой я охотно бы отказался: дружба — величайшее человеческое несчастье. Она внедряется в ложь, она процветает в предательстве. Во всяком случае, пока об этом не начнешь подозревать.

Судебные эксперты констатировали, что подпись на договоре, который предъявила подруга Яна, скорее всего, поставлена мною, но без всяких сомнений — с помощью моей авторучки. Тщательная проверка не выявила никаких признаков манипуляций с текстом договора. Фактически он был по всем пунктам идентичен тому, что я держал в руках. За исключением одного момента. В параграфе «Право преимущественной продажи» другой экземпляр имел маленькое дополнение — «в Вене». По этой версии, мое право преимущественной продажи распространялось только на те произведения Фридля, которые были созданы в Вене. Это имело смысл, если учитывать то обстоятельство, что большинство своих произведений Ян Фридль создал в Любляне или поручил кому-

то сработать. В собственных глазах я выгляжу человеком, который добивается своего права на свинью, которую сам же и заколол.

Вернемся к балу. Я — завсегдатай Оперы, у меня постоянное место в ложе. Не я обращаюсь к любезной даме из администрации, но она сама присылает мне каждый год как раз после моего отпуска, ближе к Пасхе, милое письмецо с вопросом: окажу ли я и на сей раз честь посетить театр и сколько билетов зарезервировать? И с годами у меня уже вошло в привычку приглашать на бал в Опере какого-нибудь деятеля искусств и одного делового партнера. На сей раз, как было объявлено по телевидению — вы наверняка помните, — я будто бы отказался от компании партнера по бизнесу, зато пригласил двух художников.

Это — ошибка. Моего делового партнера звали Ян Фридль. Но тогда вы могли этого не знать. Знали? Откуда? Габриэла… Габриэла… подскажите… Это телеведущая? Стало быть, он все-таки разболтал. Хотя мы, разумеется, договорились о конфиденциальности.

Как только мы заключили контракт, я пригласил Яна Фридля на бал, но он наотрез отказался. А потом, на протяжении многих лет, я и не пытался его уговаривать, исходя из того, что он все равно

откажется. Мои деньги обтесали его, приучили к обществу, но это еще не гарантия, что человек вприпрыжку побежит на бал. Однако в последний год я как бы между прочим спросил у него, не хочет ли он пойти. Мы тогда опять сидели у японца, а я только что получил письмо от дамы из администрации. И к моему изумлению, он сказал «да». Я ведь уже подумывал, не пригласить ли одного швейцарца, генерального директора сети дешевых универсамов, с которым поддерживал деловые связи. Он мог бы прилететь тем же чартерным рейсом, что и Катрин Пети. Однако генеральный директор и Ян Фридль за одним столом… Такая комбинация меня не привлекала. Но интересы дела были важнее. У Катрин Пети, или княгини Кропоткиной, вечером, вы знаете, был спектакль в Базеле. Я зафрахтовал самолет для нее одной. Он прибыл в аэропорт Швехат в половине первого ночи. Катрин отказалась от всякого сопровождения, что для меня — чего скрывать — было приятной неожиданностью.

Катрин Пети — правнучка русского революционера князя Петра Кропоткина. В 1917 году, вернувшись в Россию, князь отослал своего сына назад, в Париж, вероятно, потому, что хотел вызволить его из революционного хаоса. Но не

исключено, что сын просто не одобрял анархические проказы отца. В общем-то он не знал России, хотя говорил по-русски и в почтенном возрасте, как мне рассказывала Катрин, очень гордился отцом. Родился он во времена английской эмиграции князя-анархиста, потом вместе с отцом переехал во Францию, где стал много лет спустя профессором какого-то парижского лицея и женился на одной из своих учениц. У них было много детей. Перед вторжением немцев вся семья переселилась в Швейцарию. Там они не испытывали особых тягот, поскольку небольшая часть кропоткинского состояния еще оставалась в виде вклада в одном швейцарском банке и надежность вклада была гарантирована. Должно быть, это была странная жизнь. Вплоть до послевоенных лет всем членам семьи запрещалось работать в Швейцарии.

Сына, как водится, назвали Петром. Он основал после войны несколько торговых предприятий, но все они зачахли. Причину он видел в своей фамилии. Ни один добропорядочный швейцарец не решался иметь дела с Петром Кропоткиным. В любви ему повезло больше. В Лозанне он женился на концертирующей пианистке Доминик Пети. Их дочь Катрин, дабы избежать повторе-

ния семейных неприятностей, взяла фамилию матери. Эта комбинация позволила тактичным образом связать себя с русской традицией — Екатерина Малая. Я называю ее княгиня Кропоткина. Иногда говорю: *Ваше Высочество.* Сначала она принимала это за насмешку. Но я не отступался до тех пор, пока она не привыкла к такому обращению. Свои письма я всегда начинал словами: *Прекрасная сиятельная дама!* В таком вот старомодном духе. Это я взял у Эйхендорфа. Ее высочеству это нравится. Кстати, ее отец все-таки стал успешным бизнесменом. Как ни странно, главным импортером русского чая. В этом качестве он и в Швейцарии мог именоваться Петром Кропоткиным.

В то время как ее высочество в Базеле спешила к самолету, мы с Яном Фридлем одни сидели в моей ложе. Естественно, в боковой ложе, а не в мерзком закутке у самой сцены, где пьяные архитекторы лапают своих падчериц. Постоянным посетителем Оперы был еще мой отец. В 1956 году, когда давали первый после войны бал, он абонировал семейную ложу. Мой дед имел возможность побывать на первом балу в 1935 году, но после теракта бомбистов он стал сторониться всяких публичных увеселений. Он слишком

боялся жизни, предпочитая скаредничать, скрывшись от глаз людских. Свои костюмы он носил лет по двадцать, если не дольше.

Итак, мы сидели в семейной ложе и терпеливо пережидали церемонию открытия. Во время бала наша ложа была идеальным местом для обзора всего зала. Открытие — самая отвратительная часть программы. Не могу себе представить, что это натужное хоровое базлание может кому-то нравиться, кроме разве что офицеров из Военной академии, которые при полном параде сами в этом участвовали. Для укрепления стойкости духа я накачал Фридля несколькими бокалами шампанского. Вернее сказать, он припал к нему сам, а я старался не опоздать с добавкой. Для него много значило хорошее расположение духа. В ином состоянии он, как и прежде, был склонен к агрессии. Чувство некоторой напряженности внушали соседние ложи. Особенно та, что справа. Ее занимало старинное австрийское семейство военной знати. С незапамятных времен продолжателями этого рода были лишь офицеры и генералы. Я знал три их поколения. Более рафинированных представителей австрийского благородного общества невозможно вообразить. Пылкие патриоты. Образованнейшие люди.

Старший Хильцендорфер в молодости служил в войсках союзников. В 1944 году его в качестве агента заслали в Вену для разведки оборонительных сооружений. Его отец был одним из тех немногих австрийских генералов, которые были готовы всеми силами противодействовать Гитлеру. Политики на это не отваживались. Сразу после ввода немецких войск отец был арестован и отправлен в Дахау. Но за него вступились даже верные режиму офицеры, и через полгода его выпустили из лагеря. Он был понижен в звании и призван на службу в немецкий вермахт. Но ему удалось вместе с семьей бежать в Англию.

«Обалденно», — сказал Ян Фридль, когда сверху хлынул дождь листовок. Это были тонкие черные листки папиросной бумаги формата A5, которые, если не считать одной склеившейся и шлепнувшейся на пол стопки, красиво порхали в воздухе, играя друг с другом: они танцевали, сближались и расходились, чтобы наконец мягко опуститься на бархат лож, на цветочные композиции, на осветительные приборы и, конечно, на зеркальный паркет. Это было до десяти часов, ваши еще не начали трансляцию. Даже во время падения листовок можно было прочитать текст. Жирными красными буквами на них было написано:

«МЫ — ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!» Казалось, у всех одновременно перехватило дыхание. Потом разом шевельнулись головы, послышались крики. Все устремили взгляды на ложу, которая была над нами. Там, похоже, шла потасовка. В зале забегали какие-то люди, явно не гости, из коридоров доносился топот.

К нам залетело несколько листовок. Под словами: «МЫ — ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!» — мелким шрифтом было написано: *«Общество помощи иностранцам».* Ян Фридль делал из бумажек самолетики и пускал их в зал.

— Прекратите, — вмешалась капельдинерша.

Под аплодисменты иностранцев «полное дерьмо» необыкновенно широкими метлами иноземцы в ливреях гнали к боковому выходу, где оно исчезало в пластиковых мешках. Но музыка заиграла в положенное время. И в глазах зарябило от фраков и дамских нарядов танцоров и танцовщиц, которые как бы повторяли движения отпорхавших бумажек, только совершенно иначе, не столь широко и с замедлениями.

— Зрелище настолько дурацкое, что ничего прекраснее я и представить себе не могу, — сказал Ян.

Еще во время полонеза он завел разговор о

Бруно Крайским, который якобы дал на балу странное интервью, распространяясь о ценности некоторых монархических традиций.

— Все это чушь собачья, — заключил Фридль. — На самом деле здесь правит бал ничто, здесь скопище пустоты. Такие затраты и так мало смысла. Это просто гениально. Будь тут действительно огромная куча дерьма, можно было аплодировать или протестовать. А тут ничего, ничегошеньки.

Весь вечер он с восторгом наблюдал за танцующими. Особенно ему нравились орденоносные особы. Он указал мне на одного господина, грудь которого, как броней, была покрыта орденами.

— Чтобы убить такого, потребуется пушка, — сказал Ян.

Иногда он звонко смеялся. И все время приговаривал: «Обалденно». А обалдевал он буквально от всего. Мои опасения, что его выходки могут вызвать конфликт с соседней ложей, оказались совершенно напрасными. С соседями мы обменялись приветствиями и договорились встретиться спустя какое-то время. И хотя до них легко было дотянуться рукой, на балу в Опере здороваться таким образом совершенно недопустимо. Здесь просто раскланиваются, а позднее ведут светскую беседу. Только архитекторы в ложах у сцены

рисковали вывихнуть себе руки, здороваясь с соседями.

Ян Фридль был весь поглощен наблюдением. В какой-то момент он заговорил сам с собой, не глядя на меня. Это была прямо-таки лекция, только очень своеобразная, состоявшая из произнесенных скороговоркой отрывистых фраз. Поток нетерпеливых, сырых мыслей, которые вылетали изо рта, словно стая летучих мышей. Это был выпад против его прежних друзей. Он хотел объяснить мне или только себе самому, почему он, в прошлом вдрызг изруганный акционист, торчит на балу в Опере и не воротит нос от бокала с шампанским. Я могу передать лишь общий смысл. Он говорил:

— Нам было дьявольски трудно тратить деньги. Всякий стоящий автомобиль, всякий дорогой ужин мы старались утаить от людей, которых воспринимали как своих хозяев. Здесь, в Вене, вообще хана. Бунт дышал на ладан. Потому и избавление так затянулось. Мы можем спасти только тех, кто умеет бунтовать правильно. Как во Франции. Не важно, кто когда что подумал, важно, когда и какие идеи становятся действенны. Пойми же, я могу пить шампанское и быть революционером. Дело не в морали, дело в игре,

правила которой можно менять. Тот, кто умеет делать искусство или соображает в коллекционировании картин, оказывается на балу. Тот, кто с успехом печет хлеб, покупает ложу. Художники — трапперы. Но они ловят лишь друг друга. Моралисты до мозга костей. Мы же не собирались быть францисканцами. Французы доперли до этого раньше. Они и прежде сидели на горшках с деньгами. Старик Сартр давал на чай больше денег, чем было проставлено в счете, чтобы приглушить стыд за свои жирные доходы. А потом, когда он вдруг выдал скучнейшее интервью с Симоной де Бовуар,[40] официант поставил на его стол красную розу и деликатно следил за тем, чтобы к нему не подсел какой-нибудь дебильный турист. Но Сартр — ископаемый маркиз. Или такое комнатное растение: оно цветет, только когда в семье кто-то женится. В конце концов, старик Сартр кое-что понимал. Но он не мог просто сказать: «Конечно, господин Фуко,[41] вы совершенно правы, я опять ошибся». Когда Сартр цвел, он еще мог это делать. Ты читал его работу

---

[40] Примечания: 40

Французская писательница, жена Жан-Поля Сартра.

[41] Примечания: 41

Фуко Мишель-Поль — французский философ, историк культуры и науки.

о Флобере? Прочти, тогда ты поймешь, что он, в сущности, признал правоту Фуко…

Вот что сделали с Яном деньги. Не те, которые я с момента нашей первой встречи на Кертнерштрассе из года в год совал ему в зубы. На них он мог жить, и я даже не пытался как-то влиять на его творчество. Деньга, которые он стал зарабатывать сам, создали для него проблемы. Его жизнь приняла упорядоченный характер, была втиснута в оправу, из которой он уже не мог вырваться.

— Бал в Опере, — сказал он, — теперь уже не раздражает критические умы. Провокация для гопников. Но их провоцирует всякий косой взгляд из окна. Слишком много шестидесятников стало критиками-искусствоведами. При отсутствии революционного общества от социальной критики они перешли к критике искусства. У них — куча денег, но что касается расходов, то здесь они скупее мелких лавочников. Потому что отовсюду несет собачьим дерьмом. Бал — не в сфере их интересов. По сути они — перевозчики денег в духовных бронемашинах, которые челночничают между медиа-концернами и клубами гурманов. Они сидят в своих скорлупках, утирают пот с багровых лысин и расстегивают воротнички под удавками шелковых галстуков. Разве наденет

себе такое ярмо король хлебопеков? Он просто носит галстук, не насилуя себя, или не надевает его вообще. Порядочный человек идет своим путем, даже если совращает малолетних. А эти гаденыши стараются усидеть на двух стульях. Раздушенные задницы.

Потом Ян Фридль заговорил об одной скульптуре, которую видел в Америке. Она называлась «Joy of Motherhood»[42] и являла собой обалденный китч. У нас бы такое не проглотил ни один критик. Все они после краткосрочного брака развелись с мутировавшими до самочьего состояния эмансипе и ощутили себя призванными восславить напрасную борьбу, которую вели с ними жены. Однажды Ян Фридль прислал мне из Америки — как директор музея он часто ездил в США — открытку, на которой был изображен Хемингуэй с мальчиком лет десяти. Оба сидели на берегу и держали в руках ружья.

«Я решил, — написал Ян на обороте, — в будущем пострелять рыб».

В тот вечер я примерно два с половиной часа просидел в ложе с Фридлем, а оставшиеся сорок пять минут общался с другими людьми. Речь

---

[42] Примечания: 42
«Радость материнства» *(англ.).*

заходила и о войне. Все войны XX века, в том числе и на Дальнем Востоке, Ян Фридль объяснял недееспособностью императора Франца Иосифа. Этот человек, утверждал Ян, по причине старческого слабоумия разрушил Европу. Если бы на рубеже веков от него избавились, все вышло бы иначе. Касательно ситуации на Западном фронте в Первую мировую он высказал довольно оригинальное соображение. Он сказал, что так называемое чудо на Марне — никакое не чудо и никак не связано с проблемой снабжения немецких войск. Просто бравые солдаты осушили целый погреб шампанского и тем самым дали французам время для возведения оборонительных позиций. А заминка с вывозом шампанского — хитрейший шахматный ход французской военной тактики.

Вот что в основных чертах сохранилось в моей памяти. Ян Фридль почти все время смотрел вниз. В какой-то момент он обратил мое внимание на даму, платье которой, можно сказать, состояло из цветов и прочих растений.

— Обалденное решение, — сказал он. — После бала дама просто встанет на кучу компоста и сбросит покровы.

«Обалденно, обалденно», — то и дело повто-

рял он.

Встречи происходили главным образом при входе. Еще в гардеробе я увидел множество знакомых: политиков, бизнесменов, даже одного нашего служащего. А с коммерции советником Петером Шварцем, коллегой и даже конкурентом, если хотите, мы договорились встретиться позднее. Он владел хлебозаводом во Флоридсдорфе. Но доли рыночного сбыта были практически поделены. Настоящими конкурентами мы являлись, по существу, только в сети супермаркетов. Здесь мы, естественно, старались провести друг друга. Это было вроде семейного спорта. А в Союзе промышленников мы сотрудничали.

Тут особо трагический случай, так как практически вся семья Шварца погибла на последнем балу. В живых осталась только дочь, позднее она вышла замуж за немца, жила в Германии и не имела ни малейшего желания брать на себя дальнейшее руководство фирмой. Деловые соображения требовали безотлагательного включения в процесс, иначе не избежать убытков, я бы влез в это дело, но семейные обстоятельства у молодой дамы сложились столь ужасным образом, что с этим нельзя было не считаться. До меня доходят слухи, что сейчас появились и

другие заинтересованные стороны, например один итальянский концерн. Я сказал господину из управления картелем:

— Если итальянцы добьются своего, мафия будет у нас как рыба в воде.

И знаете, что он ответил:

— Если из-за этого подешевеет хлеб, я буду доволен.

Вероятно, он надеялся, что я его подмажу. Но тут миляга просчитался. Уж лучше я подыщу себе нового Яна Фридля.

Фриц Амон, полицейский
Пленка 5

Вокруг женщины на каменном полу мы образовали плотный заслон, но удержать позицию не удавалось. На нас напирали справа и слева, как по команде накатывали валами, да так, что мы напрягали все жилы, чтобы не растоптать женщину.

— Убийцы! — орала толпа. — Убийцы! Убийцы!

Все время одно слово. Этим они и себе, и нам мозги выворачивали. Даже сегодня не могу понять, как это случилось. Она вдруг оказалась у нас под ногами. Может, споткнулась. Может, кто ее сбил. Нам ничего не оставалось, кроме как обступить ее, так как места вокруг было мало, а смутьяны не унимались. Передние ряды словно слиплись, притиснутые к стене из наших щитов. Мы упирались изо всех сил, и вдруг я почувствовал, что наступаю на тело и ничего не могу с собой поделать, другой опоры для ноги не было. И как раз в этот момент на нас мощно надавили. Потом мы снова потеснили. Толпа отпрянула под

ударами дубинок, и люди из оперативной группы могли позаботиться о женщине. Они вызвали машину «скорой помощи».

Но тут получилась страшная осечка. Когда мы встали кольцом вокруг раненой, пограничники, как и было заранее предусмотрено, отошли на площадь к «Мюзикферайну» и Дому искусства. Они не расчухали, что мы вынуждены оставаться около раненой и у нас уже пупки развязываются. До демонстрантов дошло, что мы топчемся вокруг лежащей на полу женщины. Возможно, их даже кто-то оповестил через мегафон. В такой жуткой сутолоке я не обращал внимания на гром мегафона, тем более что чаще всего это были чисто провокационные выкрики. И тут на нас полезли со всех сторон. И из сотен глоток — только одно слово: «Убийцы! Убийцы!»

Это помогало им привлекать новые толпы. В считанные минуты мы были окружены. На нас снова обрушился вал, потом еще. И все время нас стегали этим словом, тут кто хочешь может свихнуться, потерять всякий контроль над собой. В полицейской школе нас учили не смотреть в таких случаях в лица демонстрантам. Тогда легче совладать с собой, легче правильно реагировать на подколы провокаторов. Никогда, ни при каком

раскладе нельзя терять самоконтроль.

«Вам лишь заплюют униформу, а ее можно почистить», — говорил нам пожилой преподаватель в полицейской школе. Я помнил эти слова, повторял их про себя и не смотрел на физиономии смутьянов. Но мне уже не давались психологические приемы. Не было больше сил. Весь вечер нас обзывали фашистами, убийцами Абдула Хамана или просто свиньями. В нас летели камни, дорожные знаки, бутылки из-под пива. А потом и кое-что покруче — железные скобы, доски и брусья со стройплощадки на Маргаретенштрассе. Когда тебя вот так безостановочно достают, а ты должен все время повторять: «Спокойно, спокойно, это всего лишь провокация», рано или поздно подмывает вломить по-настоящему. «Только бы сейчас не сорваться», — твердил про себя каждый из нас. Это был вроде как контрастный душ для нервов. Сколько раз нам объясняли все это на занятиях. Не единожды разжевывали, на что мы должны реагировать и как. И после заварухи, размышляя на холодную голову, мы всегда признавали, что учили нас правильно.

А когда творилось что-то уж совсем непотребное и было особенно туго, а я ухитрялся найти полминуты дух перевести, случалось, что на

меня нападал страх. Но в этом нельзя было себе признаваться. А тем более показывать свой страх другим. Они бы тебя с ходу окрестили тряпкой или дристуном.

Первое дело, в котором я участвовал с готовым к бою оружием, — это когда мы преследовали парня, грабанувшего банк. По нашим предположениям, он должен был прятаться в одном доме. Я не решился идти первым, и старший группы сказал:

— Аналитика тебе в душу или пробку в зад? Что он имел в виду? Ну, аналитик — это врач, который мозги вправляет. А пробку-то зачем? С тех пор я усвоил: страх — это не для нас. Лучшее от него средство — подбадривать себя и других.

— Захлопнем им пасти! — приговаривали мы перед тем, как перейти к атаке на Карлсплац. Когда мы сидели в дежурном автобусе и приглядывались к демонстрантам, случалось, что каждый выбирал себе кого-нибудь одного и со смаком описывал, что сделал бы с ним, попадись он ему в руки. По первости меня от этого коробило. Демонстранты шли мимо нашего автобуса. Один начал нас разглядывать. И хотя не было никакого повода задираться, кто-то из наших пригрозил:

— Ты у меня поглазей! Сейчас я колупну тебе башку-то и очищу ее, как пасхальное яичко.

Меня аж передернуло. Я смотрел на своего товарища и думал: «Чем уж он тебя так обидел?» Мне еще предстояло усвоить, что есть и такой способ поднимать дух в наших рядах. Теперь меня это удивляет, только когда я слышу особо грозные лозунги. Что и говорить, лозунга стали куда более жестокими. Но, по сути, все наоборот. А почему? Нам не дозволяли делать то, что мы давно должны были сделать. В отношении сброда, рвавшегося к Опере, начальник нашего отряда сказал такие слова:

— Сейчас мы одним ударом навсегда излечим этих чумных свиней!

По сути, это был ободряющий призыв хорошенько поработать. И тогда дубинки в руках становились, может, малость помощнее, и цель мы выбирали без особых размышлений, и нам не возбранялось при случае заехать ногой в живот, в пах или, если придется, в рыло, но в общем-то лишь для припугу. А вовсе не для того, чтобы кого-то серьезно покалечить, и уж тем более — убить.

А потом я узнал и другое чувство, которому в общем-то не место при разборках с демонстрантами. Это — жгучее желание устранить

противника. Тебе хочется не только припугнуть это отребье, тебе охота разделаться с ним. Но это чувство запретно, ты не можешь его показывать. Ты должен, хоть тресни, взять его под контроль и сделать все, чтобы не перейти грань. А грань тонка, как волосок. По эту сторону ты — хороший полицейский, по ту — уголовный элемент. Обычно, когда тебя не заводят и голова ясная, ты чувствуешь эту грань. А когда дело принимает крутой оборот, она как бы теряется. Обычно ничего не случалось. Ну приходилось стрелять в вооруженных преступников. Тут ничего такого. Газеты поддерживают тебя, как бетонные опоры. По судам не таскают. А вот с демонстрациями будет посложнее. Потому что эти революги достают тебя покруче любого гангстера, а ты и вдарить не можешь как следует. Не знаю, понимаете ли вы меня. Весь вечер мы не снимали себя с предохранителя, ни разу не сорвались. Несмотря на явное неравенство сил, соблюли положенную границу и не поддались ни на какие провокации. И вот на тебе, как будто мы весь вечер палили из всех стволов — эти незатихающие крики: «Убийцы! Убийцы!» Это было уже через край. Просто нестерпимо. Тут только одно на уме: показать им, что такое настоящий убийца.

По радио мы снова вызвали пограничников, которые невольно бросили нас в беде. Они пытались вновь пробиться к нам, но, похоже, безуспешно. Толпа все громче скандировала «Убийцы!», это собирало все больше смутьянов. Наш начальник отчаянно кричал в микрофон рации:

— Нам нужна срочная помощь!

В ответ было сказано:

— Отряд пограничников «Скорпион» в пути. Других свободных резервов нет в наличии.

— Да послушайте же! — надрывался начальник. Он утопил на несколько секунд клавишу, чтобы переждать очередной раскат выкриков. — Послушайте, они же почти свихнулись. Если не пришлете помощь немедленно, я ни за что не ручаюсь!

Ответа не последовало. Толпа становилась все плотнее и казалась бескрайней. На нас напирали со всех сторон. Мы запросто могли затоптать и раздавить раненую. Долго продержаться нам бы не удалось.

К счастью, появилась «скорая помощь». Толпа расступилась, давая дорогу. Машина остановилась рядом с женщиной. Тут распахнулись задние дверцы, и из кузова выскочило человек этак двадцать из отряда «Кобра» в боевой экипировке.

Это наше антитеррористическое спецподразделение. Санитары и врач жались в кабине. Грянул оглушительный свист и снова крик: «Убийцы!»

Девушка лежала в той же позе, как ее положили ребята из оперативной группы. С тех пор она не шевелилась. На лбу сбоку сквозь упавшие на лицо длинные пряди проступала глубокая ссадина. Больше никаких повреждений не было видно. Кто-то подстелил ей под голову палестинский платок, валявшийся рядом. Медики склонились над раненой.

— Минутку, — сказал человек в белом халате, по всей видимости врач, и велел всем посторониться. Он достал из машины пакет с одноразовыми перчатками, надел их и только после этого оттянул у женщины веко и осветил фонариком зрачок. — Еще жива, — сказал врач. — Быстро грузим!

В давке с носилками было не развернуться. В машину санитары внесли женщину на руках.

— Дорогу! Посторонись! — кричал водитель, заполошно сигналя.

Погрузив женщину, они бросили перчатки к нашим ногам. Да, они более чистая публика. Мы тут дерьмо разгребаем, а они приезжают и среди этого дерьма важничают. Медики из

«скорой помощи» — в основном люди с гонором. Знаю по опыту. Но они доставили нам «Кобру», которая начала действовать, как только машина тронулась. И «Кобра» оправдала свое название. Кусала она яростно и с размахом. Первые ряды смутьянов уже ползали на карачках. Бац! Бац! И готово. Бесноватые падали, как костяшки домино. И ни тебе дубинок, ни щитов. Только кулаки. Удары в солнечное сплетение и ребром ладони по пояснице. А мы, полицейские из районных отделений, как идиоты, топтались со своими щитами. Только что были в гуще заварухи — и вдруг остались без дела. Смотреть на «Кобру» было одно удовольствие. Никакой толкотни, ни одного лишнего движения. Несколько крепких ударов — и первые ряды, можно сказать, полегли, а остальные бросились бежать. Прямо зависть брала. И мы вдруг поняли, что наш хваленый «бёгль» и другие тактические приемы, которые мы без конца разучивали, вроде фиговых листочков. Нас обучали переносить детские и инвалидные коляски; может быть, мы неплохо гасили кабацкие драки; из года в год сдавали нормативы по стрельбе, а вот в уличных боях все мы как моряк в седле.

Теперь вдруг даже надежда блеснула, что «Коб-

ра» вытащит нас из дерьма. Этот маленький отряд был гораздо боеспособнее, чем целая рать полицейских из Граца, которых мы все еще напрасно ожидали. Парни не церемонились, они работали точно сенокосилка, и кто из смутьянов еще стоял на ногах, давал тягу. Я чуть не задохся от восхищения. Ну прямо Астерикс и Обеликс. Есть, значит, полицейское формирование, которое в состоянии покончить с нашими бедами. Эта битва могла иметь решающее значение не только для событий одного дня, она могла вообще изменить жизнь. Стало быть, есть возможность обуздать всех этих наркоманов, хаотёров, извращенцев, бродяг и прочий сброд, который отирается в переходе на Карлсплац. Есть такие средства, и — мне аж не верилось — их даже применять можно. Вызвали еще одну карету «скорой помощи».

И вдруг раздался какой-то резкий сухой хлопок. Я сразу понял: это — выстрел. Несколько минут назад мне даже не терпелось его услышать. А теперь я ушам своим верить не хотел. Кто стреляет? Наши или нет? Звук донесся со стороны «Мюзикферайна», откуда пограничники пытались пробиться к нам. Неужели пальнули они? В таких ситуациях в голову приходит все разом. Могло

случиться, что с крыши свалился на тротуар какой-нибудь предмет. Удивительное дело, мы сразу, не сговариваясь, заткнули за ремни дубинки и вытащили пистолеты. И я уже задумался: а что нам сейчас-то мешает открыть огонь? Я всегда стрелял неохотно. Вы уж поверьте. В детстве я часто наблюдал, как отец убивает свинью из малокалиберной винтовки. Он стрелял четыре раза в год. Я смотрел как заколдованный: к свинье не прикасаются, а она падает замертво. Отец нажимал на спусковой крючок, раздавался выстрел, причем не особенно громкий, у свиньи появлялась черная дырка между глаз, и она валилась наземь. Как-то мне приснилось, что я — свинья. Отец в меня целится, а мне не объяснить ему, что я его сын. Должно быть, я закричал, потому как мать меня разбудила. «Все хорошо, — говорит, — это только приснилось».

Потом, когда я уже ходил в полицейскую школу, мне привелось пару раз пристреливать свиней. Странное было чувство. Свинья-то ни в чем не повинна и никому ничего не сделала. Ее откармливали, за ней ухаживали, с ней разговаривали. А в один прекрасный день просто убивают, чтобы съесть. По правде говоря, я считаю это более жестоким делом, чем стрелять в преступников.

Если бы те вели себя по-хорошему, никто бы в них не стрелял. А свинье так или иначе пули не миновать.

Смутьяны забегали, удирая кто куда. И снова раздались выстрелы, четыре или пять, один за другим. Теперь уже со стороны Сецессиона. На какой-то миг все как будто разом затаили дыхание. И тут прогремели еще два выстрела. И поднялся страшный рев, площадь превратилась в растревоженный муравейник, все заходило ходуном. Голоса постепенно сливались в хор, и опять раздалось: «У-бий-цы! У-бий-цы!» До нас дошло, что до сих пор спасало какое-то чудо. И вдруг в нас полетели не только камни и доски, но и бутылки с «коктейлем Молотова». Мы образовали заслон из щитов. Прямо посреди огненного круга. Я хлопал по спине своего товарища, сбивая огонь с его одежды. Другой уже повалился и звал на помощь. Наш начальник стал стрелять в воздух. Мы — то же самое. Я весь магазин израсходовал.

Инженер
Пленка 6

Чаще всего я встречался с *Нижайшим* по ночам. Если позволяла погода — на улице, но иногда и в ресторанах. Как правило, в ресторанах на Гюртеле или поблизости от него. Нередко даже в гостиничных кабаках, где тусуются иноземцы, в скопищах сербов, хорватов, боснийцев, македонцев, черногорцев, словаков, румынских цыган. Меню, кишевшие ошибками, и номера, из-за дверей которых не долетало ни одного немецкого слова, обладали для *Нижайшего* магической притягательностью. Он называл эти визиты *полевыми экспедициями.* А чтение меню — *работой с источниками.* После возвращения я ни разу не видел на его лице улыбки. Он всегда был серьезен и как бы недосягаем. И сосредоточен. Но в этих приютах инородцев его лицо утрачивало черты суровости. Создавалось впечатление, что именно здесь ему было как нельзя лучше. Порой, когда он откидывался на спинку стула, слушая музыку и разглядывая людей, мне казалось, что на его лице появляется едва уловимая улыбка. Я обратил вни-

мание, что посетители таких заведений хорошо знакомы между собой. Мужчины похлопывали друг друга, клали руки на плечи соседей. Сидели или стояли, кучкуясь, и вынашивали какие-то планы. Иногда им не удавалось договориться и они повышали голоса. После чего бросали на нас косые взгляды или заговаривали с нами на незнакомом языке, словно хотели убедиться, что мы действительно их не понимаем. Вроде бы они поднимали в нашу честь бокалы или приглашали сообща выпить. *Нижайший* смотрел в их сторону и отрицательно покачивал головой.

— Мы доведем наше дело до конца, — сказал он так тихо, чтобы они не услышали, — прежде чем взойдет посев на ваших огородах. Мы погоним вас по Восточному автобану назад, в ваши деревни. Там вы можете плести свои заговоры, сколько душе угодно, и продавать неграм свой лук.

Официантку, которая принесла нам две кружки пива, он удивил такими словами:

— Все, что бы мы ни делали, мы делаем для вас. Она прыснула.

— Только будьте осторожны. Наши мужчины очень ревнивы.

Нижайший был всеведущ. У него были, как мы постепенно стали догадываться, надежные

контакты с полицией. От кого он получал информацию и как поддерживал связь, я тогда еще не знал. Судя по всему, это был хороший источник, получавший достоверные сведения из отдела Резо Дорфа. Когда *Нижайший* дал нам первые намеки на то, что Армагеддон может иметь отношение к балу в Опере, он был прекрасно информирован о мерах безопасности. Он знал секторы ответственности внутри исполнительной власти и полномочия, предоставляемые полиции. Он знал, кто из чиновников смотрит на нас сквозь пальцы, а кто зорко за нами следит. Нам он назвал только одно имя — майор д-р Ляйтнер. Это был главный полицейский юрист. К нему нам следовало апеллировать в случае ареста.

Но мы в его услугах не нуждались. Никаких арестов не было. Мы вели себя сверхосторожно.

Теперь *Нижайший* только изредка собирал нас для *причастия.* Так он стал называть наши встречи.

«Всякое сборище — это риск», — говорил он. План Армагеддона мы знали лишь в общих чертах. Но каждый постепенно был введен в курс своего задания, к которому должен был основательно готовиться. Мне надлежало достать большую дорожную сумку из твердой искусствен-

ной кожи. А предварительно надо было побегать по универмагам и выяснить, какие из них чаще всего бывают в продаже. Потом следовало отыскать уединенный пруд, точнее, котлован со щебеночным дном. Он должен находиться недалеко от Вены и отвечать еще одному условию — чтобы до него можно было легко и незаметно добраться на машине. О том, что поручалось другим, знал только *Нижайший.* Ну, может быть, еще и Файльбёк. Во всяком случае, он имел сведения, которые не доводились до остальных посвященных. Тогда он был правой рукой *Нижайшего.* И его единственным критиком. Файльбёк вел себя как-то старомодно. Он готов был спорить по любому вопросу. Как и прежде, он требовал регулярных встреч.

— Я не против, называй это причастием, — сказал он *Нижайшему* во время причастия на территории какой-то давно закрытой фабрики во Флоридсдорфе. — Важно, чтобы мы встречались и могли все обсуждать.

— Нет, — ответил *Нижайший.* — Встречи возможны лишь в том случае, если они безусловно необходимы в стратегическом отношении и если мы найдем для этого абсолютно безопасное место.

То, что это — последнее слово, не подлежало сомнению, и возражения Файльбёка повисли в воздухе. Прежде всего *Нижайший* вызывал нас с каждым в отдельности для разговора. Позднее Файльбёк назвал это «индивидуальной диетой». О том, когда и где состоится встреча, мы узнавали буквально накануне. Тот, кто получал послание от *Нижайшего,* бросал все дела, вопреки любым своим планам. По-прежнему практиковались фиктивные объявления о потере или пропаже, но иногда вызов передавали устно, это делал тот, кто приходил от *Нижайшего.* Если объявление о потере предназначалось только для одного из посвященных, слово «телефон» было написано крупными буквами. Такие листочки, естественно, никогда не появлялись на стройплощадке, поскольку тогда нам было бы не понять, кто имеется в виду.

Вообще, чтобы не поставить Армагеддон под угрозу срыва, нам бы следовало прекратить общаться между собой. Но оказалось, что избежать встреч практически невозможно. Жердь работал кельнером в ресторане большого универмага на Марияхильферштрассе, Панда работал в магазине пластинок на Нойбаугассе, то есть сразу за углом. А мы, стройбат, как нас называли, и

так виделись каждый день. В то время, когда мы стали группой *Непримиримых,* наша фирма как раз начала ремонт кинотеатра «Аполло». Я поступил на эту стройку в качестве технического ассистента архитектора. И рано утром, как только я поднялся на леса, там уже стояли Бригадир с Пузырем. Они тоже записались на стройку, хотя мы заранее ни о чем таком не договаривались. От кинотеатра «Аполло» до Марияхильферштрассе рукой подать. Вот и получилось так, что каждый из нас оказался на территории, где встреча с другим *Непримиримым* была наиболее вероятна.

Кому бросится в глаза, рассудили мы, если пару раз в неделю, и чаще всего даже не в полном составе, мы ходим обедать в универмаг? Разве коллегам возбраняется посидеть за одним столом? Ресторан самообслуживания был выгорожен в отделе спорттоваров. Оранжевые тона стен и мебельной обивки поначалу привлекали клиентов. Но стоило им нагрузить подносы и расположиться за столиками, как оранжевое буйство начинало их раздражать, и они поспешали как можно быстрее вернуться в торговый зал. В ресторан поднимались либо на лифте, либо по эскалатору через отдел спорттоваров. По понедельникам и четвергам подносы убирал со столов

один наш знакомый, очень любезный человек. По вторникам, средам и пятницам он же сидел за кассовым аппаратом и при этом незаметно делал нам скидки, поэтому мы старались встречаться в эти дни.

Собравшись, мы никогда не говорили о *Нижайшем.* Нельзя было исключать, что нас наблюдают или подслушивают. Но даже когда мы чувствовали себя в безопасности, о *Нижайшем* никто и не заикался. Каждый думал, что другим он доверяет больше, чем тебе, что другие лучше осведомлены о его связях и, возможно, участвуют в добыче информации. Поскольку в то время я мало что знал об Армагеддоне, у меня создавалось впечатление, что *Нижайший* не вполне доверяет мне. Я рассказывал ему все, только бы положить конец этому обидному недоверию. Но я исходил из того, что и другие выкладывают ему все. Ведь наверняка среди нас были такие, кто пользовался безграничным доверием *Нижайшего.* Но кто они, эти по-настоящему посвященные? Был ли таковым Файльбёк? Скорее всего, да. Но не исключено, что и Бригадир. Если бы он доложил *Нижайшему,* что я обижен его недоверием, разве не стало бы это неопровержимым свидетельством *моего* недоверия?

Так что был резон соблюдать правила игры. Заводить разговор о *Нижайшем* означало бы бросать тень сомнения на какие-то его качества и действия. А сомневаться-то было не в чем. Все шло хорошо. Мы были со всем согласны. Кроме того, мы поклялись никогда, даже при отсутствии всякого риска, не упоминать о *Нижайшем* и Армагеддоне.

Говорили мы в основном о прежних временах и о том, что могли бы отчудить, будь мы прежними. Похоже, каждый из нас в душе сожалел, что миновали те деньки, когда мы шерстили Гюртель. Теперь нам оставалось пассивно наблюдать, как с каждым днем наглеют черномазые. В кабаках на Гюртеле, да и здесь, на Марияхильферштрассе, они сговаривались между собой и загребали то, что им было нужно.

Пить мы не бросили, но потребление алкоголя свелось к бокалу вина с содовой за обедом. А позволял ли себе кто-нибудь пару бутылок пива по вечерам, когда оставался один, я сказать не могу. Что касается лично меня, то я не нарушал уговора.

Как-то раз за обедом у нас поднялось настроение и взыграла фантазия. Бригадир, намекая на учрежденный *Правительственный комитет по*

борьбе с происками неонацистов, высказал идею:

— Давайте создадим комитет по перевоспитанию черножопых, которые воруют в магазинах, и предложим свои услуги этому универмагу.

Пузырь, разделываясь с запеченной рыбой, развил эту мысль:

— Надо оборудовать производственное помещение в подвале универмага. Нас бы вполне устроили десять процентов от суммы, которую сэкономит заведение благодаря нашей работе.

— Супер! — сказал Панда. — Как поймаем черненького, первым делом спросим, не проголодался ли он? Ведь у них якобы разрешается воровать, только если голод подопрет. Если этот сраный гость скажет, что хочет кушать, мы заставим его сожрать все наворованное.

— А пока, мол, не слопаешь все вместе с упаковкой, ты отсюда не выйдешь, — продолжил Пузырь. — Уж мы его попотчуем, впихнем ему в рот и сыр, и лак для ногтей, и шариковую ручку. А то, что не сожрет, вобьем ему в пасть, будь то хоть напильник, хоть рашпиль или гаечный ключ.

Мы раздухарились и заказали еще вина. Начались импровизации на тему, какое широкое поле деятельности открывалось бы перед нами, если бы мы были все теми же парнями из Рап-

поттенштайна. Мы свяжем черножопому руки и разомкнем челюсти. Потом вгоним ему в пищевод напильник, рашпиль и гаечный ключ, после чего сомкнем ему челюсти, пока кровь из ушей не хлынет. Нож и другие острые предметы должны войти в него более коротким путем — ударом в брюхо. У баб стибренные столовые приборы найдут себе место во влагалище, после чего оно будет закрыто на засов с помощью вилки. Если предметы слишком громоздки, придется разрезать живот. Мы запрессуем книги, компакт-диски, электронные игрушки, электродрели в самое дерьмо, а потом наложим швы. Но не забыть бы заранее врубить на полную мощь магнитофон. А потом скажем: «Вот и все дела, теперь можешь идти. Если на выходе запищит контрольный аппарат, передай привет от нас. Твой живот у тебя отнять никто не сможет».

Мы уже недели две валандались с ремонтом кинотеатра, как вдруг к нашему столику в ресторане подходит Жердь.

— Там, сзади, — шепнул он.

— Кто? Что?

Он кивнул в сторону столика у окна. Там сидел Файльбёк. На нас он не обращал внимания, то пялился в газету возле своей тарелки, то косился

на окно. Похоже, он и про еду-то забыл. Файльбёк сидел на другом краю зала. Там обслуживала молодая коллега Жерди. Потом он заказал еще кофе. Мы давно отказались от кофе. Нам это далось лете всего. Может, Файльбёк своим кофепитием хотел подать нам какой-то знак? Прихлебывая, он читал газету. На нас так и не взглянул. Должно быть, его послал *Нижайший,* подумали мы сперва. Надо было указать нам на какую-то ошибку. Но Файльбёк мог бы и сказать об этом. Или же своим молчанием он хотел намекнуть, что нас пасут? Мы на крючке у полиции? Файльбёк проследовал мимо нас к выходу, не проронив ни слова и не глядя в нашу сторону.

Теперь уже мы обедали поочередно. Со дня на день могло прийти сообщение. Файльбёк приходил и садился в тот же угол, избегая всякого контакта с нами. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Пузырь не пришел с известием: «Пятница, пятнадцать ноль-ноль, парк Антона Бенья».

Файльбёк не доверял нам. Он думал, что по указанию *Нижайшего* мы встречаемся, следуя некоему плану, который не только не предусматривает участия его, Файльбёка, но и, возможно, направлен против него. Он хотел показать нам,

что знает все и видит нас насквозь.

Но в то время нам нечего было скрывать от Файльбёка, да и оснований для этого не было. Наш уговор вроде бы соблюдался. Или все-таки нет? Правда открылась мне лишь позднее. Если *Нижайший* ослаблял поводок, то не потому, что доверял нам, но для того, чтобы понаблюдать за нами. Он никогда не исключал возможности предательства. А может, хотел даже подтолкнуть к нему.

Я постарался — и, наверное, не только я, — чтобы *Нижайший* узнал о наших встречах в ресторане и в парке. *Нижайший* узнал все. От него было просто невозможно что-то утаить. Он зацепил мой мизинец своим и потянул на себя.

Никто не мог перечить ему. Эти сцепленные пальцы были клятвенным знаком нашего союза. Это как заклинание, требование полной откровенности, хотя я еще вчера считал, что прежде надо бы какое-то время понаблюдать за поведением Файльбёка. *Нижайший* отпустил мой палец только тогда, когда мне уже нечего было сказать.

— Замалчивание интриги, — сказал он, — хуже самой интриги. Интриган смел, он действует, он преследует свою цель. А молчаливый наблюдатель — трус, он вручает свою судьбу другим.

Молчальник заслуживает более сурового наказания, чем тот, кто действует.

И хотя у меня не было особо интересных сведений, я рассказал *Нижайшему* все. А может, даже больше, чтобы добиться еще большего доверия. О лжи и клевете не могло быть и речи, а вот преувеличения — это, так сказать, объективная правда. Скрытая рекомендация. Но мне приходилось осторожничать. Иногда *Нижайший* внезапно выпускал мой палец, и он отскакивал так, что я получал щелчок. В таких случаях лучше было прервать рассказ, поскольку он явно не интересовал *Нижайшего.* Иное дело, когда речь заходила о Файльбёке. Я использовал возможность сказать что-то с глазу на глаз, без участия других.

А *Нижайший* в любом случае не подал бы виду, что ему уже что-то известно. Возможно, каждый из нас думал тогда, что только он удостоился указать на изменника.

На второй неделе мая, если не раньше, выяснилось, что Файльбёка можно встретить в парке Антона Бенья по пятницам, после обеда. Это время устраивало только нас троих из «стройбата», так как Панда и Жердь были заняты на работе. В парке было немноголюдно. В основном — дети с мамашами, ожидавшими нового приплода.

Иноземцы сюда совались редко. Однажды тут резвилась ватага славянских детей, они взрывали петарды и срывали розы с кустов. Мы выдали себя за полицейских, надзирающих за иностранцами. После чего влепили каждому по паре оплеух.

— Если еще хоть раз увидим вас здесь, — пригрозили мы, — посадим в свою машину.

Они бросились наутек, потирая щеки. А вообще это был тишайший парк в Вене. На скамейках или уголках песочниц сидели женщины в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет и рассказывали друг другу обо всем, в чем выражалась жизнедеятельность их чад. От завтрака до ужина, от шалостей при надевании трусиков утром до капризов при чистке зубов вечером. И все это передавалось без малейших пропусков и изъятий. В правой руке у каждой — кошелка с бутылочками, в левой — свитерок и курточка, которые их детки упорно отказывались надевать даже в седьмом часу вечера, когда солнце скрывалось за крышей Дома радио, и рассказы матерей переходили в монотонные призывы: «Надень же свитерок, холодно уже!» Впрочем, у них в животах, которые они украдкой поглаживали, уже шевелилось очередное потомство. Около семи появлялись отцы с пышными бородами и забирали у матерей

свитера и кошелки.

В самой глубине парка, куда даже в послеобеденное время редко заглядывают мамаши с колясками и дети на велосипедах, сидел Файльбёк. Бригадир, Пузырь и я подвалили каждый своим путем. Я от станции метро «Карлсплац» поднялся по Аргентинерштрассе, Бригадир оставил свою машину где-то рядом с Элизабетплац, Пузырь приехал на автобусе 13А. Уже при этой первой встрече было ясно, что Файльбёк катит бочку на *Нижайшего.* Не то чтобы он нападал открыто, он говорил достаточно обтекаемо, призывал учитывать все обстоятельства, делился размышлениями, говорил о тактических моментах, которым *Нижайший* уделял слишком мало внимания. С каждой встречей он становился все откровеннее.

— Стивен Хафф великолепен, — вещал Файльбёк. — Но он склонен к путчизму. В этом его сила и слабость одновременно. Ни слова против Армагеддона. Да, *Нижайший* полностью сосредоточен на этой цели. Каждая деталь точно спланирована, всякая мелочь предусмотрена. Но что из всего этого выйдет? Без широкой поддержки мы не выдержим этой пробы сил. Христианство победило не потому, что сжигало на кострах ведьм и ере-

тиков, а потому, что народ тысячными толпами валил к местам казней и хлопал в ладоши.

Никто из нас и не думал, что претензии Файльбёка к *Нижайшему* отпали сами собой. Но мы никак не ожидали, что он выскажет их. К тому же это было вопиющим нарушением нашей договоренности. Файльбёк не побоялся распространяться в общественном парке и про Армагеддон, и про *Нижайшего.* Всякий прохожий мог стать свидетелем этого разговора. К счастью, мамашам наши встречи были до лампочки. Никто вроде бы не интересовался нами. На самом деле у нас был только один свидетель. Он не присутствовал, но ему незамедлительно передавали содержание разговоров, и он слышал это не раз и от разных источников. *Нижайший* посоветовал мне не особо перечить Файльбёку, а наоборот — подыграть ему. Без перебора, так, чтобы не заронить подозрение. Но если я приму кое-какие его аргументы, он станет еще откровеннее. То же самое *Нижайший* наверняка говорил и другим.

— Ну хорошо, — сказали мы Файльбёку. — Ты что же, хочешь теперь отречься от огненного крещения и опять поскрести Гюртель?

— Нет, отрекаться не хочу, — ответил он. — Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Предпо-

ложим, план удался и власть повержена. Мы вынырнули из ниоткуда и должны в случае неудачи так же быстро исчезнуть. А как же притязания на руководство? Кормило нам не вверить, а без малейших сомнений *доверить* должны. *Поэтому для движения, поставившего великие цели, смерти подобна утрата связи с народной массой. И ко всем вопросам надо подходить с этой позиции.* А мы только и знаем, что прячемся.

— И как ты себе это представляешь? Что мы должны делать? Листовки разбрасывать и трубить на весь мир, что готовим акцию в Опере?

— Не надо казаться глупее самих себя, — рассердился он. — Или у вас есть резон притворяться идиотами?

Его голос становился все громче. Файльбёк почти кричал. Он обвел нас взглядом, всех поочередно. Было такое чувство, что нас просвечивают.

— Ну почему вы прикидываетесь недоумками? Это же каждому дебилу должно быть понятно.

Последнюю фразу он произнес тихо, чуть слышно.

— Что именно?

— Что мало иметь врага. Надо его обозначить.

— Но ведь именно к этому и должен привести

Армагеддон.

— Должен и может, да не приведет, — сказал Файльбёк. — Враг не падает с дерева, как созревшее яблочко. Тогда его никто бы не заметил, он был бы одним из многих. Враг должен, наподобие старого деревенского колодца, быть центром жизни. Его надо холить и лелеять. Сделать из него видную, запоминающуюся фигуру. Выполоть вокруг всякую дикую поросль. Даже если он чуть высовывается, пусть каждый вообразит, что перед ним гигантский и грозный образ, и, устрашась, хоть на секунду, признает: это он, вот он какой. Чтобы в следующие секунды вздохнуть с облегчением: наконец-то он показался. А теперь засучить рукава — и за дело! Общее дело. Но если Армагеддон будет происходить так, как задумано, враг рванет на себе рубаху, и люди начнут спорить о том, кто это такой. Враг может явиться только тогда, когда существует его образ.

— Как это понимать? — с притворным удивлением спросили мы. — Это значит, ты уже не с нами?

— Нет, это ничего не значит, — ответил он и выразительно подтвердил: — Я целиком и полностью с вами. Мы соберемся в железный кулак. То, что я уже не первую неделю порываюсь вам

сказать, вообще не имеет отношения к Армагеддону. Но железный кулак — это еще далеко не все. Мы, как боксеры, должны работать обоими кулаками. Один, тот, который сильнее, до времени остается в защите, готовя решающий удар. Это у нас получилось. Но нам не хватает второго кулака, который дразнит и провоцирует противника, заводит его, заставляет раскрыться. Он-то и делает его противником. Люди еще задолго до решающего удара должны знать: здесь будет бой. Потом — удар. И вот он, победитель. Люди бегут только за победителем.

— Мы и станем победителями. Мы уничтожим врага. И все идет как раз к тому.

— План *Нижайшего,* — сказал Файльбёк, — гениален тем, что наш удар как таковой будет незримым. Он зримо проявится в закамуфлированном виде как варварский удар по невинным людям. Этим приемом мы сметем врага с арены. Но зато мы и не сможем встать в гордую позу и заявить: мы победители. Люди должны видеть нас в процессе боя. Они же должны прогнать врага, которого демаскирует наш удар. Не нам самим, а народу объявлять нас победителями, потому что он сыт по горло половинчатыми решениями. Люди поймут: им грозит то, от чего мы

всегда предостерегали: демократический бурьян заводит в бездну катастрофы.

Я собрался с духом и сказал:

— Файльбёк, ты нарушил клятву.

— Знаю, — ответил он. — Я нарушил клятву. Но лишь для того, чтобы сохранить ее смысл — победу Третьего Царства народов белой расы.

Клаудиа Рёлер, домохозяйка
Пленка 1

Если в пять утра начинал надрываться телефон, значит, звонил мой отец. Была у него такая невозможная манера. Очевидно, раз в несколько дней, и уж по крайней мере раз в неделю, он пробуждался с мыслью обо мне. Не могу сказать, звонил ли он еще кому-то. Моей сестре, во всяком случае, он не звонил. Однажды я не взяла трубку. Тогда он наверстал упущенное после обеда и был явно обижен. Таким глубоко уязвленным я его и представить себе не могла.

Сколько себя я помню, отец ни свет ни заря перебирался в свой кабинет. Никому не дозволялось беспокоить его. Встав с постели, я была вынуждена, как мышка, прошмыгивать мимо его двери. Иногда, заслышав какой-нибудь звук, я останавливалась у двери. Он расхаживал взад и вперед. Под его тяжелыми шагами скрипели половицы, в этом угадывался определенный цикл: от письменного стола к порогу и обратно. Он напоминал тигра в клетке. Мать жестом одергивала меня, как будто я могла потревожить его,

стоя под дверью.

— Оставь его в покое, — шептала она. — Он думает.

В ванной пахло одеколоном. Отец каждое утро протирал им лицо. В четверть восьмого, отправляясь в школу, я стучала в его дверь, чтобы напечатлеть прощальный поцелуй. Сам он меня не целовал, только подставлял свои свежевыбритые надушенные щеки; я поочередно касалась их губами. Если при поцелуе не втягивала губы, то, спускаясь по лестнице, чувствовала на них горький привкус.

Когда он позвонил мне во Франкфурт и с утра пораньше сообщил, что хочет пригласить нас на бал в Венской опере, я отбросила всякий политес:

— Не пойдем мы ни на какой бал! Что мы там потеряли? Герберт наверняка будет не в восторге. Да и мне эта идея, честно говоря, не нравится.

Герберт лежал рядом со мной и покачивал головой. Но отец не отступался. Несколько дней спустя, в самом начале рождественских праздников, мы приехали к нему в Берлин с подарками. С тех пор как он остался один, я не раз предлагала ему встретить Сочельник у нас. Он отказывался. Сначала я думала, это из-за Герберта, но он не

желал ехать и в Вену к Зигрид, моей сестре.

Впервые мы не взяли с собой обоих наших сыновей. Они вместе с друзьями отправились на Аттерзее, где у нас был дом. Около полудня мы поехали в Берлин, по пути высадив их у Главного вокзала. Отец рассчитывал, что мы приедем с детьми. В комнате Зигрид он положил на кровати два больших пакета для них. Он был разочарован. Раньше он не очень-то заботился о внуках, предоставив это матери. А после ее смерти стал интересоваться ими. Он затевал с детьми долгие беседы. После чего давал мне советы.

Отец не преминул позвонить в ресторан, чтобы заказать столик. Там он, седой как лунь, сидел напротив нас, ухватившись руками за столешницу, и ораторствовал.

Сценарий был неизменен. Сначала он изъявлял желание выслушать нас, узнать, что нового в нашей жизни и каковы наши взаимоотношения. Об этом он спрашивал, не церемонясь. А потом уже говорил только он. Он мог, особенно в подпитии, произносить нескончаемые речи. Правда, бывали моменты, когда отец всерьез опасался наскучить слушателям. Он навис над столом, чтобы дотянуться до наших рук. И при этом сказал:

— Сократ на вопрос: стоит жениться или нет? —

якобы ответил так: «Какой бы выбор ты ни сделал, тебе придется раскаяться».

— Не ты ли говорил раньше, что это слова Кьеркегора? — спросила я.

— Он их оприходовал, но изначально изречение приписывается Сократу.

Отец цитировал это сотни раз, даже произнося речь за нашим свадебным столом. И всегда в качестве источника называл Кьеркегора. Вероятно, кто-то раскрыл ему глаза на ошибку.

Потом он опять вдруг заговорил о бале в Опере. Отец рассказывал, что в 1939 году, когда он был молодым доцентом, бал в Опере случайно пришелся на день его рождения — 21 февраля. Он был тогда влюблен в ассистентку кафедры театроведения и пригласил ее на бал.

— И хотя там мозолили глаза свастики на рукавах, — вспоминал он, — и даже пришлось выслушать речи нескольких нацистских шишек, бал все же удался на славу. Твоя мать простит мне, если я скажу, что это была великолепнейшая ночь, это был самый прекрасный день рождения в моей жизни.

Должно быть, он просто боготворил ту девушку. Он продолжал на свой лад мечтать о ней, как будто моя мать, на которой он женился полгода

спустя, была для него важна лишь тем, что положила конец его томлениям. В чем заключалась причина его разрыва с ассистенткой — ответа на этот вопрос мы от него так и не добились, несмотря на все наши усилия. В Вене она стала профессором и давно вышла на пенсию — вот и все, что нам удалось узнать.

— Нынешний бал, — сказал отец, — опять случайно совпадает с днем моего рождения.

Герберт коснулся ногой моей ноги и чуть заметно кивнул.

— Хорошо, отец, но боюсь, тебе будет не хватать твоей ассистентки.

— Но в мыслях я буду с ней.

Он снова дотянулся до нас руками и выразил свою благодарность.

— Знаете, я уже настолько стар, что у меня осталось не так много желаний, которые вы можете исполнить.

Добившись нашего согласия, отец пришел в веселое расположение духа. Он заказывал все новые напитки. Затем мы наведались в гостиничный бар. За последние годы я еще не видела в отце такого прилива жизненных сил. Он заказал коньяк и воду. Крепкие напитки он переносил только в том случае, если обильно запивал их

водой. Оркестрик в красных ливреях играл что-то тоскливое. Поскольку свободных мест вокруг не было, за наш столик сел еще какой-то мужчина. Отец тут же втянул его в разговор. Это был бывший матрос из бывшей ГДР, который служил теперь агентом страховой фирмы и хорошо зарабатывал. Спрос на страховые услуги был, несомненно, высок. Но наш собеседник все больше говорил о море, рассказывал о суровых нравах и железной дисциплине, царивших на корабле. Отец совершенно неожиданно прервал его репликой:

— Теперь я знаю, что доведу свою книгу до конца!

Вскоре после выхода на пенсию он опубликовал книгу, которая, надо полагать, была прохладно встречена в кругу специалистов. Это было заметно по реакции отца. Он не любил говорить об этом. Отец никогда не говорил о своих неудачах. И тогда у него появилась великая цель — взять реванш за промах. Каждый день ровно в пять утра он садился за письменный стол. Его кабинет ломился от книг. Так уж повелось. Книги закрывали все стены от пола до потолка. Позднее ими стала наполняться и спальня. Помню, как он собирался поставить там первый стеллаж. Мать

была против. Какое-то время ей удавалось настаивать на своем — до тех пор, пока для книг уже не осталось места даже в прихожей. Каждый год вызывали столяра, чтобы надстроить стеллаж. Отцу нравился красный цвет книжной мебели. И различные оттенки красного колера выглядели на стеллаже в спальне подобно годовым кольцам. Пять лет назад, после смерти моей матери, кабинет принял иной вид. Прежде его содержали в чистоте и порядке. Всех гостей первым делом вели в кабинет — освежиться аперитивом. Отец всегда умел производить впечатление. Но после смерти матери книжный фонд кабинета настолько разросся, что гостей усадить было некуда. Стол, кресла, все закутки, кушетка, печка на жидком топливе — все было завалено книгами и рукописями, а вскоре их штабеля почти закрыли пол. От письменного стола к двери вел теперь узкий коридор. По нему, как, вероятно, и в прежние времена, отец расхаживал взад и вперед. Наверное, не так быстро и, может быть, стараясь не упустить мысль, которая только что его посетила.

Чтобы дозвониться до него в первой половине дня, надо было звонить ровно в девять. В более раннее время он к телефону не подходил, а позд-

нее отправлялся завтракать в кафе «Эйнштейн». Рано поутру он завтракал дома. Однако после все равно шел в кафе «Эйнштейн», где выпивал еще чашечку кофе. Он говорил, что сохранил эту привычку со времен своей венской жизни. Но мать утверждала, что в Вене он редко посещал кофейни и что в привычку это вошло только в Берлине. Кафе «Эйнштейн» он выбрал не из почтения к знаменитому коллеге, а потому, что оно находилось поблизости от дома, и еще по той причине, как он часто подчеркивал, что там гостей угощали еще и австрийским еженедельником. Мать напоминала ему, что он начал ходить в кафе за несколько лет до того, как еженедельник «Профиль» вообще появился на свет, и не сам ли он добивался расширения печатного ассортимента в кафе за счет австрийского издания. Когда я приезжала в Берлин, мы выбирали местом встречи «Эйнштейн». Мне надлежало подойти позднее, после девяти. Ему было угодно посидеть часок наедине со своими газетами.

Однажды я появилась преждевременно. Я была уверена, что отец заметил меня. Но он и бровью не повел. Я села за другой столик и стала наблюдать за процессом его ознакомления с прессой. Всегда все те же три газеты: «Зюддой-

че», «Нойе Цюрхер» и «Хералд Трибьон». Он не очень хорошо владел английским, знал его в узкоспециальном объеме, это был английский математических конгрессов. В «Хералд» он вряд ли что читал, кроме заголовков. Больше всего внимания он уделял «Зюддойче», а раз в неделю — и «Профилю». Австрийскими политическими новостями он все еще интересовался больше, чем немецкими, хотя уже тридцать пять лет жил в Берлине. Зигрид, моя сестра, которая вернулась в Вену, вынуждена была часами рассказывать об Австрии. При чтении он надевал массивные роговые очки. Когда они оказывались на столе рядом с кофейной чашкой, это был сигнал, означавший, что я могу к нему подойти. Отец делал вид, что только в эту секунду я попала в его поле зрения, он приобнимал меня и подставлял щеки для поцелуев. После чего становился необычайно щедрым. Каждая встреча с отцом была маленьким праздником. Он неизменно настаивал, чтобы я заказывала как можно больше.

Когда из кафе «Эйнштейн» мы направлялись в большую квартиру, где последние пять лет отец жил один-одинешенек, он часто останавливался на улице, хватая меня за руки. Говорить и идти одновременно он не мог. В последнее время он

много мне рассказывал про свои школьные годы, про учителей гимназии «Штубенбастай». Его воспоминания на глазах принимали все более мажорный характер. Раньше его отзывы об учителях были однозначно суровы. Он утверждал, что ребенком оказался во власти кучки тяжелых невротиков и нельзя сказать, что почерпнул там нечто стоящее. Свою гимназию он называл школой оглупления, которая методично калечила наиболее одаренных учеников. И больше всего ему запомнилась школьная тирания. Но потом отец резко изменил свое мнение. И все чаще вспоминал учителей с благодарностью.

Мне показалось, что мы стоим на улице не меньше пяти минут, он держал меня за руку и говорил. В старые времена, когда он еще преподавал математику в Техническом университете, я иногда провожала его на лекцию от самого «Эйнштейна». Это был долгий путь. По городу отец почти всегда ходил пешком. Метро и автобусами старался не пользоваться. Если предстояла дальняя дорога, брал такси. Раньше он двигался очень стремительно. Мне приходилось прилагать усилия, чтобы идти в ногу с ним. Тем труднее было привыкнуть к тому, что он вдруг останавливался на пару слов или с каким-нибудь вопросом. На

протяжении многих лет один из них неизменно повторялся:

— Что будет, когда умрет Тито?

Я пыталась успокоить его:

— Да ничего особенного. Они объединятся вокруг нового главы государства, и все пойдет своим чередом.

Похоже, я не убедила его. В ответ он только буркнул что-то. Во время следующей прогулки он опять схватил меня за локоть и спросил:

— Что будет, когда умрет Тито?

Еще тогда, в 70-е годы, его мучили опасения, что после смерти Тито в Югославии начнется разброд народов. А после — он был убежден — в страну войдут русские. Разубедить его было невозможно, во всяком случае мне это не удавалось.

Выпадали дни, когда его лекция начиналась в девять утра и у него не было времени сидеть в «Эйнштейне». Тогда он покупал газеты. А поскольку днем отец не находил для них свободной минуты, он укладывал их в стопки возле письменного стола. Мать не решалась выбросить газеты, так как он уверял, что просмотрит их позднее. Мать старалась контролировать прирост этих кип, время от времени она извлекала самый нижний пласт и отправляла его в мусор-

ный ящик.

На второй день рождественских праздников по дороге домой, во Франкфурт-на-Майне, мы поразмыслили над странным желанием отца.

— Может, он надеется, — предположил Герберт, — что там появится и отставная профессорша-театроведка. А возможно, они даже втайне договорились о встрече. Кто знает, а вдруг он все эти годы встречался с ней, когда ездил на конгрессы в Вену.

Я подумала о том, что конгрессы в Вене он предпочитал всем другим. Так мне вдруг показалось. Но ведь вполне вероятно, что его тянуло туда по другой причине — там жила его дочь, моя сестра. Отец всегда, так сказать, темнил. Я не раз встречала его на улице с женщиной. Он видел только то, что у него прямо перед глазами, иначе просто никого не замечал. Отец всегда был настолько погружен в собственный мир, что не видел даже то, что бросалось в глаза. Многие вещи ему открывали газеты. В начале 80-х, когда был построен Ипотечный банк, разгорелась дискуссия по вопросам архитектуры. Один из критиков назвал здание банка бункером в фашистском вкусе. Отцу захотелось взглянуть на это сооружение. Я сказала тогда: «Ты же каждый день мимо него

ходишь».

Однажды, увидев его с женщиной, я пошла вслед за ними. Временами он останавливался точно так же, как на прогулках со мной. И опять-таки держал ее за руку, когда говорил. Я не выпускала их из виду, пока они не исчезли за дверями какого-то ресторана. У отца было два круга друзей. В одном из них чувствовала себя своей и моя мать, о втором же она ничего не знала, а он никогда не рассказывал.

Вскоре после Рождества телефон снова разбудил нас в пять утра. Отец сказал, что заказал два номера в отеле «Империал».

— А почему бы и на этот раз не остановиться у Зигрид? Места хватит на всех.

— В моем возрасте, — ответил отец, — нельзя исключать, что этот бал окажется последним. Поэтому я выбрал «Империал». Но лучше, если я буду знать, что вы живете в соседнем номере.

— История приобретает остросюжетный характер, — сказал Герберт. — Придется идти к Эрве Леже, тебе же нужно соответствующее платье.

— У тебя начинаются заскоки?

Мы отправились к Эрве Леже. Герберт работает в рекламном агентстве. Он хорошо зарабатывает. Но это было самое дорогое платье из всех, кото-

рые я когда-либо покупала. Абрикосового цвета, в обтяжку, но до самых каблуков, с разрезом чуть ли не от талии и глубоким декольте. Когда я его надела, трудно было различить, где моя кожа, а где материя.

— Это платье для вечерней тусовки в баре, а не для бала в Опере, — заметила я.

— Броско и бесстыдно, — сказал Герберт. — Так мы и заявимся на бал вместе с твоим отцом.

— И ты думаешь, нас впустят?

— А мы скажем, что я князь Гогенлоэ, а ты графиня Тютю.

В начале года нам вдруг пришлось задуматься, сумеем ли мы вообще пойти на бал. Отец позвонил еще раз. Во Франкфурте-на-Майне был показан гастрольный спектакль венского Бургтеатра по пьесе Томаса Бернхарда «Площадь Героев». Отец непременно хотел его посмотреть. Он был страстным театралом. Хотя современные пьесы редко приходились ему по душе. Томас Бернхард заинтересовал его только после появления пьесы «Площадь Героев», постановку которой в Берлине он не видел. Заинтригованный газетной статьей, он купил книгу с текстом пьесы и начал вовлекать Зигрид в бесконечные разговоры. Зигрид была разочарована венской инсцениров-

кой. А отец считал, что Бернхард точно описал ту страну, которую он знал.

Я собиралась сесть в машину и встретить его на вокзале, поэтому Герберт поехал на работу поездом городской железной дороги. Мы живем в Эшборне, за чертой Франкфурта. Я не хотела, чтобы отцу пришлось одолевать лестницы всяких переходов. К сожалению, в тот день произошла автомобильная катастрофа, и я застряла в пробке. К вокзалу подъехала минуту в минуту, но не могла найти места для парковки. У нас с этим туго, как ни на одном вокзале в мире. Тогда я просто приткнула машину к южному входу, рискуя тем, что, пока я хожу, ее отбуксируют. Платформа постепенно пустела. Отца нигде не было видно. Я шла вдоль вагонов. Не найдя его, я побежала назад, к кассовому залу. Наш вокзал уникален еще и тем, что не дает возможности нормального обзора. Неужели мы разминулись? А если так, то куда направился отец? К северному выходу, к южному? Или пошел через кассовый зал? У пиццерии в конце платформы стояла машина «скорой помощи», рядом топталось несколько человек. Взгляды были направлены на два локомотива, стоявших на соседних путях. Между ними маячил врач, он поднялся на платформу. За

ним — два санитара с носилками. На них лежал мой отец.

Он вышел не с той стороны вагона. Дверь должна была быть на запоре. Но оказалась незапертой. Отец упал на щебеночную насыпь и сломал правое бедро. Его доставили в университетскую клинику. Я бывала там каждый день. Поначалу это радовало его, а потом мое присутствие стало ему в тягость. Он стыдился своей оплошности.

— Надо предъявить иск железной дороге, — сказал он. — За то, что открыли не ту дверь.

— Герберт позаботится об этом, — ответила я.

Муж действительно что-то написал. Но вскоре мы усомнились в целесообразности жалобы.

— Здесь не Америка, — рассуждал Герберт. — Жалобой мы, возможно, добьемся увольнения какого-нибудь служащего, но твой отец от этого не разбогатеет.

Однако клиника уже поставила в известность полицию. Началось расследование. Чем оно закончилось, мы так и не узнали — отец отказался от всяких претензий. Мне кажется, он боялся предстать перед судом старым бестолковым неудачником.

Отец хотел выписаться, но его не отпускали, монтируя это тем, что у него не все в порядке с

кровью. Во время одного из посещений главный врач предложил мне через час зайти, чтобы исполнить кое-какие формальности, связанные с выпиской, и пояснил, что на днях господина профессора можно будет забрать домой.

— Кому тогда нужны отделения для выздоравливающих? — спросил позднее отец.

— Ты — совсем особый пациент, — ответила я.

Главный врач сообщил мне, что у отца рак. Весь организм в метастазах. Ввиду преклонного возраста и того обстоятельства, что он не особенно страдает, лечение, по мнению врача, вряд ли имеет смысл.

— Есть старики, — сказал он, — которые живут со своим раком еще многие годы и умирают зачастую вовсе не от него.

Я опустилась на стул. Врач сел рядом и прочитал мне длинное письмо, адресованное университетской клинике Берлина. Специальные выражения он переводил на общепонятный язык. Потом спросил, как ему поступить с письмом: отдать его мне или послать самому? Я взяла письмо. Главврач положил мне руку на плечо.

— Это может длиться долго, — сказал он.

Через два дня отца на больничном транспорте доставили в Эшборн. Мы поместили его в гости-

ной. Он лежал в гипсе. В туалет его приходилось носить на руках. Пользоваться судном он отказывался. Я взяла напрокат инвалидную коляску, но она оказалась в данном случае непригодной. Сестра сообщила о своей готовности приехать во Франкфурт. Отец был против. Он не хотел, чтобы с ним возилась вся семья. Тим, мой старший сын — он изучает экономику производства, — организовал свой день так, что имел возможность помогать мне. Он переносил отца, а я поддерживала загипсованную ногу.

И хотя мы изо всех сил старались угодить больному, его недовольство росло с каждым днем. Он хотел вернуться в Берлин.

— Это невозможно, — не соглашалась я. — Один ты будешь беспомощен.

Возразить на это было трудно. Я догадывалась, что если ему здесь чего-то не хватает, так это — работы, и предложила свой вариант: мы привезем из Берлина хотя бы небольшую часть книг и рукописей.

— Мне нужно все, — ответил он. — Все, что стоит на полках и разложено по кабинету. Но перевозка чревата такой неразберихой, что мне жизни не хватит расставить потом все по своим местам.

В самую рань, еще до утреннего туалета отца, я выехала в Берлин. С отцом остался Тим. Я купила пачку красной копировальной бумага. Отперев дверь, я вдохнула запах своего детства. Запах, которого нет нигде, кроме нашей квартиры. Я обошла ее всю, комнату за комнатой. И вдруг не удержалась и заплакала. Заползла под рояль и заревела. В детстве, когда у меня был день рождения, мы устраивали здесь игры. Отец покупал уйму карамели. Он рассыпал ее по полу. После этого я должна была выйти из комнаты. Отец договаривался с другими детьми, какая конфетка будет выигрышной. Я входила и собирала конфетки, пока не добиралась до той самой. И тут все хором кричали: «Мышка!» Тогда наступала очередь другого ребенка. Однажды они закричали, когда я притронулась Ко второй по счету, то есть мне больше ничего не доставалось. Я заползла под рояль и заплакала. Хотя точно знала, что на следующий день отец отдаст мне все оставшиеся конфеты. Я в тот день так развылась, что пришлось закончить праздник раньше времени. В общем, вспоминая это, я ревела в унисон с той девочкой, которой когда-то была. А потом вдруг рассмеялась. В ванной я вытерла слезы бумажными носовыми платками отца, подкрасила тушью

ресницы и подрисовала помадой губы.

В кабинете я первым делом составила на бумаге точный план расположения книг и рукописей. Пронумеровала позиции от первой до пятьдесят шестой. Потом собрала рукописи, начав с первого пункта. При этом не нарушала порядок в стопках. В книги, которые были раскрыты, вставляла закладки. Каждую стопку я пометила листочком красной бумаги с номером места расположения. За несколько часов было заполнено несколько чемоданов. Иногда отец писал статьи на английском, они почти сплошь состояли из формул. Он снимал с них бесчисленные копии, которые рассылал во все концы света. Копировальные аппараты в то время еще не могли выполнять сортировочных операций. Систематизируя копии, отец раскладывал их рядком на полу. Потом собирал и каждый манускрипт, прежде чем вложить в конверт, снабжал своего рода посвящением. Однажды, когда я собиралась в Вену к Зигрид, он вручил мне статью для передачи своем коллеге. Б верхнем углу от руки крупными буквами было написано: «Моему дорогому другу и высокочтимому коллеге Хофманну-Остерхофу как скромный знак памяти о днях, проведенных вместе».

С посвящениями он всегда перебарщивал. То же самое можно сказать и о записях, которые он оставлял во всякого рода книгах отзывов. Отец всегда делал это размашисто во всех отношениях.

Из опасения, что рукописи могут перемешаться, я не рискнула ставить чемоданы вертикально. Вызвав привратника, я заплатила ему двадцать марок. Он помог перенести чемоданы в машину.

Еще ночью мы освободили для отцовских сокровищ комнату Герберта. Она примыкает к гостиной. Герберту не достался уголок в гостиной. Сначала он, мягко говоря, был удивлен, но в конце концов согласился и стал помогать мне. Все равно в последнее время он редко работал дома. Обстановку его комнаты я пополнила несколькими стульями и табуретками. Затем разложила книги и рукописи точно в таком же порядке, в каком они располагались до переезда во Франкфурт. Идти спать уже не имело смысла. В пять утра я нанесла отцу визит с чашечкой кофе и открыла дверь в комнату Герберта. Поначалу отец будто лишился дара речи, а потом пробормотал нечто странное:

— Ты рождена быть женой исследователя.

Спустя время ему сделали новую гипсовую

повязку, дававшую возможность ходить хотя бы по квартире, и он смог пользоваться новообретенным кабинетом.

В те дни он сказал, что в жилах Тима течет кровь театрала. Если уж он не расстанется со своей экономикой, то пусть хоть пытается стать коммерческим директором Бургтеатра. Метить ниже ему непозволительно.

Освоившись с новой повязкой, он в самую рань ковылял, опираясь на костыли, в смежную комнату, и я вспоминала детские годы. Даже Герберта я пускала в его же комнату скрепя сердце, только когда ему надо было взять из шкафа какую-нибудь книгу для работы. Однажды отец позвонил мне в пять утра: в кабинете Герберта был телефонный аппарат с собственным номером. Отец сказал:

— Мы все-таки пойдем на бал в Оперу.

Предощущение радостного события ускорило процесс выздоровления. Восемнадцатого февраля сняли гипс. После этого он не мог ходить даже на костылях. Но отец упорно упражнялся. Двадцатого он объявил за завтраком, что уезжает в Берлин, а на следующий день улетит в Вену. Мы, естественно, сочли это абсурдом. Выяснилось, что для него сейчас самое главное — в спокойной

обстановке выбрать соответствующий костюм из своего гардероба. Я отвезла его в Берлин на машине и помогла подняться в квартиру. Попросила отца не торопиться, сказала, что пока где-нибудь погуляю и буду ждать его звонка в кафе «Эйнштейн». Хоть до самого вечера, ничего страшного, возьму с собой книгу, которую давно собиралась прочитать. Когда я вошла в «Эйнштейн», там уже сидел отец и читал газеты.

— Выбирать нечего, — сообщил он. — У меня и так только один фрак для подобного случая. А сорочку я купил.

Он протянул мне фирменную сумку мужского бутика на Брайтшайдплац, и я восхитилась его новой рубашкой. Потом он встал и направился в туалет. Сделав несколько шагов, он начал хвататься за все, до чего дотягивались руки. Но продолжал идти.

Инженер
Пленка 7

Когда я впервые оказался в его квартире на Вольлебенгассе, *Нижайший* ухватил меня за мизинец и прищурился.

— Файльбёк согрешил, — сказал он.

Я кивнул.

— Ты знаешь, что это значит?

Я кивнул.

– *Кто мечу обречен, тому и быть мечом убиту.*

— Я готов к акции.

Нижайший отпустил мой палец. И я вдруг осознал, что с глазу на глаз он впервые говорит со мной без американского акцента. Я давно привык к этому акценту. А его прежний венский говор, в котором можно было различать и верхнеавстрийские интонации, доносил что-то далекое и в то же время родное, как ожившее в памяти детство, когда внезапно возникает такое чувство, что ты действительно среди своих. Он избрал меня. Я мгновенно впитал эту мысль. Я избран им. Мне бы обнять его, но я был не вправе совер-

шать ошибку. Когда он посмотрел на меня так, будто хотел испытать, достоин ли я доверия, я невольно отпрянул и уселся в кресло. Казалось, в кинопроектор моей жизни вставлена новая пленка. Я допущен во внутренний круг. Большое испытание пройдено, думалось мне. Я сижу в квартире *Нижайшего.* Мне отдано его предпочтение. Я готов на все. Пусть скажет, что я должен сделать. Я исполню любую его волю.

Днем, вернее, уже к вечеру, поднимаясь по эскалатору метро на Ройманнплац, я увидел Стивена Хаффа. Он стоял с листовками в руке возле красных стальных конструкций, перекрывавших вход.

— Да пребудет с тобой Иисус, — услышал я. — Он наперед удостоил тебя своей любви и доверия. Спроси себя, достойна ли этого твоя жизнь? Молиться — не значит произносить заклинания. Молитвой должна стать твоя жизнь. И ждет тебя не вопрос: исправно ли ты ходил в церковь? Нет, ты будешь распознан по делам твоим.

К его футболке был приколот маленький диск с надписью: «Jesus loves you».[43]

— И тебя любит Иисус, — сказал он, когда я

---

[43] Примечания: 43
Иисус любит тебя *(англ.).*

хотел, не глядя на него, пройти мимо. Он сунул мне в руки один из своих листочков. Я на ходу прочитал текст с заглавной строкой: «БЛИЗИТСЯ КОНЕЦ ВРЕМЕН. Христос ищет своих воителей для Последнего дня».

Нижайший вдруг оказался рядом. Он шепнул:

— Сегодня после полуночи. Вольлебенгассе, девять.

Затем он громко возгласил:

— С каждым днем они всё более зримы — знаки перемен в наших судьбах, знаки мирового перелома. Мы извещены. Христос дает нам шанс. Мы можем войти в число избранных. Ибо Христос любит нас. Мы должны решиться. Либо мы за него, либо против.

Я мотнул головой и ускорил шаг.

— Да пошел ты со своим Христом!

Нижайший остановился, продолжая раздавать свои листовки.

Маленькая квартира на первом этаже была обставлена по моде 60-х годов. Почти всю комнату занимал слишком громоздкий для нее гарнитур мягкой мебели с коричневатой обивкой. Две стены почти целиком скрывал секционный встроенный шкаф с угловым изломом. В открытых нишах — телевизор, видеомагнитофон и стереоустанов-

ка. Я сидел в кресле, силясь прочитать надписи на корешках книг, на коробках с пластинками, компакт-дисками и кассетами, которыми было забито несколько полок. Словари, справочники по компьютерной технике, альбомы репродукций, Библия, «Книга Мормона», «Новый рай на земле», книги по архитектуре, еще одна Библия, музыка классическая и народная, эзотерическая музыка, грегорианские хоралы, уложенные в стопки журналы «Шпигель», «Тайм», «Гео», «Экзекутиве» и даже профсоюзная газета. В смежной комнате с раскрытой двустворчатой дверью виднелась двуспальная кровать. У стены напротив — письменный стол с факсом, компьютером и зарядным устройством мобильного телефона, трубка которого лежала на кровати. Рядом с письменным столом — маленькая вертушка с книгами. Все выглядело ошеломляюще нормально. Оказалось, я абсолютно неверно представлял себе так называемую подпольную квартиру. Я-то думал, это будет что-то пострашнее закутка с темным коридором в подвале на Гюртеле, где без фонарика шею можно сломать. *Нижайший* сказал:

— Иногда здесь живут полицейские чины. Главным образом из провинции или из-за границы. У

меня есть и запасная квартира.

— Полицейские?

Он открыл маленький холодильник, втиснутый в стенной шкаф, и достал бутылку виски.

— Со льдом? — спросил он.

После его возвращения все до единой встречи были, так сказать, безалкогольными. Бригадир иногда позволял себе на стройплощадке бутылку пива, только одну, что при его привычках граничило с самоотверженностью. А в последнее время он вроде бы вообще бросил пить. Пузырь и на стройплощадке не брал в рот хмельного. У меня в контейнере обычно пили только кофе. Иногда после заключения договоров нас угощали шампанским. Но это случалось крайне редко, поскольку самые выгодные контракты подписывают чаще всего в офисе фирмы или в адвокатских конторах. Когда ставили шампанское, я наполнял свой бокал наполовину, чтобы только чокнуться. И скорее пригублял, чем пил. С тех пор как взъерепенился Файльбёк и на наших глазах заказал в ресторане кофе, мы за обедом даже вино с содовой пить перестали. Его демарш облегчил нам переход к полной трезвости.

И вдруг *Нижайший* предлагает мне виски, будто не сам наложил запрет на алкоголь. А может, это

испытание? Может, он хотел проверить, могу ли я в любой ситуации быть на высоте дела *Непримиримых.* «Со льдом?» Так или иначе, от меня требовался ответ.

— Если хочешь, — сказал я наконец, — могу выпить с тобой рюмку.

Похоже, *Нижайший* не придал значения моим словам. Затем он открыл другую дверцу шкафа. Показалась освещенная ниша с зеркальной задней стенкой. На верхней полке стояли бокалы и рюмки, на нижней — батарея бутылок с крепкими напитками. *Нижайший* достал два бокала.

— Со льдом? — спросил он еще раз.

— Да.

Он пошел на кухню. На нижней полке стеклянного столика, стоявшего рядом с моим креслом, лежали газеты и еженедельники, а поверх них, чего нельзя было не заметить, — авиаписьмо из Флориды. Имени отправителя я разобрать не мог, буквы как бы подскакивали и опускались поочередно при полном отсутствии пробелов. Я перевернул конверт. Письмо было адресовано майору Ляйтнеру. Когда чмокнула дверца кухонного холодильника, я сунул конверт под столешницу, положив все как было. Но *Нижайший* уже стоял рядом.

— Это письмо для меня. Майор Ляйтнер — имя для моего почтового адреса. На имя Стивена Хаффа я получаю только ту почту, которую сам себе отправляю. Кстати, майор Ляйтнер живет в этом доме, на третьем этаже. Здесь вот его явочная квартира. Она наверняка нашпигована «жучками». Но у меня от него нет секретов. Он просматривает почту. А то, что предназначено мне, приносит сюда.

Нижайший протянул мне бокал с изрядным количеством спиртного.

— За чистую Европу! — провозгласил он, поднимая свой бокал.

— За чистую Европу! — ответил я.

Он ждал, когда я начну пить. На какой-то миг у меня мелькнула мысль, что это не виски. Я посмотрел на *Нижайшего,* и мне показалось, что в лице его читается затаенная злоба. Неужели я опротивел ему из-за того, что сказал Файльбёку, что у меня на уме? Или он хотел выставить меня слабаком в моих собственных глазах? Я зажмурился и опустошил бокал. Мгновенный ожог пищевода от глотки до желудка. Живот свело судорогой. Я зажимал его обеими руками. *Нижайший* подал мне стакан воды. Я шесть часов ничего не ел и долго воздерживался от алко-

голя. *Нижайший* поставил бокал на стол, так и не прикоснувшись к нему. Что это означало? Я провалился на испытании? Или выдержал его? *Нижайший* сел в кресло напротив. Он молча смотрел на меня. А я сидел, по-дурацки съежившись, и ждал, когда он вызволит меня из неловкой ситуации. Но он этого не делал.

— Как быть с Файльбёком? — выдавил я наконец.

Нижайший заговорил тихо, водя по столешнице бокалом с виски.

— Ляйтнер за устранение, — сказал он. — Майор считает Файльбёка опасным. Я не согласился. Человеку первого призыва, возразил я, надо дать шанс. Мы сотрем его руны, но не его жизнь. Пусть выбирает, что ему предпочесть — свои руны или жизнь.

— Не слишком ли великодушно? Он хотел лишить тебя власти.

— Меня нельзя лишить власти. У меня ее нет.

— Но Файльбёк…

— Падший ангел. Мы отнимем у него лишь палец, а не жизнь. После наказания Файльбёка никаких встреч в парке Антона Бенья. А обедать снова врозь. Новым ангелом, наблюдающим за всем и отвечающим за порядок, будешь ты.

— Я? — Мой голос дрожал от плохо скрываемой радости.

— Ты. Твое задание — подготовить вразумление Файльбёка.

Он вышел и выплеснул свое виски в раковину с грязной посудой.

— Кто такой Ляйтнер?

Ответ последовал не сразу, и я успел уточнить свой вопрос:

— Тот самый полицейский юрист, на которого мы должны рассчитывать при аресте?

Нижайший поставил опрокинутый бокал на сушилку для посуды.

— Теперь мы будем видеться чаще, — сказал он. — Но тебе же лучше, если не все будешь знать. Тебе достаточно того, что после пожара на Гюртеле Ляйтнеру поручили заняться моим розыском. Он вычислил меня во Флориде. С тех пор мы — союзники. Теперь он не один. У него есть помощники.

— А знает ли Ляйтнер и кто-то еще про…

Я не осмелился продолжать. Как-никак *Нижайший* сам сказал, что квартира нашпигована «жучками».

— Да, они безусловно поддерживают нас. И еще как. Без них Армагеддон был бы просто словом из

Апокалипсиса. И хотя мы своими силами могли бы нанести удар, он не привел бы к смене эпох. Мы осуществим первую часть плана, Ляйтнер и его люди — вторую. Они помогут нам взять власть.

— А Файльбёк знает об этом?

Нижайший положил руку мне на плечо.

— Нет, — сказал он и медленно повел меня в прихожую. — Я никогда не доверял Файльбёку. И здесь, в этой квартире, он не бывал. Но я часто обсуждал с ним ситуацию. Он хочет повторения старых революций и не хочет понять, что за последние десятилетия в Европе создан гигантский полицейский корпус, в войне с которым у нас нет никаких шансов. Но в полиции идет брожение. Она не может больше быть на побегушках у политиков. Она ждет не дождется повода, чтобы начать действовать самостоятельно, как подобает не мальчику, но мужу. И мы ей предложим таковой. Тысячи полицейских живут ожиданием освободительного удара. Кто сумеет его нанести, тому будет принадлежать страна. И Файльбёк наконец-то прозреет и найдет дорогу к нам.

Вскоре я уже был на улице. Шагая в темноте под беспрерывным дождем до самой Ройманнплац, я постепенно уразумел свою новую функцию. На

одном фланге была группа высоких полицейских чинов и, возможно, еще каких-то персон, которые стремились к переделу власти. На другом — мы, *Непримиримые,* готовившие Армагеддон. *Нижайший* был связующим звеном, как бы средней частью алтарного триптиха. А я — его новым адъютантом и отвечал за безотказное взаимодействие обеих сторон. Следовательно, мне полагалось знать больше, чем другим посвященным. Но это значит — дошло до меня по дороге домой, — что, если я не справлюсь со своей задачей, мне будет грозить то, чего Ляйтнер требовал для Файльбёка, — устранение.

В следующие недели я продолжал встречаться с *Нижайшим* на Вольлебенгассе, виделся с ним, наверное, раз двадцать. Мне было позволено заходить к нему ежедневно после полуночи. Если он не мог принять меня, потому что в квартире был еще кто-то или отсутствовал он сам, об этом я мог догадаться по особому знаку — кольцу из медной проволоки, подвешенному к решетке подвального окна. Почти все, что мне известно об отроческих и юных годах *Нижайшего,* я узнал во время этих ночных встреч. Он рассказывал мне о своих родителях и об отношениях с монастырским аббатом. Мне кажется, он хотел стать

для меня чем-то вроде этого аббата. Всякий раз он предлагал мне выпить. Сам не пил. Возможно, я был единственным его другом. Он часто заводил разговор о предательстве как о важнейшем жизненном шаге, как о таком опыте, без которого человек не может созреть. Создавалось впечатление, что он поощряет во мне мысль о предательстве. Это было тем более странно, что при наших первых встречах мы говорили главным образом о том, как рассчитаться с предателем Файльбёком.

Наказание должно было совершиться втайне и в то же время стать несомненным фактом для друзей Ляйтнера. Полиция непременно узнает о нем, но ей нельзя давать никаких зацепок для расследования. О виде наказания *Нижайший* договорился с Ляйтнером. Об устранении уже не было речи. Но кара должна была быть устрашающей. Ляйтнеру явно хотелось продемонстрировать своим единомышленникам, как мы, *Непримиримые* — или как бы он нас ни называл, — поступаем с изменниками. О смерти Файльбёка мы даже не заикались. Могу свидетельствовать: *Нижайший* сделал все, чтобы спасти Файльбёка. Самое главное — дать ему шанс еще раз все спокойно обдумать. Ему нуж-

но было надежное укрытие. Поскольку в этом случае не приходилось не только рассчитывать на помощь Ляйтнера, но даже вслух помышлять об укрывательстве Файльбёка, мы столкнулись с очень трудной задачей. Начать с того, что на Вольлебенгассе нельзя было говорить об этом.

Нижайший включил компьютер и сказал:

— Посмотрим, какие новости принесет нам электронная почта.

На самом деле он не вошел в сеть, зато я увидел на мониторе его сообщение и ответил *Нижайшему* тем же способом. Так мы и беседовали.

— Ты уверен, — отпечатал я, — что Ляйтнер не считывает нашу информацию?

Нижайший сделал вид, что читает чужое послание:

— Смотри, что опять пишет этот хитрюга. До чего красиво он крадется в наш садик. Придется его маленько пощекотать.

И он написал: «Скорее всего, Ляйтнер не имеет такой возможности, т. к. наши компьютеры связаны не напрямую, а через интернет. Ляйтнер не имеет доступа к Beta-alternate-mailing. Соответствующий модем я подключил сам. Когда я ему это показал, он ответил: "Не хватало мне еще этих заморочек. Ты уже как-нибудь без меня". Ляйтнер

— не в сети. Я знаю почерк его компьютера».

Поскольку для подготовки Армагеддона было бы неразумно оживлять старые международные контакты, мы начали поиски убежища для Файльбёка через бета-сеть, которую уже освоили. Beta-alteraate-mailing — недавнее нововведение, которое в некоторых европейских странах стало альтернативой преобладающим в Америке международным сетям. Число пользователей не достигало и 10 000, а финансирование осуществляли в первую очередь европейские партии «зеленых». Тут лидировали немцы. *Нижайший* счел необходимым подключиться к этому делу с самого начала. Мы выступали под именем *Мормона* — от *Мормона 1* до *Мормона 7.* Через бета-сеть мы обеспечивали широкое распространение идеи Тысячелетнего Царства и, конечно, не избежали яростных нападок: «Нацисты, вон из сети! Здесь нет места нацистам!» Но мы упорно отстаивали свою позицию. Роль самого решительного защитника исполнял *Мормон 4.* Время от времени мы писали такое послание: «Идея Тысячелетнего рейха намного старше Гитлера. А тот факт, что он хотел украсть у нас эту идею, тем более побуждает к ее спасению. Сплотитесь, праведные, ведь только для вас открыты врата

Тысячелетнего Царства».

В ответ на это — снова град протестов. Но, хоть и не сразу, у нас появились первые защитники со стороны. Тысячелетнее Царство стало вскоре наиболее часто обсуждаемой темой. В конце концов нам на помощь пришли даже религиоведы. Одна теологиня из Тюбингена уверяла в своем письме, что Тысячелетнее Царство первоначально было еврейской идеей, которую потом впитало раннее христианство. *Мормон 4* ответил: «В Тысячелетнем Царстве мы хотим видеть только праведных, но никак не евреев». Это был почерк Файльбёка. Послание вновь вызвало бешеную атаку, которую мы пережидали всю ночь.

Наконец через сеть удалось подыскать место, где на первых порах мог бы укрыться Файльбёк. Некий художник-декоратор из Бремена, а может, человек, выдававший себя за такового, предложил аренду укромного уголка на острове Мальорка минимум на полгода.

«Идеальное место для художника и для того, кто хочет им стать», — писал он. Я позвонил ему из телефонной будки. Объект недвижимости принадлежал не ему, а какой-то даме, профессору-литературоведу из Ганновера, у которой, однако, не было доступа в нашу сеть. Он описал

дом — старую усадьбу неподалеку от Сантаньи. Дом каменный, окружен миндальными деревьями, до моря километров десять, в хозяйстве — все необходимое, включая мопед и велосипед. К дому ведет проселочная дорога больше километра длиной. Я сказал, что через две недели могу случайно оказаться в Пальме и очень хотелось бы взглянуть на усадьбу. Где взять ключ и как до нее добраться? «Двери дома всегда открыты», — ответил он. Затем подробно описал дорогу. Когда я спросил, присматривает ли кто-либо за домом, он сказал: «В Сантаньи есть одна женщина, немка, она время от времени следит за порядком в усадьбе».

Художник сообщил мне ее имя и адрес. Я пообещал позвонить ему после того, как увижу дом, скорее всего — через несколько недель, смотря по обстоятельствам.

Когда я известил по электронной почте *Нижайшего,* он вызвал меня, достал из письменного стола пухлый конверт и передал его мне. Там была сотня пятитысячных купюр, то бишь полмиллиона. На мониторе появились строки: «Это на первое время. Усадьба будет незамедлительно снята и заранее оплачена».

Однажды — дело было в пятницу — я собирался

встретиться с *Нижайшим* на Карлсплац. Я уже два раза приходил на встречу с ним. Обычно он обретался там во второй половине дня. Сначала я ненадолго задерживался, слушая его проповеди, а потом шел дальше. Он следовал за мной и, если вокруг не было ничего подозрительного, минут через десять вступал в разговор. На ходу мы могли перекинуться парой слов.

На сей раз его не оказалось. Я огляделся: никого, кроме бомжей и торговцев наркотой, ну и, конечно, сопляков, сбившихся в группы и смоливших свою дурь. Некоторые еле на ногах держались. Они либо висли на более крепких, либо садились на пол. Больше ждать я не мог, так как должен был идти в парк Шварценберга.

Файльбёк все еще не сдавался. Он стал осторожнее и не таким настырным, но по-прежнему пытался перетянуть нас на свою сторону. Это он предложил, чтобы впредь мы встречались в парке Шварценберга, исходя из того, что туда могут попасть далеко не все. Оплатив годовой абонемент, он получил ключ и сказал, что теперь вход нам обеспечен. В этом парке росли большие деревья, хватало и кустарника. Был даже маленький пруд. Люди встречались редко, но и среди них преобладали мамаши с детьми. Однако

территория была настолько обширна, что мы без труда могли укрыться от посторонних взглядов.

Файльбёк пришел с рюкзачком, набитым до отказа. Он расстелил полотенце и с явным удовольствием выложил на деревянные подносики ветчину, салями, сыр, хлеб, перец, редиску и помидоры. Не забыл даже про соль и хрен. Наконец он вытащил из рюкзака четыре банки пива и поставил их в центр. Мы принялись за еду. Пиво пока не трогали. Потом подал голос Пузырь:

— Пикник без пива выглядит подозрительно.

Он открыл банку и начал пить. Кадык заходил ходуном. Утолив жажду, Пузырь выдохнул со сладостным стоном.

— Вот это кайф. — Он вдруг затрясся от смеха. Потом еле выговорил: — Я имел в виду: лед тронулся.

Мы особо не томили себя и тоже открыли банки.

— Хайль Гитлер, — сказал Файльбёк.

— Хайль Гитлер, — откликнулся Бригадир.

И вскоре заржали все. Файльбёк вспомнил, как мы хотели спрыснуть одну сучку, которую приняли за шлюху из Южной Америки, *интимным аэрозолем.* Это мы только выражались так. На самом деле собирались влить ей в одно место

бутылку кока-колы. А когда заговорили с ней, она нам на исконном венском диалекте: «Вы чо, не фурычите? Я туда тока парнишек пускаю».

Сачок говорит: «Может, тебе аэрозоль для носа?» Она растерялась. Мы облапили ее. Файльбёк зажимал ей рот. Сачок приставил бутылку к ноздрям. Она закашлялась, коричневая шипучка брызнула сквозь пальцы Файльбёка. Другая швабра, которая все это видела, подняла шухер. Мы побежали через весь 15-й район к Западному вокзалу.

Пузырь попенял:

— Вы тогда бросили меня, свиньи. Я не мог за вами угнаться. Меня чуть сутенеры не сцапали.

— Не надо так нагружаться пивом, — ответил Файльбёк.

Оказалось, что он припас еще по банке на каждого. И вот, пока мы ели, пили и веселились, мне стало ясно, что для Файльбёка, хоть он о том ни сном ни духом, это было вроде последнего обеда смертника. Я ничем не выдавал своих мыслей. Об Армагеддоне и *Нижайшем* Файльбёк в тот вечер даже не упоминал.

Уходя, я сказал:

— Файльбёк, больше мы встречаться не будем.

— Никто тебя и не заставляет, — ответил он.

Вечером я узнал, почему на Карлсплац не было *Нижайшего.* Игнорируя все «жучки», он рассказал мне:

— Ляйтнер оказался слабаком. Он сболтнул полицейским, которые занимаются сектами, что я временно снимаю у него квартиру. Якобы хочет меня проверить. Все началось сегодня днем. Специалист по сектам подкатывался слишком неловко. Сначала хотел пригласить меня на чашечку кофе, потом на чай, кончилось тем, что предложил сигарету. Единственное, к чему мог придраться, — мои длинные волосы. Я сказал, что симпатизирую мормонам нового толка, которые считают себя последователями сына Джозефа Смита. А им, как, впрочем, и прежним мормонам, не возбраняется носить длинные волосы. Полицейский даже не знал о существовании этих новых. Ляйтнер подстраховался по всем направлениям.

Внезапно *Нижайший* сменил тему. Он спросил, подыскал ли я подходящее место для искупительного причастия? Я ответил утвердительно.

— Уже в воскресенье? — спросил он.

После того что я рассказал ему о нашем пикнике, он не хотел больше ждать.

— Да, — сказал я.

Той же ночью я оповестил по цепочке всех наших.

Боль воспоминаний

С тех пор как Фред стал жить отдельно, мы начали ладить между собой. Не скажу, что нас связывало много общих дел, но и сторониться друг друга не было охоты. Иногда мы пересекались в студийной столовой. Он мне рассказывал о последних идиотических художествах своего отдела. Работу в нем он всерьез не воспринимал. Смеялся над ней. Она была для него своего рода игрой и в общем-то лишена смысла. Но именно этим ему и нравилась. По существу, отдел светской хроники он считал пятым колесом в телеге. Его друзья, в основном сотрудники того же отдела, вполне разделяли его мнение. Они могли часами дурачиться и нести всякую чушь, не придавая своим словам никакого значения.

Временами Фред приглашал меня на обед или ужин, возможно заранее зная, что я прихвачу с собой хорошего вина. И хотя я вряд ли мог внести свою лепту в групповое балагурство его друзей, меня весьма забавляла их манера судить и рядить ЕТВ. В то же время втайне я радовался тому, что они не работают в моем отделе. Если

наступал мой черед что-то сказать в их застольном кругу, разговор принимал более серьезный характер. Фред не любил, когда все сводилось к одной теме — моим иракским или мостарским впечатлениям. А искушение было велико. Мы, военные корреспонденты, среди прочих журналистов — как охотники на крупного зверя. Даже те, что довольствуются репортажами из надежного укрытия, потом, выходя со своей добычей на рынок, рассчитывают на достойное признание их дерзкого авантюризма и опасностей, которым они подвергались. Однако профессиональная этика не позволяет слишком уж выставлять при документальных съемках свою драгоценную персону в то время, когда рядом убивают людей. Поэтому в частной обстановке военные репортеры страдают банальной словоохотливостью. Я мог наблюдать это в бесчисленных отелях, когда приходилось ждать выезда нашей группы в район боевых действий. Стоило только появиться кому-нибудь новенькому, как ему преподносилась история, уже рассказанная всем и каждому. Даже если алкоголь превращает слушателей в единую, исключительно отзывчивую аудиторию, слишком велика опасность заповторяться до комического гротеска.

Фред, вероятно, замечал это за мной и часто подкалывал: «Интересно, почему другие-то не такие умники?» Или: «Хочешь, я доскажу?» Или: «Ты и на этот раз останешься в живых?» Эти шутливые укусы заставляли меня всегда быть начеку в присутствии Фреда. Впрочем, и мне хватало поводов для подначек. Начать с того, что он, как правило, готовил одно и то же китайское блюдо, заменявшее первое и второе. Получалось довольно вкусное варево. И я не мог не поделиться соображениями, что его друзья слетаются на запах, как мухи на мед. Десерт отличался разнообразием, так как его почти всегда приносил кто-нибудь из гостей. Но у Фреда были и другие причуды, в чем он мало отличался от меня. Окрашенные в голубой цвет стены его комнаты имели одно-единственное украшение — корень кактуса из Нью-Мексико. Казалось, он рос прямо из дверного проема и тянул свои плети к окну. Фред так ловко его закрепил, что не было видно, на чем кактус держится. Это всегда вызывало вопросы. И тогда Фред рассказывал о своем былом пристрастии к героину и о «лагере выживания» в Нью-Мексико. При этом старался не упустить ни одной подробности. Когда ему не хватало запаса немецких слов, мне приходилось переводить.

В подобной ситуации я имел преимущество и однажды сказал гостям: «Не пугайтесь, французы его защитят». Фред не обиделся.

В профессиональном плане он заметно вырос. И в отделе сплетен уже выполнял работу оператора. Бал в Опере был первым событием, которое свело нас в одной упряжке. С тем же пылом, с каким я вначале отбивался от роли режиссера передачи, теперь я стремился сделать из нее нечто весьма впечатляющее. Что касается приглашений, то я был избавлен от заботы о них. Бундесканцлер и бундеспрезидент, по крайней мере внешне, пришли к согласию по вопросам протокола. Оба они подписались под приглашениями, адресованными высоким гостям, которые не являлись официальными лицами. Парижская редакция ETB уже назвала некоторые имена принцесс, принцев, звезд шоу-бизнеса и политиков, ожидаемых на большом европейском спектакле. После этого никого специально приглашать не понадобилось. Официально все билеты были уже распроданы в начале ноября. Список, так сказать, очередников, разрастался с каждым днем. Для особо почетных гостей зарезервировали часть лож и столиков. Хозяйка бала, которая в прежние годы отвечала за протокольную программу

действа, следила за тем, чтобы и на этот раз традиционные посетители бала не остались без билетов.

Мой сотрудник со своей командой отправился в Сараево, где, несмотря на введение войск ООН, вновь начались бои. Одну из моих коллег я откомандировал в Мостар. Но не для съемок гибнувшего города: кроме нескольких домов на западной стороне, там уже нечего было разрушать. В Мостаре, при всем том, что вокруг колыхался огонь войны, были запланированы восстановительные работы под руководством одного немца. Инстинкт подсказывал мне, что добром это не кончится.

Сотрудника-новобранца я послал в журналистскую разведку на Кавказ. Собственные репортажи я наметил как первоочередной проект после бала. Несмотря на то что приходилось тратить время на редакционные совещания и решение внутренних проблем отдела, я мог сосредоточиться на разработке режиссерского сценария. Сколько потребуется камер? Где их установить? Кто будет осуществлять техническое руководство? Как определить оптимальное количество трансляционных машин? Сколько репортеров из отдела светской хроники можно задейство-

вать без особого вреда? Кого интервьюировать в обязательном порядке? Какие подготовить музыкальные записи? Как организовать выезды? Телезрителям не понравится, если целый вечер они будут видеть только танцующих и болтающих. Когда на экране принцесса, отвечающая на вопросы журналиста, публика не прочь увидеть ее замок, прислугу, а главное, ее ванную. Очень кстати придутся свидетельства ее милосердия, заботы о детях, осиротевших во время войны, или о пушном зверье. Заморочек прибавляли указания из Парижа. С каждой неделей планируемый хронометраж сокращался ради рекламных пауз.

Один немецкий фабрикант, производитель напитков, якобы постоянный гость, купил себе долю во всех рекламных блоках. Да еще поставил условие: у него непременно должны взять интервью. Фирма носит его имя. Я уперся: «А вот этого делать не буду. Это разрушит наш имидж».

Но миллионы — аргумент более чем серьезный. Надо было придумать какой-то выход. Я посоветовался с Фредом. Он меня высмеял. А потом сказал: «Все очень просто. Вы приглашаете в его ложу какого-нибудь путного собеседника, а во время интервью из вежливости упоминаете этого хмыря, сидящего рядом».

Идея мне понравилась. Я позвонил президенту Союза промышленников. Ему польстило, что, несмотря на ожидаемое присутствие столь видных иностранных персон, мы собираемся взять у него интервью. А фабрикант, в свою очередь, был благодарен нам за повышение статуса: как-никак на его фоне в кадре будут мелькать высшие промышленные боссы.

Особое внимание я должен был уделить европейскому контексту. Не хватало важных фигур из Скандинавских стран и Великобритании. Принц Уэльский ответил отказом. Но Фред и тут подсказал хорошую мысль: «Если не разговорить лорда Дарлингтона, то сгодится и его дворецкий, мистер Стивенс».

А кто был мистером Стивенсом королевского дома? Диана Спенсер? Сара Фергюсон? Или принцесса Маргарет? Выяснилось, что все они уже были на балу в Опере, и до сего дня их мучают, прямо-таки терзают воспоминания о нем.

Мишель Ребуассон изначально исходил из того, что у нас в процессе работы не будет недостатка в сотрудниках, если слить мой отдел с отделом светской хроники. Вскоре он понял свою ошибку. Только для того, чтобы интервью звучали как живая речь, требовались переводчики, специ-

алисты по восьми языкам. Иначе вся текстовая часть передач будет набором стандартных английских фраз: «It's nice», «It's a great event», «A wonderful house», «I like music and waltz»[44] и прочей дребедени.

Без этого словесного мусора, конечно, не обойтись, но его количество можно уменьшить умело поставленными вопросами. А для этого мне были нужны не только опытные переводчики, но и толковые репортеры. Я стал набирать персонал из других отделов. Из спортивного главным образом — операторов и техников. Они лучше других знали технические проблемы трансляции столь масштабного мероприятия. К микрофонам я их подпускать не собирался.

Отдел экономической политики должен был позаботиться прежде всего о качественных интервью с политическими лидерами. Я уже включил в сценарий соответствующих журналистов, поскольку в одиночку мне бы не выдержать бесконечной борьбы с пресс-секретарями обоих наших главных персон. Даже то, что они наконец вымучили общий протокол, отнюдь не означало моего избавления от их непрошеного участия.

---

[44] Примечания: 44

«Просто великолепно», «Это великое событие», «Дивное здание», «Я люблю музыку и вальс» *(англ.).*

Начались яростные препирательства из-за того, какое из событий, предусмотренных протоколом, надо снимать: краткую беседу бундесканцлера с французским министром иностранных дел или — бундеспрезидента с принцем Кувейта. И то и другое было назначено на один и тот же час и одну и ту же минуту. А тут еще стали проявлять активность пресс-секретари министров, озабоченные — правда, в разумных пределах — тем, чтобы операторы не оставили без внимания лица их патронов. Исключение составляла дама, занимавшая кресло министра по делам семьи. Она лишь высказала скромное желание заполучить в свою ложу супругу американского президента. Поскольку ей самой заявлять об этом не позволял статус, вся надежда возлагалась почему-то на нас.

Зато звезды шоу-бизнеса оказались пугливы, как лани. Никто из них не напрашивался на интервью. Однако, если мы пытались склонить какого-нибудь шоумена к разговору в прямом эфире, можно было не сомневаться: на следующий день позвонит его агент и поинтересуется, о какой сумме идет речь. Оперную певицу Катрин Пети интервьюировал я сам. К тому времени я был так измотан бесконечными совещаниями и

телефонными согласованиями, что захотелось глотнуть свежего воздуха. В двойном составе, то есть с двумя камерами, мы вылетели в Базель. Фред сопровождал меня. Это была наша первая совместная командировка. Мои опасения, что это чревато ссорой, оказались напрасны. Фред не только исполнял все, что от него требовалось, но и предлагал необычные ракурсы.

Во второй половине дня мы договорились о встрече с писателем Рольфом Хоххутом. Он все не мог решить, стоит ли ему ехать на бал. И наше появление тоже не прибавило ему уверенности. Писатель не сразу вышел из своего кабинета, и его жена, чтобы скрасить ожидание, предложила нам кофе. Она спросила у Фреда, какой литературой он интересуется, что читает. Потом пришел сам хозяин. Он рассказал, что в Германии ему подложили свинью. Именно тому театру, где чаще всего шли его пьесы, урезали дотацию. Затем Хоххут осведомился об эфирных квотах ETB. Когда мы заговорили наконец о бале в Опере, он спросил:

— А кто еще там будет?

Я перечислил имена тех, кто должен быть наверняка.

— Вот как. Министр иностранных дел Фран-

ции, — сказал он, чтобы тут же добавить: — Ну, до де Голля всем этим далеко.

Он все еще не мог принять решение. С одной стороны, ему хотелось дать интервью и появиться на балу, с другой — он не был уверен, что окажется там в подходящей компании. Слишком мало интеллектуалов. И тут он удивил меня вопросом:

— Меня хотя бы примет бундесканцлер?

Рассчитывать на это, конечно, не приходилось.

— Крайски принял бы меня. Он был последним дальновидным бундесканцлером. Все теперешние политики озабочены только тем, чтобы их видели по телевизору.

Я понял, что убеждать его не имело смысла. Но он и не ответил однозначным отказом. Мы записали краткое интервью с ним, где речь шла о его отношении к Вене и о пьесе, над которой он работал. Фред улегся с камерой на пол, что при таком ракурсе придавало моему собеседнику довольно импозантный вид.

Прощаясь, я сказал:

— Если вы не сумеете прибыть на бал, господин Хоххут, я использую это интервью в какой-нибудь другой передаче.

Мне показалось, что он вздохнул с облегче-

нием.

Совершенно иной оказалась встреча с Катрин Пети. Во время вечернего спектакля мы сняли кое-какие эпизоды из «Травиаты», а потом взяли у певицы интервью в ее гримерке. Я бы с удовольствием заснял, как она снимает грим, но она воспротивилась. Она мечтала о публике Венской оперы. Как выяснилось, ее пригласил на бал предприниматель Рихард Шмидляйтнер. Я высказал предположение, что парижское бюро оплатит ей рейс.

Вероятно, никто из гостей не заставил так поволноваться в начале прямого эфира, как Катрин Пети: только она, одна из всех, кто дал твердое обещание, так и не появилась. В согласованное с ней время, где-то в ноль сорок, я прокрутил интервью с ней. После того сумасшедшего получаса, который смазал всю задуманную картину, это был первый номер нашей программы, вновь совпавший с режиссерским замыслом. Когда мы показывали интервью, женщина из нашей телевизионной бригады сообщила мне по телефону внутренней связи, что не может нигде найти Катрин Пети. Скорее всего, Катрин еще не прибыла. Я немедленно передал это ведущему, который собирался преподнести интервью как

первую пробу ожидаемого деликатеса. Я подумал, что Катрин застряла по дороге из-за буйства демонстрантов. А позднее узнал, что жизнь ей спасли не демонстранты, а не в меру усердные таможенники.

Присутствие на балу генерального директора Мишеля Ребуассона я считал само собой разумеющимся. В декабре я отправил ему факс с вопросом: сколько мест для него зарезервировать и какую ложу он бы предпочел? К тексту я приложил план театра, где крестиками отметил ложи, предоставленные в наше распоряжение. На следующий день мне позвонил наш венский коммерческий директор. Он сказал, что Мишель Ребуассон будет здесь с 15 по 18 января, но на бал не придет. Однако одну ложу я должен держать свободной до последней минуты. Возможно, ее займут гости генерального директора.

Я-то думал, Ребуассон позвонит мне лично. Но и в том, что он ответил через нашего коммерческого директора, не усматривалось ничего необычного. В конце концов, он знал его с тех пор, когда меня на ETB и в помине не было, и они постоянно поддерживали связь друг с другом.

Рождество мы с Фредом провели в Лондоне. Это была наша первая и единственная совместная

поездка, если не считать авиаполетов в Моаб и в Базель. Жили у моих родителей. Фред два дня провел у своей матери. Без меня. У меня даже не было желания звонить ей. Фред стал уже взрослым человеком. Я не знал, о чем мы можем говорить с Хедер.

Мать продемонстрировала свое кулинарное искусство во всем блеске. Она зажарила индейку, приготовила йоркширский пудинг и побаловала нас маринованной форелью. Я, как в детские годы, сидел за кухонным столиком и наблюдал процесс стряпни. Она засыпала меня вопросами. Пришлось описывать ей мою квартиру и студию, где я работал. Она интересовалась моей частной жизнью. Потом я должен был выложить все, что знал о Фреде. После этого разговор зашел о Югославии, Венгрии, Словацкой Республике, и наконец мы кружным путем добрались до города, который интересовал ее больше всего, — до Праги. Наконец кухню наполнил великолепный запах знакомой с детства выпечки, и у меня возникло ощущение, будто я никогда не уходил из этого дома.

За рождественским обедом, когда Фред был у Хедер, отец рассказывал о своих детских годах в Вене. И как только мы притронулись к лососю

по-шотландски, пространство окрасилось совсем иными воспоминаниями, нежели те, что я слышал от отца раньше.

— Рождество мы не праздновали. Да и Хануку тоже. Но вечером двадцать пятого декабря наша домработница переодевалась Крампусом, этим неизменным спутником Деда Мороза, и раздавала подарки. Я узнавал ее, несмотря на страховидную маску. И все же полной уверенности у меня не было. Самым большим семейным событием было празднование еврейской Пасхи. Родители брали меня с собой в Пресбург к деду с бабушкой. И хотя целую неделю нельзя было есть ничего выпеченного из кислого теста, мать время от времени водила меня в центр города, где тайком покупала мне рогалик. От стариков приходилось это скрывать. В предпасхальные вечера все дяди, тетки, двоюродные братья и сестры сидели за большим круглым столом. Его сервировали особой посудой, предназначенной именно для такого случая. Мне дозволялось отведать кошерного вина. В середине стола стоял наполненный бокал для пророка Илии. Отец читал отрывки из ярко иллюстрированной Ага-

ды,[45] а я все время поглядывал на бокал с вином, стараясь не упустить момент, когда он начнет пустеть. И в течение вечера мне не раз мерещилось, будто вино и впрямь убывает. Я гордился тем, что потом мне разрешалось задать десять вопросов. Например: «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» И взрослые рассказывали о временах рабства и исхода наших предков из Египта. После долгих рассказов наступала минута, когда мне разрешали отыскать спрятанную лепешечку мацы. Как только я находил ее — а это было нетрудно, — меня начинали осыпать подарками, и я чувствовал себя самым счастливым существом на свете.

Отец рассмеялся.

— Это был какой-то другой мир. У деда с бабушкой я еще мог его хоть чуточку впитать, а потом он исчез.

— Но ты мог бы каким-то образом возродить традицию.

— Я не религиозный человек. А подстроиться невозможно. Да и без запретного рогалика на главной площади не было бы никакой интриги.

Создавалось впечатление, что наш разговор

---

[45] Примечания: 45

Повествовательная часть Талмуда, читаемая обычно за пасхальной трапезой.

натолкнулся на некую стеклянную стену, за которой все видно, а что именно — не поддается словесному определению. Вилки скребли по фарфоровым тарелкам, отставленные бокалы издавали совершенно неуместное дребезжание. Меня просто подмывало наполнить вином тот, что стоял в центре стола. Но я тут же сказал себе: не такой случай, чтобы обманывать самого себя.

Когда мы принялись за стильтон и чеддер, молчание нарушила мать:

— Раз уж Керк этого не сказал, придется сказать мне. В мае мы будем в Вене. Керк снова получил приглашение. На сей раз он возьмет меня с собой.

— Меня пригласил лично министр по делам искусств, — пояснил отец. — Опять придется произносить речь. Минутку, я покажу тебе письмо.

— Не надо. Посиди. Лучше скажи, что там написано.

— Они празднуют освобождение и одновременно — подписание Государственного договора. Но в письме речь идет не о Государственном договоре, а о возвращении суверенитета. Я должен тебе показать.

Отец опять порывался встать, что стоило ему заметных усилий.

— Я принесу письмо. Скажи, где оно лежит.

— На письменном столе.

Когда я выходил из комнаты, в голову мне пришла неожиданная идея:

— Приезжайте лучше в феврале, на бал в Опере. Если дадите согласие сейчас, я смогу обеспечить вам билеты.

Мать, может быть, и приняла бы мое предложение. Но отец и слышать об этом не хотел. Сначала я подумал, у отца просто нет желания торчать на балу. Но, войдя в библиотеку, я увидел металлическую штуковину на колесиках, это было приспособление, облегчающее ходьбу. В моем присутствии он им не пользовался. Коленные суставы доставляли ему все больше мучений. Передвигался он с трудом и очень медленно.

«…Республика празднует пятидесятую годовщину освобождения от нацизма и сороковую — восстановления суверенитета… Примите, глубокоуважаемый господин профессор Фрэзер, сердечное приглашение выступить в конференц-центре с речью продолжительностью от десяти до пятнадцати минут. Не скрою, что тем самым вы удовлетворили бы и мою личную просьбу. Федеральный министр по делам искусств».

Я дважды прочитал письмо от первой до по-

следней строчки и ничего странного в нем не нашел. В конце концов, Государственный договор и означал возвращение суверенитета. Но отца это слово царапало.

— Раньше они так гордились своим Государственным договором и все время на него ссылались, а теперь говорят всего лишь о суверенитете.

Я счел такую формулировку случайной небрежностью. В конце концов отец признал мою правоту.

Это были дни настоящего рождественского безделья. Я давно уже так не оттягивался. Читал, смотрел телевизор, гулял, не отказывал себе в маленьких удовольствиях. После еды отец переходил в кухню. Я подавал ему грязную посуду, он ее неторопливо мыл и ставил на металлическую сушилку. Иногда он снимал какую-нибудь тарелку и споласкивал ее еще раз. Я предложил купить посудомоечную машину.

— Зачем же? — сказал он. — Это — приятная работа.

Фред ушел повидаться со старыми друзьями. Вернувшись вечером, он рассказал, что один из них умер от передозировки.

— Я его знал?

— Знал. У него была зеленая паутина на лице. Это он мне тогда сказал, что ты меня ищешь.

Через две недели в Вену прибыл Мишель Ребуассон. У нас было совещание в широком составе. Участвовали все, кто имел отношение к балу и мог выкроить час свободного времени. Мишель Ребуассон оказался невысоким смуглолицым бодрячком. Он встал и выдержал паузу, дожидаясь полного и всеобщего внимания. Затем заговорил, подкрепляя свои слова очень живой жестикуляцией. Он сказал, что французские политики отнюдь не в восторге от идеи превращения Вены в центр европейской жизни. Поэтому никто из них, кроме министра иностранных дел, на бал не пожалует. Но ЕТВ придает балу и политический смысл. Время великих дипломатов прошло. Теперь установление политических контактов и посредническая функция — дело средств массовой информации. Со свершившимися фактами нельзя не считаться даже мелкотравчатым политикам.

Мишель Ребуассон снял свой легкий пиджак, явив во всей красе броский, с ярким узором галстук. Когда шеф, стоя, ораторствовал, кончик галстука елозил по разложенным на столе бумагам. Я даже начал опасаться, как бы не нарушился

порядок страниц. Но до этого не дошло. Ребуассон сел, и я должен был объяснить ему режиссерский замысел. Он задал несколько вопросов, но в общем и целом остался доволен. Он назвал проект big deal.[46] Я заметил, что техническое оснащение чревато кое-какими проблемами. Наверняка будут сложности с получением у Общественного телерадио камер и микшерных пультов.

— Все, что требуется, вы получите из Парижа, — ответил генеральный и удалился вместе с нашим коммерческим директором. Вопреки моим ожиданиям отдельный разговор со мной он счел явно излишним. А в беседе с глазу на глаз я бы, конечно, поинтересовался, какую нам вести линию в отношении праворадикальной публики — Бэренталя, Муссолини и Брюно? Показать их вскользь, заодно, или вообще игнорировать? Но потом я подумал, что, может, и не стоит жалеть о таком упущении. А то, чего доброго, еще придется брать интервью у этих шизиков.

Однако с Ребуассоном я увиделся еще раз, и уже вечером следующего дня. У меня была назначена встреча в баре на Зонненфельсгассе с сотрудницей румынского телевидения Антонией Родос.

---

[46] Примечания: 46
Здесь: Великое предприятие *(англ.)*.

Она собиралась вот-вот выехать в Бухарест. Я должен был захватить с собой венский адрес писателя Мирчо Динеску, но забыл его на работе. Пришлось где-то около десяти вечера взять такси и снова ехать в офис. Перед главным входом в здание ETB стояло другое такси. Мы подъехали с противоположных сторон так, что машины осветили друг друга фарами. В той машине сидел мужчина. И возможно, с дамой. Я не мог толком рассмотреть, а выходя, уже не приглядывался. Ночной портье смотрел телевизор. Он бросил на меня беглый взгляд и поздоровался. Я стоял в ожидании у лифта. А когда двери открылись, мне навстречу вышли Мишель Ребуассон и наш коммерческий. Оба выглядели смущенно. Я тоже растерялся, поскольку никак не предполагал столкнуться с ними.

— Хотите еще потрудиться? — спросил коммерческий.

— Я кое-что забыл.

— Ну, тогда спокойной ночи.

— Bonne nuit.[47]

На моем письменном столе лежала пухлая папка с режиссерским сценарием и всеми техни-

---

[47] Примечания: 47
Доброй ночи *(фр.).*

ческими схемами, в том числе планами здания Оперы, полученными из пожарного ведомства.

Я раскрыл папку и машинально перелистал бумаги. Один сложенный пополам лист, который мне постоянно требовался для консультаций с техническим персоналом, я держал в самом низу, чтобы его легче было достать. Там было написано все, что касалось графика работы трансляционной техники. А теперь снизу находились планы здания.

Тогда я не придал этому обстоятельству особого значения. А сегодня под крышей задрипанного отеля в Цхинвали, столице Южной Осетии, это не выходит у меня из головы. Вместо того чтобы думать об интервью, которые могли бы пролить свет на причины критического отношения южных осетин к центральному руководству Грузии — благо даже работал телефон, и я мог бы договариваться о встречах, — я гонял пленку в своем маленьком кассетнике, слушая разговоры, записанные за последний месяц. При этом роль ЕТВ становилась для меня все загадочнее. Не исключено, что я сам перемешал бумаги в своей папке во время совещания, когда хотел показать кое-что генеральному директору. Да и вообще могла быть тысяча причин отсутствия Мишеля Ребуассона на

балу в Опере. Тем не менее меня неотвязно мучил вопрос: имело ли ETB какое-то отношение к тому, что произошло? Знал ли что-нибудь Мишель Ребуассон? Это смахивало на бред. Я не мог найти никаких реальных подтверждений. Не идти же в полицию с заявлением: «Вы уже установили виновных. А вот я вам дам другую наводку — в моей папке обнаружилась странная перемена. Хотя, конечно, я и сам мог перетасовать бумаги».

После того эпизода в Хорватии, когда я наблюдал, как мертвого солдата переодели в цивильное и положили на дорогу для съемки, я понял, что от этой фирмы можно ожидать всего, что угодно. Почему Мишель Ребуассон во время телефонного разговора, когда он выражал мне соболезнование в связи с гибелью Фреда, поручил мне смонтировать из всего отснятого материала фильм на 115 минут? Почему именно мне? Ведь знал же он, в каком я был состоянии. Или я сидел за режиссерским пультом именно для того, чтобы потом монтировать фильм? Если бы мне не поручили режиссерскую роль, я, несомненно, находился бы в зале в качестве репортера для работы с восточноевропейскими политиками — и сейчас был бы уже покойником.

Целый месяц я безуспешно возился с докумен-

тальным материалом. Я не мог тогда думать ни о чем, кроме смерти Фреда, и потому с фильмом ничего не получалось. Я взял отпуск и начал собственное расследование. Теперь, когда смонтированная лента сулит в самом скором времени неслыханные в истории документального кино прибыли, я спрашиваю себя: разве любой человек, замысливший это предприятие, не руководствовался тем же инстинктом, что и я, когда делал свои сенсационные репортажи? Тут требовалась какая-то подсказка. Без этого никому не придет в голову снимать бал в Опере потому, что там возможна катастрофа. И пока я сам не довел себя до сумасшествия, лучшее решение — договориться о встречах с южноосетинскими политиками. Если телефон еще работает.

Рихард Шмидляйтнер, фабрикант
Пленка 2

Коммерциальрата Шварца я посетил в его ложе около одиннадцати часов. Но Ян Фридль не пожелал идти со мной. Он сказал, что заглянет к министру по делам искусств. Не думаю, что он сделал это. Скорее, Ян ожидал увидеть министра в нашей ложе. Итак, я направился к Шварцу, его ложа находилась ярусом выше. Публики в ней как сельдей в бочке — в сборе было все семейство. Младшая дочка только что спустилась потанцевать. Они пили церковное вино — дар монастырских виноградников близ Гобельсбурга. Сначала мы говорили о листовках. Но и здесь никаких подробностей я не узнал. Листовки разбрасывали откуда-то сверху. Когда мы сдвинули бокалы, Шварц сказал, мол, ему есть что отпраздновать: у него на мази выгодная сделка с одной швейцарской торговой фирмой.

— У меня тоже, — ответил я, слегка оторопев.

Я не поверил ему.

Швейцарцы готовились открыть двенадцать филиалов с большим отделом свежей выпечки

в каждом. Договор держали в строгой тайне от коллег по отрасли. В сбыте я уже достиг лимита, но раздаривать хлеб, естественно, не собирался. Необходимые объемы продукции могли давать и немногие большие пекарни. Флорисдорфскую, которая принадлежала Шварцу, я, по существу, сбросил со счетов. И был умерен: они только сбивали цену. Но я носом чуял, что опасность исходит прежде всего от двух хлебозаводов в федеральных землях: несмотря на готовность региональных властей оказывать им существенную поддержку, там нашли возможность открыть несколько рабочих мест. Вот такие дела. Они пойдут на более высокую оплату каждого рабочего места. Но деньги еще не истрачены, а места уже ликвидируются. Коммерции советник Шварц рассчитывал, таким образом, на дополнительный куш. Он вскользь упомянул об этом с видом человека, который, подняв бокал, вдруг вспоминает, что у сестры сегодня именины. Тут было что-то не так. Кроме того, решения должны были принять только неделю спустя. Смех Шварца раздражал меня.

Когда мы переключились на другие темы, я думал о том, какие средства он готов вбухать, чтобы ускорить решение и обратить его в свою

пользу. Он стал скуп на комиссионные, приплачивал далеко не всегда. А с другой стороны, и многие швейцарские бизнесмены слыли скупердяями и, стало быть, охочими до комиссионных. Есть такой старый анекдот: «Каково назначение дырок в эмментальском сыре? — В них спрятаны комиссионные». Наиболее вероятным мне казалось предположение, что он занялся побочным бизнесом. Его сын не без успеха подвизался в фотоиндустрии. Я как раз собирался задать молодому Шварцу вопрос о его бизнесе, но тут коммерциальрат начал распространяться про расширение своего. Он сказал, что намеревается увеличить количество мест только для младшего персонала по обслуживанию оборудования, чтобы постепенно доверить ему производственные операции. Их не надо будет долго учить, поскольку они уже знают процесс.

Недавно он будто бы — и я постепенно стал сознавать серьезность положения — снова объявил о приеме нескольких человек для работы в качестве младшего обслуживающего персонала. Набралось 149 желающих. Со всеми было проведено телефонное собеседование, в конце концов для личной беседы отобрали четырнадцать. Восемь свободных мест, скорее всего, займут

иностранки. Местные все равно уже не подходят для этой работы, так как имеют искаженное представление о денежном достатке. Я охотно согласился бы с ним, если бы не тягостное чувство, что он хочет мне сказать что-то совсем другое.

— Сегодня на двенадцать ноль-ноль, — продолжал он, — были назначены беседы с кандидатами. Мне хотелось побыстрее разделаться с этим. Как вы думаете, — на одном давнем празднике в Союзе промышленников мы договорились быть на «вы», — как вы думаете, сколько пришло человек?

— Только половина из отобранных, — ответил я, и мне вдруг стало ясно, что он, говоря о сделке, просто блефовал, чтобы в последней, решающей фазе отвести удары с моей стороны.

Мои отношения с сиятельной особой, то бишь с Катрин Пети, уже стали темой газетных сплетен. Должно быть, он предполагал, что я часто бываю в Швейцарии, а потому — и здесь был недалек от истины — мне легче завязать личные контакты с фирмой. Он хотел провести меня.

— Скорее всего, лишь половина, — добавил я, — у меня то же самое.

— Ни одной живой души! — горестно воскликнул он и поднял указательный палец. — Ни

одного ситцевого платочка в двенадцать часов не пожаловало. Сто сорок девять заявок, и никого на собеседовании. А еще жалуются на безработицу. Как все это понимать?

— Уровень зарплаты младшего персонала у вас, вероятно, не выше, чем у меня.

Вид у него был озадаченный.

— Но это же лучше, чем ничего. Почему бы не заработать на уборке грязи? А им по телефону было ясно сказано: есть перспективы дальнейшего роста.

— Я бы и этого не обещал.

Вот теперь мне его лицо нравилось.

— А я что тебе говорила, — вмешалась его жена, известная своим сострадательным отношением к брошенным младенцам, — я всегда считала, что они должны больше зарабатывать.

До этого она наблюдала за танцующей дочкой, а тут повернулась к нам.

— При чем здесь это? — рявкнул Шварц. — Хоть одна из моих работниц принесла в подоле ребенка в твой фонд для оказания помощи?

— Тебе откуда знать? — сказала она. — Есть немало женщин, которым удается скрывать беременность. А к нам поступают в основном крохотулечки в два с половиной кило весом.

Должен признаться, ситуация не беспокоила меня. Всем было известно, что у коммерциального советника возникли проблемы с фондом его супруги. Как только был основан сей *Центр помощи брошенным младенцам,* именуемый в народе *Бюро невостребованных находок,* а именно в тот день, когда в Вене обнаружились сразу три подкидыша, все газеты пели дифирамбы госпоже советнице, которая к тому же предстала на фотографии с чужими детьми на руках. Изрядная доля пиаровских щедрот пришлась и на флорисдорфскую пекарню, которая в прямом смысле пожертвовала какие-то крохи самым беспомощным из неимущих, так что улыбка советницы перед объективами, видимо, была искренней. Однако вскоре последовала критика, придавшая улыбке госпожи Шварц некоторую напряженность. Со дня основания было заявлено, что *Бюро находок* заботится о найденышах до тех пор, пока благодаря строгому отбору не будут приисканы приемные родители. Но тут число подкидышей стало стремительно расти. Ночами к дверям *Центра* регулярно возлагались хозяйственные сумки и выложенные пенопластом коробки. Полиция усилила патрульный надзор. Были изловлены один дед, двое отцов,

одна мать и какой-то мужчина, чье отношение к подкинутому ребенку выяснить так и не удалось. Этот тип почти не говорил по-немецки и не имел никаких документов. Куда его в конце концов дели, неизвестно, но ребенок остался.

Прошло не так много времени, и коробки с дырчатыми стенками стали находить на ближайших трамвайной и автобусной остановках. Чаще всего фирменные картонные ящики из-под стереоустановок и телевизоров, эти резервуары могли хранить тепло в течение нескольких часов. Криминалистический анализ картонок, даже при участии телевизионных спецов по розыску, ничего не дал, поскольку злоумышленники пользовались только упаковочной тарой самых ходовых аппаратов, которая мозолит глаза в каждом универмаге и часто употребляется для переезда на новую квартиру.

Даже среди служителей Католической церкви, с самого начала поддерживавшей проект и готовой включить госпожу советницу в очередь на причисление к лику святых как национальную мать Терезу, появились критики проекта, который, по существу, поощрял оставление матерями младенцев и, таким образом, покушался на нерасторжимость семейных уз. На что

последовало возражение, адресованное одному нахальному журналисту, что Моисей, как известно, был подкидышем, коему потом Господь открыл священные заповеди. Упоминание библейского патриарха в этой связи отдавало кощунством. И уже не только в Союзе промышленников, но и в журналистской среде, о чем свидетельствовали зловещие намеки прессы, все увереннее поговаривали, что коммерции советник Шварц за милую душу похерил бы весь проект. Но для жены ее занятие было самой пылкой страстью, даже призванием. Она руками и ногами отбивалась от всех нападок. Фрау Шварц по-прежнему позировала репортерам, держа на руках преимущественно темнокожих детишек, хотя именно это укрепляло общество во мнении, что ее *Центр* вызывает приток чужеземцев, задумавших сбагрить своих младенцев в Вене. Поэтому она неустанно выступала за более строгий пограничный контроль. Тяжелее всего приходилось стражам южных и восточных рубежей, поскольку замотанным пограничным чиновникам всякая семья, въезжавшая в страну с маленьким ребенком, казалась подозрительной.

— Как видите, — сказал советник Шварц, — моя жена — неисправимая социалистка.

Суждение, однако, более чем неожиданное.

— Несколько лет назад, — сказал я, поднимаясь, — один молодой человек заявил мне, что при таких деньгах, которые я плачу своим работницам, мой завод надо взорвать к чертям собачьим. Я ответил ему: «В принципе вы правы».

Все семейство недоверчиво посмотрело на меня.

— Я могу процитировать это за «круглым столом» по тарифной политике? — спросил Шварц, когда я протянул ему на прощание руку.

— Разумеется. Тогда будет повышена зарплата младшего персонала. Но мы автоматизируем обслуживание техники, и вас, сударыня, возможно, порадует приток младенцев отечественного производства.

Мне самому понравилось, как я с ними расстался. Им придется приложить усилия, чтобы зализать свои болячки. А у меня не было желания после дешевого трюка Шварца льстить ему и его присным. Выходя из ложи, я встретил его дочь под ручку с рыжим молодым человеком. Она представила его мне. Я пропустил мимо ушей имя, но обратил внимание, что слова «Очень рад» он произнес с французским прононсом.

— К сожалению, меня ждут, — сказал я. — По-

позже непременно увидимся.

Спускаясь вниз, я поприветствовал кое-кого из знакомых, но уже не останавливался. В этот момент я решил на следующий же день позвонить в Швейцарию и выяснить, как завертелось дело.

Однако в первую очередь мне было любопытно узнать, кого я застану в своей ложе. Когда я вошел в нее, до полуночи оставалось почти тридцать минут. Ложа была пуста. А дама из левой, соседней, торжествуя, сообщила:

— Я похитила у тебя художника.

Платье на ней было новее вечерней газеты, если можно так выразиться, прочий наряд тоже. Обычно она тратит на это кучу денег. Зеленая с мягко затененными полосами ткань. Кольцом из той же материи стянуты на затылке волосы. Ее звали Моника Долецаль, она лет на десять моложе меня. Истинно бальное знакомство. Их семья абонировала ложу с тех же давних пор, как и мы свою. Я помню Монику еще совсем юной на первом балу в ее жизни. Позднее она взяла в свои руки овощную торговлю отца. Замуж так и не вышла. В последние годы она всегда привозила на бал многочисленных друзей. И в их ложе никогда не умолкал веселый гул. Стоп. Ее ведь нет в списке? Стало быть, она жива? В таком случае я

обязательно позвоню ей. Я целый год не видел ее, мы встречались только на балу.

Итак, Долецали. Они составляли… составляют весьма приятную компанию. Если сравнить обе ложи, Долецалей можно уподобить легкой музыке, а Хильцендорферов — серьезной, но эти два семейства принадлежат совершенно разным мирам. Долецали в общем-то не любители оперного искусства. Зато не пропускали ни одного мюзикла. Если мне не изменяет память, несколько раз даже летали в Лондон и Нью-Йорк на премьеры. Как только оркестр начинал играть странные мелодии, которые я не могу отличить друг от друга, левая ложа пустела. Заветным желанием Моники было пригласить на бал в Опере того самого Уэббера, который навалял множество этих немыслимых инфантильных опусов. К счастью, это ей не удалось. Но мне нравилось, что она никогда не задирала… простите, не задирает нос. В сущности, все Долецали — работящие и толковые люди, семья добилась положения своим трудом. Они умели вкладывать деньги, и, насколько я знаю, без особых осечек. Сегодня в их руках практически вся торговля фруктами. Моника говорит по-венгерски и легко понимает славянскую речь. Помнится, на каждом балу она предлагала мне

вкладывать деньги в страны Восточной Европы. Но я не хотел. Хлеб обладает слишком большой символической силой, чтобы с его помощью в кризисных регионах создавать процветающие предприятия. Никто не хочет есть чужой хлеб. Я получаю письма от знакомых, путешествующих по Америке, они просят, чтобы я авиапочтой высылал им наш хлеб. Не могу поверить, что словаки когда-нибудь будут жевать венский хлеб. Разве что иногда в виде экзотической добавки. Но если бы я перенес туда свои экономические интересы, у словаков возникло бы чувство, что они опять должны петь наши песни. И наоборот, если (юнцы узнают, что мы печем свой хлеб в Словакии, флорисдорфский хлебопек сможет исподтишка злорадствовать. Дешевая рабочая сила никогда не компенсирует потерь на рынке.

Кроме того, от коллег из Союза промышленников я слышал совсем иные сюжеты. Некоторые предприниматели потерпели полное поражение. Кого-то мы с трудом спасли от провала краткосрочными кредитами. А всему виной в большинстве случаев оказавшиеся не у дел политики. Сегодня какой-нибудь министр из-за скандала лишается кресла, а завтра он уже сует всем визитную карточку со словом Consultihg и

начинает навязывать свои зарубежные контакты для торговли с восточными странами. С комиссионными у них всегда все в порядке, а бизнес выигрывает редко. Политическая дипломатия и дипломатия бизнеса — это пироги с совершенно разной начинкой. Политики полагают, что главное — хорошие контакты и хорошие комиссионные. Это — заблуждение. Для бизнеса куда полезнее разлаженные контакты, а лучше всего сохранение ощутимой дистанции, даже глухая стена, и скупые комиссионные. Все это ставит на первое место товар, а не акт купли. Деловой партнер должен чувствовать: мой товар настолько хорош, что у меня нет необходимости всучивать его.

У Моники Долецаль — свой особый подход. Когда она общается с крестьянами, можно подумать, что она — одна из них. Она пьет с ними на брудершафт и поет их песни. Наши восточные торговые каналы она попросту игнорирует и постоянно обескровливает, вступая в соглашение с крестьянами. Если бы она последовала советам бывших политиков, ей пришлось бы умасливать комиссионными каждого щедрого на услуги шарлатана с важной осанкой, а в результате она получила бы пустое сальдо.

Я зашел в соседнюю ложу. Родители Моники приветствовали меня чересчур эмоционально. Старый Долецаль вскочил, развел руки и запел:

На бал мы ходим не танцевать,
а чтоб хлебопеков увидеть опять.

Его жена, которой стоило немалого труда удерживать в тисках платья свои пышные формы, с задорным видом протянула мне руку.

— Наконец-то! — воскликнула она. — Хорошему столу — свежая выпечка.

Ян Фридль — в своем кресле, рот был перекошен застывшей пьяной улыбкой.

— У меня только четверть часа, — сказал я. — Надо ехать в аэропорт.

— Когда же мы увидим госпожу княгиню? — спросила старшая Долецаль. — Я уж решила, вы хотите скрыть ее от венцев. Мы тоже ожидаем гостя.

Долецаль был на несколько лет старше меня. Кого именно они пригласили, он не сказал, сюрприз есть сюрприз. Намекнул, что это знает только ЕТВ, — появление гостя должно произвести подобающее впечатление.

Господи, подумал я, наш пострел везде поспел. Моника чмокнула меня в щеку. Несмотря на то

что мы не виделись целый год, она вела себя с такой милой непосредственностью, будто мы через день встречались для интимных бесед. Я сел рядом с ней, напротив Яна.

Долецали распространяли флюиды хмельной веселости. Они, не стесняясь, могли подхватить мелодию, доносившуюся из зала. Казалось, нет на свете такого горя, которое испортило бы им настроение.

— «На кой мне ляд уныние, натешусь вдосталь ныне я», — пел Долецаль, подладившись к бравурной мелодии польки, которую играл оркестр. У просцениума, среди кружившихся в танце пар, стоял седовласый мужчина и лишь вытягивал руки в сторону своей юной партнерши и тут же отводил их назад, словно тренируясь в работе с лыжными палками. Его партнерша на первый взгляд казалась обнаженной. Платье было почти невидимым. Она раскачивалась всем корпусом и совершала при этом какие-то странные движения, будто налегала на весла. Когда в рядах танцующих возникал просвет, можно было разглядеть, что на ней все-таки что-то надето.

— Вы опять что-то заприметили? — спросила Долецаль-старшая.

— Ах, эта! Она лишь готовит себя к предстоя-

щему счастью.

— Скорее, готовит к счастью его, — сказал Долецаль. — И завтра он снова запрыгает, как кенгуру.

— На все есть своя медицина, — согласилась супруга. — Приходит Навратилиха к госпоже Поспишил. Ах, говорит, какой кругом прогресс, госпожа Поспишил! Нынче на все есть своя медицина. От солей лечат в солярии. Вспухнут вены — идут к венерологу. Расстройство желудка — к дерматологу. А заболит моченой пузырь — надо идти к писиатру.

— А знаете такой анекдот? — подал голос сам Долецаль, когда все повернули головы в сторону императорской ложи, где в этот момент канцлер Австрии тряс руку канцлера Германии, указывая другой рукой на зал, словно хотел сказать: «Если немцы соскучатся по празднику на широкую ногу, милости просим и Вену». — Австрийский бундесканцлер спрашивает немецкого: как это вам удается? У вас все правительство говорит одним языком, а у нас каждый — свою ахинею. Немецкий бундесканцлер отвечает: я задаю людям вопрос: «Скажите, что это за человек, который приходится братом моей сестре, а мне не брат?» Если спрошенный отвечает: «Это вы,

господин бундесканцлер», он может стать членом правительства. Тогда австрийский канцлер решил на ближайшем заседании кабинета задать тот же тест. Смущенное молчание. Тогда пришлось самому отвечать: «Не могу сказать почему, но по каким-то причинам это — немецкий бундесканцлер».

Глядя на старика Долецаля, которого до слез смешили собственные анекдоты, невозможно было удержаться от искушения посмеяться с ним за компанию, даже если приходилось в двадцатый раз слушать одно и то же.

— Как продвигается твое наступление на Восток? — спросил я Монику.

— Если отведут вражеские войска, — ответила она, — я покорю Кавказ. Уже изучаю ситуацию. Наибольший интерес представляет южная часть, транскавказская территория. На побережьях Черного и Каспийского морей плодоносит практически все. У мандаринового бизнеса есть еще кое-какие перспективы. Если дело заладится, израильские, итальянские и испанские цитрусовые, скорее всего, будут потеснены кавказским товаром. Проблема в том, что там живут мусульмане. А у меня никакого опыта общения с ними. С другой стороны, за ними будущее. В деловом

отношении интересны также армяне. Но они — христиане, и в этом регионе у них в ближайшем будущем нет шансов. В Азербайджане набирают силу иранские муллы, а я им не доверяю. Остается маленькое государство Аджария. Оттуда я на сегодняшний день получила восемь автопоездов. Все — с первоклассным товаром. Особенно хорош инжир. Он лучше турецкого. Но девятый автопоезд так и не пришел. Турки говорят, будто его перехватили лазы или курды. Мне что-то не верится. Все указывает на то, что турки сами хотят перекрыть мне канал. И упорно не желают помочь докопаться до истины. Особенно жалко шофера, у него семья. Уже три месяца, как он бесследно исчез. Я наняла частного детектива. Автопоезд, насколько я знаю, отбыл из Батуми полностью загруженный и поехал по направлению к Турции.

— И ты свернула этот бизнес?

— А что мне оставалось? Но я не сдаюсь. Недавно я была в Ингушетии. Это — маленькая страна, зажатая между Северной Осетией и Чечней. Трудная выдалась поездка. Ни одна венская турфирма не объяснит тебе, как туда добраться. В Ингушетии сто пятьдесят тысяч жителей и два крупных промышленных предприятия. Я бы сказала, вся

страна ждет, когда можно будет поставлять мне фрукты и овощи. Не знаю только, сумею ли решить проблему транспортировки. Из-за плохих дорог на Большом Кавказе путь через Грузию практически невозможен. Остается Россия. Но русские не очень-то жалуют ингушей. Это меня не удивляет. Ингуши вооружены чуть ли не поголовно. В их столице Назрани рядом с шоссе ты увидишь рынок оружия. Там купишь все, что хочешь, — от пистолета до боевого вертолета. Купленные там за смешные деньга несколько «Калашниковых» — подарок, который безотказно подействует на любого градоначальника. И не успеешь оглянуться, как у твоей двери уже стоят малоземельные крестьяне со своими продуктами. Есть над чем подумать. Ингушетия — государство, которое в экономическом плане никому не нужно. Стало быть, его беру я. Они выращивают то, что как раз подходит мне. И когда у них наконец появятся деньги, они смогут настроить себе домов, а не копить оружие.

Ян Фридль объяснял чете Долецалей, что больше всего он любит анекдоты без эффектной концовки. Госпоже Долецаль захотелось услышать таковой. Ян Фридль не заставил себя ждать.

— На дереве сидела кукушка. Шел дождь, и

ружье охотника стало мокрым.

— Но здесь же есть концовка, — сказала Долецаль.

— Неизвестно, однако, что она означает, — отвесил Ян.

Пожилой даме не терпелось ее найти.

— Из мокрого ружья нельзя стрелять, — заключили она.

— Тогда во время дождя невозможны войны, — объяснил Ян. — Соль анекдота, наверное, в том, что вещи меняются, нарушая привычный порядок, это как в стихах с акрофонической перестановкой.

Они начали читать такие стихи. Ян Фридль пробудился к новой жизни. До полуночи оставалось совсем немного, и мне пришлось откланяться.

— Ты же пропустишь сюрприз, — сказала Моника.

— Увы, но к часу я буду здесь.

Вдогонку она напомнила:

— К тому времени будет и наш гость. Ты обещал представить нам свою диву.

В коридоре я чуть не столкнулся с отпрысками императорской династии. Вместе с двумя какими-то принцессами они, очевидно, направлялись в артистический бар. Люди встали шпалерами,

склоняя головы перед проходящими особами и восклицая:

— Ваше императорское высочество!

Инженер
Пленка 8

На стройплощадке произошли новые стычки с инородцами. Бригадир колотил их почем зря. Похоже, он совсем забыл о своем намерении не привлекать к себе внимания. Ночью я спросил *Нижайшего,* как нам быть. Он сказал:

— Муравейник не уничтожишь булавкой, накалывая на нее каждую букашку. Армагеддон не имеет ничего общего с драками. Армагеддон неизмеримо выше.

На следующий день я старался объяснить Бригадиру, насколько неразумно размениваться на мелочи. Пустая трата сил. После Армагеддона эти насекомые подохнут сами собой.

Ах да, я же хотел рассказать о наказании Файльбёка. Вы знаете башню под названием Юбилеумсварте? Каждый ее знает. Излюбленное место туристского паломничества. Это над Оттакрингом, на краю Венского леса. По воскресеньям после обеда туда ползут процессии экскурсантов, аж на ноги друг другу наступают. Но к вечеру автостоянка пустеет и ресторан уже закрыт. При-

мерно в получасе ходьбы от башни, в стороне от туристской тропы, я набрел на просеку, полосу сплошной вырубки со множеством пней. Самое подходящее место для причастия. Мы не могли сесть так, чтобы получился правильный круг по нашему обычаю, но в общем расположились мы все же по кругу. Одной стороной просека примыкала к густому лесу, за которым не было видно города, а другой — к кромке обрыва. Тут открывался вид на Эксельберг и Софийский луг. Над ними красноватым венцом парили облака. За обрывом, в долине, пролегала дорога.

Как я и ожидал, Файльбёк пришел, хотя на сей раз цепочка оповещения начиналась не с него. Он сел на пенек и усмехнулся.

Нижайший — лицом к закату, он встал и выждал, пока Файльбёк не сотрет ухмылку со своей физиономии.

— Армагеддон, — начал *Нижайший*, — свершится через девять месяцев. Весь мир станет свидетелем, как одним ударом будут открыты врата иной эры. И так же, как сейчас говорят: до или после Второй мировой войны, люди будут говорить: до или после Армагеддона. Семеро простых добросовестных работяг, один студент и один бездельник избраны для того, чтобы по-

казать: возможно все, если на то есть у человека воля и если Провидение на его стороне.

Нижайший обогнул свой пенек и встал на него, преклонив колени. Он закрыл лицо руками и замер. Со всех сторон доносились птичьи голоса, иногда шелестела листва на деревьях, где-то в лесу скрипнул сук. За обрывом, в лощине, то и дело раздавался шум моторов. Когда *Нижайший* открыл лицо, мы увидели — оно все в слезах. Под глазами и у переносицы, где при пластической операции надрезали кожу, выступили красные пятна. Он неподвижно смотрел вдаль и плакал.

Потом он сказал:

— Мы слабы. И все же Провидение сделало нас своим орудием. Поэтому мы не имеем права на слабость. Провидение сурово. Оно беспощадно карает ЮС, кто не хочет ему покориться. Но оно же и милосердно. Всем, кто способен уразуметь его волю, оно дает последний шанс. Файльбёк, мы должны наказать тебя, но мы не хотим тебя терять.

Файльбёк, безусловно, отдавал себе отчет в том, что его действия станут предметом обсуждения. Но он был явно обескуражен тем, как скоро наступил час расплаты. Он встал:

— Я хочу вам кое-что сказать. «Стройбат» уже

знает о чем. Я не согласен с тактикой. Мы должны вести пропаганду. Мы должны сегодня действовать так, чтобы завтра нас чествовали как спасителей.

Нижайший прервал его:

— Чего ты хочешь? Почестей или исполнения задачи, для чего ты избран и чему поклялся служить?

— И того и другого, — ответил Файльбёк.

Нижайший все еще стоял на коленях. Он смотрел на облака, которые громоздились над Эксельбергом и Софийским лугом и уже утратили красноватую окраску. Затем он сказал:

— Только сделав всё, мы всё и получим. Тот, кто озабочен собой, не достоин решающей битвы.

Когда он произносил эти слова, лес зашумел и, будто по воле Нижайшего, набежал ветер, взметнув волосы на его голове. Он повернулся к Файльбёку.

— Не мы принимаем решение о твоем наказании — так решено Провидением. От тех, кто ему служит, оно требует железной дисциплины. Если мы дрогнем сейчас, мы окажемся слабыми и в будущем.

Нижайший поднялся и подошел к дереву на краю просеки. Он ударился лбом о кору, затем

еще я еще раз, пока лицо не залила кровь. После этого он вернулся в наш круг и спросил:

— Файльбёк невиновен?

Все молчали. Губы *Нижайшего* были в крови, он слизнул ее и вновь спросил:

— Файльбёк невиновен?

Пузырь ответил:

— Весь «стройбат» виновен. Мы соучастники.

Нижайший не принял этот ответ.

— Спрашиваю в третий раз: виновен Файльбёк или нет?

— Виновен, — один за другим подтвердили мы.

Нижайший подошел ко мне и протянул руку. Я открыл спортивную сумку и вынул топор. Он стиснул пальцами рукоятку и направился к Файльбёку.

— Верни нам палец! — сказал *Нижайший.* — Ты должен вновь заслужить его.

Файльбёк растерянно рассмеялся. Разумеется, он прекрасно понимал, что имелось в виду, но не хотел в это поверить.

— Тут какое-то недоразумение. Я вам все объясню. Вы не можете так поступить со мной. Мы же старые друзья.

Нижайший держал перед ним топор, вперед рукояткой, и ждал. Затем сказал:

— Давай. Отруби себе палец. Иначе это придется сделать нам.

— Вы с ума посходили! — закричал Файльбёк.

— Держите его! — приказал *Нижайший.*

Файльбёк попытался схватить топор, но *Нижайший* быстро отвел руку. Мы накинулись на Файльбёка. Он отбивался изо всех сил. Его опрокинули. *Нижайший* передал мне топор. Ребятам не удавалось как следует прижать руку Файльбёка к коряге. Он ухитрялся вертеть ею. Бригадир оттянул ему мизинец. Тут первый раз хрустнуло. Я хотел пару раз тюкнуть топором. Но рука продолжала елозить. Я мог попасть по рукам ребят. Поэтому я отбросил топор, крепко ухватился за палец Файльбёка и рывком вывернул его. Хрустнуло еще раз, и мизинец был уже на отлете. Файльбёк издал жуткий крик. Я рванул палец на себя. Но кожа и сухожилия, как я ни старался, не давали отделить его. Тогда я вытащил из сумки складной нож, чтобы перерезать сухожилия. Я думал, что это можно сделать одним махом, но все оказалось не так просто: тело Файльбёка содрогалось от вскриков, а рука беспрестанно дергалась. Я попадал лезвием то в одно, то в другое место, пытаясь оторвать палец. Все было перепачкано кровью, и наконец я рассек сухожилия.

С теплым окровавленным пальцем я шагнул к своей сумке. Когда раскрыл ладонь и посмотрел на отсеченный палец, меня чуть не вырвало. Файльбёк перестал кричать. Он хватал ртом воздух и стонал. Я отложил палец и вынул из сумки бинт, йод и иналгон, который Файльбёк когда-то принес мне. Из раны на его ладони выглядывала косточка.

— Давай дальше, — наседал Панда.

Когда я капнул йодом на рану, Файльбёк снова начал кричать. Я прикрыл кожей обнаженную кость и наложил тугую повязку, как меня учили в армии. *Нижайший* присел рядом с Файльбёком, погладил его по щеке и влил ему в рот капли иналгона.

— Все позади, — сказал он.

Спустя время, когда Файльбёк немного отошел и начал разглядывать свою руку, *Нижайший* заверил его:

— Если хочешь, можешь уехать. Мы сняли для тебя дом. Можешь жить там до окончания Армагеддона. Но и к нам дорога тебе не закрыта.

Я сунул в карман куртки Файльбёка бумажку с адресом и описанием маршрута.

Тем временем поднялся сильный ветер. Небо заволакивали темные тучи. Надо было уходить.

Не успели мы пройти и полпути к автостоянке, как хлынул дождь. Я накрыл ладонь Файльбёка целлофановым пакетом и забинтовал руку до локтя. Потом подставил свои ладони под дождь, чтобы смыть кровь. Туристской тропы еще не было видно. Файльбёку стало плохо. Он сел на землю. Мы помогли ему подняться и двинулись вперед. Когда вышли из леса, показались слабые огоньки фонарей у парковки. Мы промокли до нитки. Я сполоснул ладонь в луже. На других тоже была кровь. Бригадир, Панда и я отвезли Файльбёка домой на его машине. По дороге никто не проронил ни слова. Я чувствовал себя опустошенным, но не несчастным. Он сам так хотел, рассудил я. И еще подумал: это еще больше сплотит нас.

Мое задание еще не было выполнено до конца. Поднявшись к себе в мансарду, я положил отрезанный палец в мойку. Сумка была запачкана кровью. Я вымыл ее. Промыл и топор, хотя и не пользовался им. Потом встал под душ и тут же весь мокрый выскочил из ванной, чтобы принести палец. Это был кусочек Файльбёка. Почему бы ему тоже не принять душ?

У меня было ощущение, будто я споласкиваю куриную ножку, только совсем щупленькую.

На дне душевой ванны появилась красноватая слизь. Я оттянул на мизинце кожу, показался костный шпенек. Я заткнул пяткой сливное отверстие, чтобы набралось немного воды. Взял палец за кончик и начал купать его. Всплыли какие-то кровяные сгустки. Я положил палец в мыльницу. Вытерся полотенцем и надел свежее белье. За письменным столом я обработал ноготь мизинца маникюрной пилкой. При этом на срезе выступили капельки какой-то желтоватой жидкости.

Хотелось понять, что это такое. Я снова задрал кожу. Промыв палец еще раз, я прихватил его бумажной салфеткой и опустил в морозильную сумочку, затем свернул ее, сунул в карман брюк и с этим маленьким грузом отправился на Карлсплац.

Это было часа в два ночи, если не позже. У кафе «Музеум» я спустился в переход. Там не было камеры наблюдения. Поэтому *Нижайший* и выбирал для своих проповедей эту часть пассажа. Я незаметно вытряхнул палец из сумки и отправился домой. После трехчасового сна поехал на стройплощадку. Надо было опередить столяров, чтобы незаметно вернуть топор на прежнее место.

Клаудиа Рёлер, домохозяйка
Пленка 2

С самого начала все как-то не заладилось. К билетам в Оперу прилагалось уведомление о том, что нас просят прибыть на бал заблаговременно, не менее чем за два часа до начала, ввиду планируемых определенными группами демонстраций и возникающих в связи с этим возможных проблем. В четыре часа дня наш самолет с небольшим опозданием приземлился в аэропорту Швехат. Зигрид встречала нас. Ее обеспокоило самочувствие отца. Он передвигался на костылях, чтобы сберечь силы для вечернего праздника. Отец приглашал в Оперу и Зигрид. Она, как и мы вначале, отказалась, но, в отличие от нас, не изменила своего решения. Отец — рядом с ней на переднем сиденье. Ему пришлось описать ей весь процесс выздоровления. Зигрид вновь и вновь интересовалась подробностями, будто не доверяла моим бесчисленным телефонным сообщениям. Она советовала отцу обратиться к таким-то и таким-то врачам, которые, по ее словам, были уже в курсе дела. Я не сомневаюсь,

что она неделями только врачам и звонила. Еще в Берлине она готова была показать отца целой плеяде медицинских светил. Отец сказал ей: «Ты поступаешь так, будто меня может спасти только сборная команда элитных эскулапов. Со мной все в порядке. Нога почти зажила».

Когда мы торчали в пробке на Шюттельштрассе, возле «Урании», Зигрид настаивала на том, чтобы, не заезжая в отель «Империал», мы ненадолго заглянули на Таборштрассе. Она договорилась о встрече с профессором Пойгенфюрстом, главным врачом клиники Лоренца Бёлера, лучшим в Вене хирургом «скорой помощи».

— Это дело нескольких минут, — сказала она. — Ему пересланы берлинские врачебные заключения. Он лишь посмотрит ногу.

Отец отказался.

— Завтра, после обеда, — решил он. — Только не сегодня.

В зеркале заднего вида я видела глаза Зигрид. Мне казалось, это глаза моей матери. Те же морщинки вокруг, те же длинные ресницы. Вскоре после смерти матери Зигрид поседела. Именно тогда перестала красить волосы. Наконец она стала коротко стричься, и получилась, хотя Зигрид всегда оспаривала это, прическа моей матери.

Седая голова, которую я видела перед собой, то и дело поворачивалась направо. Несколько раз Зигрид пришлось резко тормозить. Отец сказал:

— Я хочу еще пожить Ты лучше смотри не. на меня, а на дорогу.

Я поймала взгляд Зигрид. Ее ум служил матери поводом для упреков в мой адрес. Унаследованные от отца способности и собственное усердие обеспечили Зигрид, без всякой протекции, хорошую работу в венском Фонде Нильса Бора. Это учреждение финансируется международными концернами и поддерживает проекты фундаментальных исследований в области физики и математики. Задача Зигрид — находить экспертов, которые могут отобрать из всех предложенных проектов те, что заслуживают поощрения. Только она в нашей семье способна понимать научные работы отца. У нее была скромная мечта добиться когда-нибудь финансирования для одного из отцовских проектов. Но отец отказывался подавать их. Он говорил: «Я довольствуюсь казенным пайком».

Зигрид чего-то достигла, а я всего лишь вышла замуж. В нашей первой франкфуртской квартире на Вольфгангсштрассе Зигрид с отцом вели научные беседы, а я возилась со льдом на кухне. В два

часа ночи, когда все мы были уже пьяненькие, я стелила в комнате еще две постели, а отец шел к окну и смотрел на штаб-квартиру американских войск; раньше в этом здании находилось управление концерна «Фарбенин-дустри». Зигрид помогала мне стелить. А отец, стоя у окна, задумчиво произнес:

— У тебя собираться — просто прелесть. Но террористу лучше этой квартиры не найти.

С тех пор каждого нового жильца нашего дома я стала приглашать на кофе, чтобы поинтересоваться, как и чем он живет.

Мы все еще не могли доехать до отеля. А ведь в моей памяти Вена была городом, где автомобиль чуть ли не скоростное транспортное средство. Но пробка не вызывала у меня досады. Я была рада снова видеть Рингштрассе. И отец об этом всегда мечтал.

— Без Рингштрассе город не имеет центра, — сказал отец.

Когда я навещала сестру, которая жила в нашей старой квартире неподалеку от Рингштрассе, меня, как только я выходила из дома, так и тянуло пересечь эту улицу. После чего у меня возникало ощущение, что я действительно в Вене. Едва мы завидели Луэгерплац и памятник Луэгеру, отец

бросил реплику:

— Они все еще гордятся своими антисемитами.

Он объяснил Герберту, что университет находится на том отрезке центрального кольца, который именуется Луэгерингом. Иностранные коллеги, дабы продемонстрировать хорошее знание немецкого, часто пишут на почтовом конверте: «Люгерринг» и, сами того не ведая, попадают в точку, ведь это можно истолковать и как «банда лжецов». От Луэгерплац до отеля «Империал» было уже рукой подать.

— Ваши апартаменты на шестом этаже, — сказал администратор. — Извините, что не могу проводить вас. Вам поможет porteur de bagage.

Porteur de bagage. Звучало импозантно. В своей голубой униформе, в кителе с золотыми кистями и эполетами, в брюках с золотыми лампасами и в фуражке со сверкающей золотом надписью *Империал,* низкорослый уроженец южных широт, который нес наши чемоданы, выглядел так, будто только что покинул костюмерную какой-нибудь киностудии.

У всех у нас были свои апартаменты, или номера, как их упорно называл отец, состоявшие из прихожей, гостиной, спальни и ванной. Из окон

открывался вид на «Мюзикферайн» и верхние этажи Технического университета. А внутри все блистало позолотой: стулья, столы, обои.

Отец с Гербертом решили заглянуть в гостиничный бар. А меня потянуло на Кертнерштрассе. Было очень холодно. Зеленые крыши мерцали отсветами вечерней зари. Вдоль правой стороны Оперы, у въезда в подземный гараж, стояло пять грузовиков технической службы ЕТВ. На двух из них — французские номера. Позади серебрилась мачта, по которой взбирались толстые разноцветные шнуры кабеля; они, провисая тяжелой связкой, тянулись от верхушки мачты к одному из открытых окон над аркадой. Я наблюдала за деловитой суетой техников, они бегали со своими маленькими рациями и лопотали какую-то абракадабру вроде: «Звук от камеры четыре на внешнее реле два. Кассету один через микшерный пульт. Смотри схему включения, не синий, а желтый. Эх ты, темнота».

На Кертнерштрассе мне пришло в голову, что, по существу, я должна бы платить за присутствие на этом роскошном дефиле.

Казалось, здесь демонстрируются меха со всего света. Не дойдя до середины улицы, возле казино, я столкнулась с группой юнцов. Они потягивали

пиво и явно задирали прохожих. При попытке обойти их они проделывали соответствующий маневр, чтобы снова помешать вам, и надо было еще сообразить, как быть дальше. Я решила пойти в обход, свернув на Аннагассе, и тут у меня перед носом оказалась пивная банка.

— Хочешь выпить? — прицепился ко мне какой-то хулиганишка. Плохо выбритое лицо от алкоголя и холода пылало кирпичной краснотой. Волосы стрижены неровно. От него несло пивом.

— Благодарю, — сказала я, отступая.

— Ну глоток.

— Благодарю, не стоит.

— Нет, ты все же прими.

Не успела я опомниться, как он обдал меня струей пива.

Я побежала вниз по Аннагассе, а он вернулся к своим приятелям. Мое светлое пальто покрылось бурыми пятнами. Я попыталась очистить его платком, но ничего не вышло. Вернувшись в отель, я почувствовала, что меня бьет дрожь. Герберт отнес пальто вниз, сдать в химчистку. Отец старался успокоить меня.

— Теперь это сплошь и рядом. Самое разумное — поскорее забыть.

Он заказал для меня бокал шампанского.

— Все хорошие дела начинаются с неудачи.

Когда принесли мой бокал, он чокнулся со мной и сказал:

— За наш вечер.

— И за любовь твоей юности, — ответила я, тут же пожалев, что ляпнула это. Но отец, похоже, не слышал. Его все еще тревожило мое состояние.

— Я тебе рассказывал, что меня ограбили в Берлине?

— Разве тебя ограбили?

— Да, минувшим летом. На площади возле церкви. Я смотрел представление с циркачами на велосипедах. Чего они только не выделывали! Представляешь, стойка на руках или езда на одном колесе. И тут подходят ко мне девчушки лет десяти, не старше. Показывают клочок серого картона, а на нем с ошибками в каждом слове написано, что они только что приехали с матерью из Румынии и у них ни гроша. Да еще мать заболела. Я достал кошелек и не успел открыть, как они его вырвали — и наутек. Там было много денег вкупе с чеками и кредитными картами. Восстановить эти бумаги — страшно тягомотная процедура. А денежки, конечно, плакали. Тогда я понял, что детская преступность снова стала реальностью. Как и здесь, в Вене, в сорок пятом

году. Вот наконец и до меня добрались воришки.

Герберту удалось сдать пальто в чистку. В восемь часов его принесли в номер. Отец позвонил и пригласил к себе на аперитив. Он был при полном параде, на манжетах сверкали старые золотые запонки. Костыли он убрал с глаз долой.

— Спасибо, что все-таки приняли мое приглашение, — сказал он.

С Карлсплац то и дело доносилось завывание полицейских сирен. Я открыла окно. На Бёзендорфштрассе от «Мюзикферайна» к Дому искусств тянулась вереница полицейских автобусов, их было по меньшей мере два десятка.

— Лучше выйти пораньше, — рассудил отец. — Чтобы не попасть в столпотворение.

На Рингштрассе, пройдя через полицейский кордон, мы направились в сторону Оперы. Мы, держа отца под руки, медленно продвигались к театру и посматривали на лица полицейских. Большинство из них — совсем юноши. Некоторые приветствовали нас. Я обратила внимание, что многие для солидности отпустили усы. Вид у них был довольно суровый. Стойка картинная — с широко расставленными ногами. Переговаривались лишь изредка. А мы не могли понять, от кого они нас охраняют. Вокруг никаких на-

рушителей общественного спокойствия. Только на Карлсплац по-прежнему завывали сирены. Такая концентрация полицейского контингента внушала тревогу, чувство затаившейся рядом опасности. Но откуда она исходила? От кого?

Выйдя на Кертнерштрассе, мы, естественно, не могли спуститься с отцом в подземный переход и продолжили путь по Рингштрассе. Каждые три минуты полиция задерживала дорожное движение, чтобы дать возможность перейти дорогу гостям бала. Проход к Карлсплац. был вообще перекрыт, о чем свидетельствовали высокие решетчатые заграждения, водометы и целый парк полицейских машин.

— Тут у вас прямо как на войне, — сказал отец одному из полицейских.

— Ничего страшного, — ответил тот. — Все пройдет тихо-мирно. Простые меры предосторожности.

Через несколько минут, уже в вестибюле, я держала в руках дамский подарочный набор — плетеную корзинку, содержимое которой я исследовала, пока мы топтались у гардероба. Я обнаружила дюжину флакончиков с духами, пробные упаковочки деликатесов, кожаную закладку для книг, сигареты и маленькую буты-

лочку шампанского. Все это венчалось букетиком в бидермейеровском вкусе. Каждый предмет, кроме закладки и сигарет, — в миниатюрном исполнении. Мужчины получили жетоны для театрального казино, карманные календари в черном кожаном переплете и опять-таки сигареты, правда более крепкие. В вестибюле был размещен целый арсенал телекамер и со всех сторон в глаза били прожекторы. Когда Герберт принял у меня пальто, мне показалось, что камеры обратились в мою сторону.

— Нами уже интересуются. Как всегда, назойливо и беззастенчиво, — заметил Герберт.

Из-за обилия прибывающих гостей на широкой лестнице возникла заминка. Я настолько успела привыкнуть к свету множества прожекторов, что могла уже разглядеть своды и арочные проемы со всеми их замысловатыми пересечениями, фрески и золотую лепнину на стенах. Все это производило впечатление торжественной значительности, которое портила толчея на лестнице, где люди тыкались в спины друг другу. Перед нами поднимался мужчина, который все время озирался, периодически повторяя: «Обалденно!» Мы вновь встали так, чтобы отец шел в середине. Его левая нога всегда на ступень опережала правую.

Женщина рядом со мной держала в руке букет красных фрезий, словно шла к алтарю на венчание. На какой-то миг меня прижало к ней натиском толпы, которой пришлось расступиться перед двумя мужчинами с камерой и микрофоном. Мы обе в один голос воскликнули: «Прошу прощения!» — и рассмеялись, осознав комизм ситуации. Женщина сказала, что ее дочь будет впервые танцевать на балу. И она, мать, непонятно почему испытывает то же волнение, что и двадцать три года назад, когда она сама была дебютанткой.

— Нет, — возразил ее спутник, прижатый к другому плечу дамы. — Тогда ты волновалась еще больше. Просто это померкло в памяти. После двадцати лет супружества впечатления юности блекнут.

Прошло около получаса, прежде чем мы добрались до своей ложи. Отца прежде всего интересовал бальный зал. Еще по пути к ложе он часто останавливался, чтобы оглядеться. Он был в восторге от обилия белых и розовых гвоздик.

— В тридцать девятом, — сказал он, — тоже было много цветов. Здесь, в фойе, сотворили настоящий весенний ландшафт. Я тогда подумал, что такое количество цветов в одном месте про-

сто невозможно. Но на сей раз их еще больше.

Мы пересекли партер, который постепенно, наподобие пандуса, без единой ступени поднимался к рампе, образуя вместе со сценой одну огромную площадку для танцев.

— В то время не было лож у самой сцены, — рассказывал отец. — Зато на сцене был установлен большой золотистый шатер с сотнями белых лампочек изнутри. Бал в Опере проходил под знаком света, северного света разумеется. Я даже помню, как звали конструктора этого сооружения, — это был инженер по фамилии Гофман. Его коллега, с которым мы познакомились той ночью внизу за бутылкой молодого вина, называл всю эту декорацию сказками Гофмана. Я тогда еще оглянулся: не слышит ли кто? Я подумал, что он сболтнул лишнее. Угоститься вином как раз пожаловал райхсштаттхальтер, то бишь имперский наместник Зейс-Инкварт со своей свитой. Все это я как сейчас помню. Вино тогда хранили в подвалах Оперы, в помещениях столярной мастерской. Я оглянулся и сам себе показался трусоватым. Но в то же время я знал, что и барышне-ассистенту, с которой я сидел, слышать такие вещи удовольствия не доставляет. Сказки Гофмана. И только? А как, собственно, сейчас проходят в

ложи у сцены?

Мы задали этот вопрос одному из распорядителей. Когда мы входили в ложу бенуара, случилась неприятность. Герберт зацепился фалдой фрака за дверную ручку, и он лопнул по шву. Но все его внимание было сосредоточено на моем отце, и Герберт ничего не заметил. Только когда пришло время перекусить и мы принялись за креветочное ассорти — единственное блюдо, сервированное в ложе, — а Герберт начал восторгаться разрезом на моем платье, я заметила, что и его костюм не без разреза. И тут стало ясно, что нынче нам не танцевать, а ему придется использовать свои жетоны как-нибудь в другой раз.

За минуту до выхода дебютанток и их кавалеров, которые должны были исполнить полонез, все внимание было приковано к главной ложе: пора бы уж бундесканцлеру подать признаки присутствия; справа от нас в воздухе замелькали стайки листовок. Мы не могли прочесть, что на них написано. Те, у кого были театральные бинокли, стали читать вслух:

— Мы пос-лед-нее дерьмо. Мы последнее дерьмо.

— Почему они пишут «мы»? Тогда уж «вы».

— Нет, «мы», то есть листовки.

— Думаешь, это инсценировано устроителями? А может, теперь так принято выражать уважение бригаде уборщиков? И они будут иметь в виду нас.

— Если и дальше так пойдет, это будет моим последним балом.

Один листочек упал прямо перед нашей ложей. Отца это позабавило.

— Должен сказать вам, детки, это действительно уже другой бал. В тридцать девятом тут была невероятная давка. Людей набилось вдвое больше, чем сегодня. И вдруг полная тишина. Она, как бегущий огонь, распространялась из центра зала. Без всякой команды. Последним шепотком из конца в конец пролетели два слова: Зейс-Инкварт и Бюркель. И опять неожиданность — все, не сговариваясь, вскинули в нацистском приветствии правую руку. Это было в тот момент, когда имперский наместник Зейс-Инкварт и имперский гауляйтер Бюркель появились в центральной ложе. У нас были билеты без мест, нам пришлось стоять, а точнее, почти висеть в давке у задних дверей, мы даже друг друга не могли видеть. А потом запели фанфары. Они были в руках у солдат, которые по лестницам поднялись на сцену и возвестили выход дебютанток и дебютантов. Но

это были другие лестницы, не те, что сегодня.

Отец сдвинул очки на середину носа и поверх стекол посмотрел в сторону оркестра, который под сенью главной ложи начал играть «Фанфары до мажор» Карла Роснера. Под этот торжественный аккомпанемент ярусом выше появились бундеспрезидент, бундесканцлер, вице-канцлер, министр по делам искусств и генеральный директор федеральных театров вместе со своими половинами. Они встали — президент в центре — у бархатного парапета лож и благоговейно замерли. Фанфары смолкли. Оркестр заиграл Гимн Республики. Затем со сцены в ритме полонеза сбежали ученики и ученицы балетной школы Венской оперы. Они образовали нечто вроде живой спирали, которая превратилась в нарядные круги, вращавшиеся в противоположных направлениях. Лестница находилась прямо у нашей ложи. После короткого выступления юных танцоров по лестнице потянулась вниз бесконечная вереница черно-белых пар. Волнообразно извиваясь, она двинулась к другому концу зала, разделенного розовой цветочной линией. По обе стороны от нее возникли две белые полосы — это заняли свою позицию дамы, а обрамлением стали ряды кавалеров — черная кайма с серо-зелеными

вкраплениями военных мундиров.

— Картина куда более впечатляющая, чем в тридцать девятом. Тогда было пар сорок, не больше. А тут весь партер заполнен. Как, должно быть, трудно дирижировать столь массовым действом. И долго они обычно репетируют?

Я ничего не могла сказать на сей счет. Герберт пожал плечами.

— Насколько я знаю, — ответил он, — задействована вся балетная школа.

— Но некоторые репетировали явно недостаточно, — заметил отец, глядя на пару прямо перед нами, которая выполняла фигуры танца с небольшим запозданием. — Вы ведь знаете, тогда я был с барышней, знавшей толк в искусстве.

Отец рассказывал об этом много раз. Но никакие напоминания не имели смысла, он просто делал вид, что не слышит. Если ему не давали досказать эту историю до конца, он вскоре начинал заново.

— Как сложилась ее жизнь? — спросила я.

— Я любил ее, — сказал он. — Бесконечно любил. По мне она предпочла карьеру.

— Она могла бы делать карьеру, не расставаясь с тобой.

Отец не отрывал глаз от черно-белых рядов,

которые расходились, смыкались, проникали друг в друга, словно нанизанные на одну нить, а затем создавали новый узор. На дебютантках были маленькие, усыпанные стразами короны, руки в белых перчатках взмахивали букетиками. На какой-то миг все окрашивалось в черный цвет, затем в белый, и вновь возникала черно-белая мозаика. Дирижер столь сосредоточенно работал своей палочкой, что смахивал на иглоукалывателя.

— Ты забываешь, какое это было время, — сказал отец, — Из-за своей театроведки я вынужден был вступить в Национал-социалистическую партию.

— Как? — воскликнула я, должно быть, чересчур громко. — Ты был нацистом?

Он взял меня за руку и покачал головой:

— Давай не будем об этом.

Я была потрясена. Отец рассказывал, что ему, тогда молодому доценту, не удалось избежать участия в исследованиях, связанных с ракетной техникой. В конце войны он с группой ученых инспектировал шахту в округе Верхний Дунай. Было такое географическое название. Шахта, по всей вероятности, находилась на территории какой-то пивоварни, поскольку их со всеми по-

честями приняли и угостили пивовары. Потом спустились в шахту, куда было эвакуировано ракетостроительное предприятие. Там он увидел оголодавших, предельно изнуренных *иностранных рабочих,* которых самым беспощадным образом заставляли работать. Он ловил на себе умоляющие взгляды, но ничего не мог сделать. И отец признался: «Я был рад, что войне скоро конец. Кто знает, во что бы я еще мог вляпаться».

Иногда он рассказывал о том, как из университета изгоняли его еврейских коллег. С душевной болью он говорил о судьбе одного математика, его сверстника, которому удалось бежать с семьей во Францию. Но там их арестовали и депортировали в Освенцим. Вся семья погибла. Отец часто рассказывал об этом. Мне бы и в голову не пришло, что он мог быть членом нацистской партии.

Полонез закончился. Послышались первые такты «Дунайского вальса». Когда дебютанты начали танцевать, церемониймейстер поднялся на две ступени и, взяв микрофон, объявил:

— Все танцуют вальс.

Отец, как завороженный, смотрел в зал. Партер моментально наполнился людьми. Стало так тесно, что парам с трудом удавалось кружиться. Отец все еще держал меня за руку. И вдруг сказал:

— Я бы хотел когда-нибудь встретиться с ней. Как ты думаешь, мы сумеем устроить это завтра?

Я всеми силами старалась скрыть свои чувства.

— Посмотрим, — ответила я и закрыла глаза.

На сердце кошки скребли. Дело в том, что несколько месяцев назад мы собирались приготовить для отца сюрприз, своего рода подарок ко дню рождения, а именно — устроить ему встречу с бывшей возлюбленной. Зигрид вначале была решительно против. Но потом она же разыскала старые расписания лекций, чтобы выяснить, кто мог быть этой преподавательницей, ассистентом кафедры театроведения. Среди таковых значилась только одна женщина. Позднее она действительно стала профессором и попала в справочник «Who is who». Но адрес найти не удалось. Наконец Зигрид узнала, что эта женщина уже умерла. Мы решили сказать об этом отцу только после бала.

Он был целиком погружен в свои мысли. И вдруг хлопнул рукой по красному бархату барьера, затем поднял бокал и, когда мы выпили, сказал:

— Так, а теперь танцевать.

Я попытался удержать его, но не тут-то было.

По-настоящему он, конечно, не танцевал. Отец крепко обхватил меня правой рукой, а левой помахивал в ритме вальса. В общем-то это не казалось чем-то необычным, поскольку в зале было невероятно тесно. Он говорил мне ласковые слова, называл меня «любимой доченькой», просил не обижаться на него за то, что он первое время был против моего брака с Гербертом, — это только из ревности.

— Странное дело, — сказал он, гладя меня по спине. — Твоему замужеству, будь моя воля, я бы помешал, а что касается Зигрид, до сих пор надеюсь, что она наконец выйдет замуж. Я всегда был несправедлив.

Меня тронули его признания. Но что можно было сказать в ответ. Разумеется, я знала, что я его любимая дочь. И его вечный аргумент «Ты еще слишком молоденькая» стал для меня привычен, как «С добрым утром», и чем чаще отец повторял его, тем смешнее это звучало.

Я рано вышла замуж, отец упорствовал до последнего момента. И сдался лишь тогда, когда понял, что отговорить меня невозможно. Кроме того, свадьба обошлась ему недорого и получилась довольно красивой. Он знал, что я прерву только что начатое изучение медицины. И хотя

я убеждала его в обратном, мне и самой это было ясно. Я вышла замуж, чтобы больше не ходить в университет. Меньше чем через год после свадьбы мы переехали во Франкфурт, и я стала подумывать о продолжении учебы. Но Герберт сказал: «Это ни к чему. Я о тебе позабочусь».

Будь у меня дочь, я постаралась бы ей внушить, что такой вариант не годится. Но для меня это было освобождением от дела, к которому не лежала душа. И теперь уже казалось, что отец сумел понять меня.

Зигрид он всегда отдавал должное. Он гордился ею. И на фоне ее успехов я чувствовала себя пустышкой. А сейчас мне оставалось только слушать то, что мне, в сущности, давно было известно. Отец пытался медленно кружиться. Он прямо-таки заигрывал со мной. Если бы он не был моим отцом, я бы сочла его влюбленным кавалером. Но это ничуть не раздражало меня, напротив, доставляло удовольствие. Однако украдкой я поглядывала на Герберта. Зачем его дразнить. Не хватало еще и такого рода соперничества. Когда отец поздравлял Герберта с успехами на деловом поприще, для меня это звучало так, будто он хочет сказать: «Это — презренная коммерция. Ценности, которые действительно что-то значат,

относятся совсем к иной сфере».

После танца мы втроем проследовали в Гобеленовый зал, где с двенадцати до часу для нас был зарезервирован столик. Герберт держал правую руку опущенной, чтобы прикрывать разлезшийся шов на фраке. Отец снова был в своей стихии. Заказывал только самое лучшее. Цена бутылки шампанского равнялась месячному окладу скромного служащего. Отец говорил, что в прежние времена несколько раз в неделю ходил в Бургтеатр и в Оперу. И я вспомнила те берлинские вечера, когда оставалась дома одна, потому что родители уходили в театр. Зигрид на двенадцать лет старше меня, в Берлине она прожила всего два года. Потом вернулась в Вену, где продолжила учебу и где одна занимала большую квартиру, сохраненную отцом. Плата за квартиру составляла какие-то гроши и с тех пор не изменилась.

Позднее отец несколько охладел к театру. Да и с матерью выходил куда-либо все реже. Иногда приглашал составить ему компанию какую-нибудь молодую даму из его коллег, а случалось, и студентку. Многие современные пьесы пришлись ему не по вкусу, но он не пропускал ни одной шекспировской.

Однажды он вернулся домой вне себя от ярости. Его возмутила какая-то инсценировка «Макбета». Я даже думаю, это была опера. Макбет и его солдаты были облачены в эсэсовские мундиры.

— Режиссеры, — гремел он, — теперь считают нас полными идиотами.

Рассказывая о былых годах в Вене и тогдашних театральных впечатлениях, он неизменно вспоминал свою первую любовь. Ведь это она сделала из него страстного театрала.

— А теперь скажи, положа руку на сердце, — допытывалась я, — почему она оставила тебя?

— Все очень просто. Она нашла себе видного нациста. Это был ее профессор, отличившийся своими воинственными писаниями. Кое-что, кстати, поставили в Бургтеатре. Она и раньше рассказывала мне, что он чтит ее как единомышленницу и пытается охмурить. Я был уверен, что скоро он опостылеет ей. Трагическое заблуждение.

— Кто же этот профессор? — спросила я.

— Да он давно умер. После войны его отстранили от преподавательской деятельности, он переключился на сочинение книг по истории. Но моя бывшая подруга осталась с ним, готова была идти за ним в огонь и в воду.

В Большом зале тем временем в качестве вставного полуночного номера исполнялся какой-то дуэт, но мы оставались в Гобеленовом. Отец сказал:

— Через несколько месяцев я закончу книгу. Мы устроим большой праздник. Я приглашу бургомистра Берлина и сенатора по науке. Кое-кого из коллег это не порадует. Они уже решили, что меня можно сдать в архив. Но этой книгой я докажу, что истина на моей стороне.

В шестьдесят пять лет отец был отправлен на пенсию, хотя ему очень хотелось бы подольше поработать в университете. Как отставной профессор он еще в течение нескольких лет читал лекции, но они не входили в обязательную программу и потому плохо посещались. Он подал ходатайство сенатору по науке о том, чтобы для него сделали исключение, что иногда практиковалось по отношению к наиболее заслуженным профессорам.

Но его просьбу не удовлетворили. Отец считал, что тут постарались коллеги, работавшие в той же узкой области. Обида все не забывалась. Отец постоянно возвращался к этой теме. Он хотел умереть триумфатором, а не униженным.

Когда все потянулись в Большой зал, мы вер-

нулись в свою ложу. Но не просидели и пары минут, как отцу снова вздумалось танцевать. Я не могла отказать ему в этом, хотя опасалась, что постепенно вся эта круговерть измотает его. Между тем оркестр Оперы сменился джазовым биг-бэндом. Отец взял мою руку и начал вести меня, делая короткие шажки.

Внезапно остановившись, он сказал:

— Нет, дитя мое, я не был нацистом. Ни одной строкой, написанной в те годы, я не расшаркивался перед режимом. А вот с заявлением о приеме на работу проблема. Оно лежит в университетском архиве. В один прекрасный день, скорее всего, когда никого из тогдашних преподавателей не останется в живых, какому-нибудь ретивому молодому человеку разрешат просмотреть архив и заслужить свою первую академическую нашивку включением моего имени в список доцентов, сотрудничавших с режимом. И с этим вам придется жить.

— Но ведь ты не совершил ничего дурного.

Отец снова заработал рукой в такт музыке. Когда музыка смолкла, он прижал меня к себе. Я почувствовала запах одеколона. Отец хотел что-то сказать, но ждал, когда снова заиграет музыка.

Кто-то запел: «We got married in a fever».[48] Отец, казалось, даже не слышал песни.

— Я рассказывал тебе об одном еврее, который был у нас доцентом. Его выгнали из университета, а потом он погиб в газовой камере Освенцима. Так вот, я просился на его место и получил его. Понимаешь, что это значит? Моя карьера построена на костях друга. Это не выходит у меня из головы.

— Тебя подвигла на это твоя театралка?

— Она помогла составить заявление.

Я не знала, что ответить. Но в этот миг возникла неколебимая уверенность: я буду бороться за него. Я докажу всем, что он не был нацистом.

Мы направились к ложе. Отец сказал:

— Ты можешь обещать, что все это останется между нами?

Я кивнула. Тут с отцом поздоровался какой-то человек. Он отрекомендовался бывшим отцовским студентом. И хотя ему было, наверное, не меньше шестидесяти, отца он почтительно называл «господин профессор». Отец пригласил его в нашу ложу, тот сказал, что сначала должен проводить на свое место партнершу по ганцу,

---

[48] Примечания: 48
Мы женились в угаре любви *(англ.).*

а затем, если будет позволено, заглянет к нам в ложу вместе с женой.

Герберт сидел откинувшись на спинку кресла и курил сигару. Перед нашей ложей тучный канцлер Германии танцевал с дебютанткой бала: барышня казалась очень скованной, маленькая корона сползла на висок. Герберта позабавила эта пара.

— Это выглядит, — заметил он, — как воссоединение Австрии с Германией.

Отец смеялся. Он заказал мне апельсиновый сок. Когда его принесли, я решила помочь официанту собрать пустые бокалы. И при этом умудрилась пролить сок на платье. Официант буквально забросал меня белыми матерчатыми салфетками. Но спасти положение не удавалось. Бал для меня закончился. Отец был приятно возбужден. Ему пришла в голову фантастическая идея — взять платье напрокат в театральной костюмерной и провести здесь еще несколько часов. Официант честно пытался принять всерьез отцовское предложение, но явно переоценил свои возможности. И мне удалось быстро настоять на своем решении отправиться домой. Однако тут появился бывший студент отца со своей супругой, которой он сказал так громко, что отец услышал бы эти

слова, даже если бы у него заложило уши:

— Имею честь представить тебе того самого профессора, коему я обязан всем, чего достиг.

Я вкратце объяснила обоим супругам нашу неординарную ситуацию и предложила отцу остаться здесь без нас, пообещав, что Герберт за ним заедет. Он возражал, но я стояла на своем. Тогда он заявил, что и один доберется домой.

— Когда за тобой заехать? — наседала я. — Через два, через три, через четыре часа?

Отец взглянул на часы.

— Через два с половиной.

Жаль, что я не забрала его с собой. Не прошло и тридцати минут, как он решил отправиться домой в одиночестве. Вероятно, бывший студент успел ему надоесть.

Инженер
Пленка 9

Файльбёк исчез. Каждый день после работы я пытался застать его дома. Я хотел передать ему деньги, чтобы он мог уехать на Мальорку. Соседи сказали, что не видели его уже две недели. Я позвонил его родителям. Трубку взяла мать, вы с ней успели познакомиться. Она напустилась на меня, как только я назвал свое имя. Костерила нас за то, что мы-де впутали ее сына в скверную историю. Когда же я, наконец, оставлю его в покое? Он не желает больше знаться с нами. Спросила, чего мне от него сейчас-то надо. Я сказал:

— Мы не виделись целую вечность. Я хотел просто проведать его и спросить, как у него дела. Вам незачем беспокоиться. У меня и в мыслях нет доставлять ему неприятности. Я звоню из самых добрых побуждений.

Она давай меня трясти:

— Где мой сын, я вас спрашиваю? Я подала заявление о пропаже человека. Где он?

— Разве он пропал? Я не знал. Когда это случилось?

— Ах, не знаете? Он опять ввязался в какую-то авантюру? Научный руководитель тоже не видел его две недели.

— Обещаю помочь вам. Если я его найду, сразу же вам позвоню.

Тогда я предположил, что Файльбёк уже здесь, на Мальорке, в этом вот доме. Видимо, он просто так разобиделся, что не захотел брать у нас деньги.

Вечером, до того как отправиться к *Нижайшему,* я часа два лазил по бета-сети. Дебаты вокруг Тысячелетнего Царства еще не утихли. Но с тех пор, как Файльбёк вышел из игры, провокации со стороны *Мормона 4* прекратились. Однако в душе я надеялся отыскать в сети какую-то весть от него. Я начал методично работать с буквой «М». Это было несколько дней спустя после телефонного разговора с мамашей Файльбёка. И вдруг — есть! Я поймал *Мормона 4.* Его сообщение звучало поразительно кротко. Он просил прощения у всех, кого третировал или обижал. Дальше шел текст: «Мне явился во сне ангел Морони. Он показал мне золотую скрижаль, которую забыл перевести Джозеф Смит. Это были знаки неведомой мне письменности. Но я сумел прочесть табличку. Она гласила: *„Не всем дано стать святыми, но*

все могут быть спасены".

Я спросил у ангела, как могло случиться, что Джозеф Смит упустил эту скрижаль. Ангел ответил: „Джозеф Смит слишком часто заглядывал в свою шляпу и слишком редко смотрел на скрижали". Потом ангел вдруг исчез».

Я сидел у компьютера, и меня разбирал смех. *Нижайший,* сам, конечно, не веривший, будто «Книга Мормона» восходит к золотым скрижалям ангела, однажды поведал нам, что жена Джозефа Смита Эмма проговорилась в своем *Последнем завещании* о том, как возникла «Книга Мормона». Ее муж прежде всего доверял своей шляпе, в которой лежали вещие камни урим и туммим.[49] Через какое-то время последовал ответ *Мормона:* «Джозеф Смит не проглядел скрижаль, он связывал ее перевод только со своим временем: *Ибо страшная низость полагать, будто одного ребенка Господь спасает, благодаря крещению, а другому суждено погибнуть, так как он некрещеный».*

Я не стал дожидаться, когда в дискуссию вступит кто-нибудь еще, и поспешил вниз к своей машине, припаркованной на обочине Фавори-

[49] Примечания: 49

В Библии говорится, что первосвященник с помощью этих камней вопрошал Господа и предсказывал будущее. (Числ. 27: 21).

тенштрассе. Я был уверен, что, возвратясь домой, не найду места для стоянки. Но я решил, что лучше оставить машину там и пройти километр пешком, чем садиться в такси. Во всем мире нет таких подозрительных таксистов, как в Вене. Они приглядываются к каждому пассажиру. И как раз таксисты оказываются ценными свидетелями, когда кто-то объявлен в розыск.

И вдруг мне показалось слишком невероятным, что Файльбёк оказался на Мальорке. Я поехал к его дому. Оба окна на пятом этаже были наглухо занавешены желтоватыми шторами. Значит, он все-таки здесь, подумал я, и хотел было ехать дальше, на Вольлебенгассе, но тут мне пришло в голову, что окна могла зашторить мать Файльбёка. Я свернул к противоположной стороне улицы, поставил машину и выключил мотор. Откинувшись на сиденье, я стал наблюдать за окнами. Ни одной светлой щелки.

Меня тянуло в сон. Я то и дело продирал глаза. Мне вдруг показалось, что левая штора чуть светлее правой. И это имело вполне резонное объяснение — за левой шторой стоял письменный стол Файльбёка. Вскоре штора вроде бы опять потемнела. Я тут же помчался к *Нижайшему.* Он меня ждал.

— Скорее всего, Файльбёк в Вене, — сказал я. — Во всяком случае, у него в квартире кто-то есть.

— Знаю, — ответил *Нижайший.* — Сегодня он заявился в полицию, чтобы выдать нас.

Он произнес это совершенно спокойно, будто речь шла не об ахти каком важном деле. Я так и сел. Мы долго смотрели друг на друга.

— Все пропало?

— Еще нет. Но он провокатор. Свинья должна быть заколота.

Мы молча сидели в глубоких старомодных креслах.

— Виски? — спросил *Нижайший.*

— Лучше хороший совет.

Через приоткрытую дверь мы могли видеть монитор. *Мормон 4* больше не проявлялся, но страсти вокруг новой золотой таблички все не унимались. Некто Штефан Рёпелль из Оберфоршютца счел необходимым объяснить миру, что никаких золотых скрижалей вовсе не было. Религии, по его мнению, сами придумывали свои легенды. Независимые и критические свидетельства чаще всего намеренно уничтожались. Христиане — не исключение и Джозеф Смит — не кто иные, как мифотворцы. Ни один серьезный этнолог или археолог не смог подтвердить под-

линность того, что изложено в *Книге Мормона.*

Ничего нового. *Нижайший* направился к компьютеру и набрал: *«Если кто-то из вас обделен мудростью, пусть вымолит ее у Господа».*

Затем он вышел из сети и выключил компьютер. Мы продолжали молча сидеть и пить минералку. Потом он поставил диск с грегорианским хоралом. Мы прослушали его дважды, и *Нижайший* сказал:

— Завтра с утра вы будете под колпаком. Действовать смогу только я. Сейчас поезжай к Бригадиру. Пусть на стройплощадке в мусорном контейнере оставит для меня пистолет. Его надо упрятать в грязный пакет. Завтра ночью я заберу его.

Я встал, собираясь идти. *Нижайший* тоже поднялся.

— Минутку, — сказал он. — Ты организуешь в Раппоттенштайне праздник солнцеворота. После работы соберешь всех наших и скажешь: будет встреча, по которой ностальгировали два года. Потом поедешь в Раппоттенштайн и во всех трактирах развесишь приглашения. После этого никаких контактов. Если встретитесь в ресторане, это должно выглядеть как чистая случайность. На праздник приезжай вместе с

Бригадиром.

Нижайший обнял меня.

— Прорвемся. Бывают переделки и покруче.

У порога он остановил меня.

— Постой, сначала я выгляну.

Затем он выпустил меня и в дверях быстро прошептал:

— Ляйтнеру незачем слышать все. Завтра я съезжаю отсюда. И ты сюда больше ни ногой. Но мы будем видеться. Надо изменить код оповещения. Ты знаешь, что такое акростих?

— Никогда не слышал.

— Сейчас не могу тебя просвещать. Выясни сам. Весь смысл во второй букве. Понял? Вторая буква.

Он тут же вернулся в квартиру. Ему не хотелось давать Ляйтнеру повод для беспокойства.

23 июня пришлось на пятницу. В этом были свои минусы. Рабочий день у Панды и Жерди заканчивался позднее обычного, и они могли приехать в Раппоттенштайн только поздним вечером. Здесь уже все было подготовлено. Мы выехали сразу после обеда. На Гюртеле образовалась пробка. По воле случая нам пришлось долго торчать в слишком памятном для нас месте — в Гернальсе, и все трое, как любопытные обезьяны,

разглядывали новое, почти достроенное здание, пока нас не стали подгонять гудками.

— Вот и мы внесли вклад в архитектурное обновление Вены, — пытался пошутить Пузырь.

— А с хозяина причитаются комиссионные, — подхватил Бригадир. — Не будь нас, он бы попусту тратился на страховку от пожара.

Однако в тот день шутки не очень-то удавались. О *Нижайшем* мы больше ничего не слышали и не знали, что нас ждет в Раппоттенштайне. Казалось, вся Вена выезжает на выходные в леса и долы. После Северного моста мы стали продвигаться побыстрее, но колонна попавших в пробку машин тянулась до Хорна. Только на Цветтлерштрассе дорога перед нами освободилась. Бригадир выжимал из мотора все его лошадиные силы. Перед въездом в Цеттель нам помигала встречная машина. Бригадир ударил по тормозам, и нам кое-как удалось проскочить радарную ловушку, не превышая скорости.

Почти два года не видел я усадьбу. Приехав в Раппоттенштайн за три дня, чтобы развесить объявления, я в нее не заглядывал. Знакомый трактирщик сказал:

— Стало быть, решили опять проведать?

— Да, — ответил я. — Устроим праздник солнце-

ворота. Давненько мы не праздновали. А все из-за этого дела с пожаром. Чушь какая-то. Ведь мы тут совсем ни при чем. И те двое, которых осудили.

— Раффельсэдер тоже в это не верит. У них ковер-самолет, что ли, был, чтобы в Вену и обратно? Да и я их потом здесь видел. Кто такое сотворил, должен бы дергаться. На воре шапка горит. А эти преспокойно тянули пиво и ни о чем, кроме своего барашка, не думали.

— Весь процесс построен на косвенных уликах, — сказал я. — Ни одного свидетеля. Венским властям понадобились козлы отпущения, и присяжные их представили. Я уверен, что дело будет пересмотрено.

В другом трактире я поговорил с местными парнями. Один из них сказал:

— А мы уж решили на следующий год сами устроить праздник, если вы опять про нас забудете.

Ближе к вечеру мы приехали в Раппоттенштайн. Во дворе царила зловещая тишина. Я ожидал всего, что угодно, в том числе и полицейских засад во всех закоулках. Мы вошли в хай-тек-салон. Там был полный разгром. Со стен свисали выломанные доски, почти все зеркала разбиты, динамики выковыряны из коробок. Все

приборы сдвинуты со своих мест, кабина автобуса разобрана на листы. Даже стулья-вертушки были вывинчены из пола и свалены в одну кучу. Но наш замурованный сейф полицейские не обнаружили.

Примерно ту же картину мы увидели в каждой из комнат. Не было такого уголка, который бы они не обшарили. В кухне все еще держался запах бараньей солонины. Холодильник до сих пор работал. Когда бригадир открыл дверцу, нас чуть не опрокинуло ударной волной невероятной вони. Заплесневелый мармелад, протухшее масло и обросшая толстым зеленым мехом банка с маринованными огурцами. На нижней полке красивыми рядами лежало бутылок двадцать пива.

Мы вышли во двор и осмотрели частью полуразрушенные хозяйственные постройки. Раньше мы использовали только три из них, у остальных в любой момент могла рухнуть крыша. Кое-где прибавилось вывалившихся кирпичей, перекрытия дали новые трещины, в остальном же ничего не изменилось. В сарае в прежнем порядке лежали дрова и охапки хвороста. Тут два года назад повкалывал Сачок, после чего с гордостью демонстрировал нам дровяной запас.

Когда мы открыли дверь в амбар, чуть не наткнулись на машину Файльбёка. Мы обошли ее по кругу. В щиток был вставлен ключ зажигания.

— Есть кто-нибудь? — громко спросил Бригадир.

В ответ ни звука. В отсеках, отделенных от гумна низенькой лестницей, — только клочки давно истлевшего сена и охапки старой соломы. Мы осмотрели все помещения — нигде никого. Оставалось заглянуть в подвальный тир. Дверь была прикрыта. Пузырь хотел включить свет, но лампочка не загорелась. Мы стали осторожно спускаться по узким ступеням. Зажигалки или спичек ни у кого не оказалось: курить-то мы бросили.

— Есть тут кто-нибудь? — еще раз спросил Бригадир, как только мы спустились на несколько ступенек. Вновь никакого отклика. На середине лестницы Пузырь дернул меня за рукав.

— Там свет, — шепнул он.

Чем больше наши глаза привыкали к темноте, тем отчетливее внизу, у входа в подвальный коридор, мерцал слабый огонек.

Бригадир снова подал голос:

— Есть тут кто-нибудь? Файльбёк, это ты?

И опять никто не ответил. Мы прислушива-

лись. Тишина была гробовая. Кому же, как не мне, идти вперед и защищать других? Я стал осторожно спускаться вниз по ступеням. Знакомый запах сырой глины. Где-то в глубине темного пространства горела свеча. Из-за нагромождения ящиков из-под пива, которые мы всегда складывали ближе к выходу, ничего не было видно. Я нашел какую-то щель и глянул внутрь помещения. Свеча, должно быть, стояла где-то на полу. Сердце у меня просто грохотало. Надо было быть готовым к любой неожиданности. Возможно, на полу залегли люди из спецподразделения Резо Дорфа, и стоит мне высунуть голову, как по мне откроют огонь. Но выбора у меня не было.

Бригадир и Пузырь стояли за спиной и ждали моего следующего шага. Сделав его, я похолодел от ужаса. На глиняном полу лежал обнаженный труп Файльбёка. Рядом на нарах сидел *Нижайший,* он был совершенно неподвижен и закутан в одеяла. Взгляд прикован к свече, вкопанной в пол. Когда мы подошли поближе, у меня чуть не подкосились ноги. Мне бросилось в глаза, что у Файльбёка отрезан член. Он торчал изо рта. На груди — две темные, четко очерченные пулевые раны, третья зияла между глазами.

Нижайший хотел что-то сказать, но получился

только гортанный, клокочущий звук. Я нагнулся к нему, рядом валялись свечные огарки. *Нижайший* повторил свою попытку. И еле выговорил:

— Вы должны простить Файльбёка.

Я положил руку ему на плечо и спросил:

— Ты давно здесь?

С невероятным усилием он произнес:

— Три дня в карауле у тела.

— Тебе надо поесть, — сказал я. — Пойдем, я помогу.

Я подхватил его под руки. Он с трудом встал. По одеялу соскользнул на пол пистолет. Бригадир поднял его.

Мы отвели *Нижайшего* на кухню и усадили на автобусное сиденье. Я начал заваривать чай. Он сказал:

— Мы должны снова принять Файльбёка в свой круг.

Все растерянно переглянулись. Я налил в какую-то посудину холодной воды и поставил остудить в нее чайник. *Нижайший* пил мятный чай, сперва чуть отхлебывая, потом — жадными глотками. Я только успевал подливать.

— Как нам теперь быть? — ахал Пузырь, бегая из угла в угол.

Нижайший помассировал икры, потом встал и

как бы встряхнулся. Он сказал:

— С сегодняшнего дня зарубите себе на носу: меня зовут Джордж, я приехал из Ирландии, по-немецки с грехом пополам. Вы меня не знаете. Инженер познакомился со мной в закусочной и пригласил сюда. А сейчас пейте пиво. Нам предстоит не самая приятная работа.

Мы выпили по бутылке и взялись за дело. Ящики для фруктов перетащили из сарая в амбар, где еще нашлась копешка прелой соломы. Днища ящиков устлали соломой и хворостом. Затем отнесли их в подвал. *Нижайший* ввернул в патрон лампочку. Стало светло. Из дома забрали все топоры, тяпки и мясницкие ножи. *Нижайший* принес в подвал два ведра. Одно — с водой, в другом — тряпье и резиновые перчатки. Когда бензопилой нарезали груду метровых кусков горбыля, Пузырь спросил:

— А почему бы не расчленить его бензопилой прямо здесь, где лежит?

— Ну, ты даешь, — сказал Бригадир. — Мы тут так все разукрасим, что в жизни не отмоешь.

Доски мы уложили в один ряд, чтобы получился настил. *Нижайший* разрезал и снял одежду с трупа и рассовал ее по ящикам. Мы обступили труп, не решаясь прикоснуться к нему. *Нижай-*

ший бросил нам пакет с красными резиновыми перчатками.

— Не замарайте руки об эту свинью.

— Как это понимать? — спросил Пузырь. — Ты же говорил, мы должны снова принять Файльбёка.

— Файльбёка — да, — ответил *Нижайший,* — но не его мерзкое тело.

Тем временем он надел резиновые перчатки, вынул у покойника член изо рта и швырнул в ящик. Мы подняли труп за руки и за ноги. Он провисал и скользил по полу. Мы опустили его на доски.

— Кто хочет пива, пусть глотнет, — сказал *Нижайший.*

Он взял здоровенный топор и отрубил мертвую голову. Затем раздробил череп. Вытекший мозг мы собрали совковой лопатой и вместе с осколками черепа вывалили в один из ящиков. С обезглавленным трупом мне легче было работать. Я вспорол живот и вытащил кишечник. В нос ударил жуткий смрад. Я отступил на несколько шагов, чтобы глотнуть чистого воздуха.

— Что делать с кишками? — спросил я.

Мы немного подумали.

— Если размельчить и просто утопить в сор-

тире, — рассудил Бригадир, — их могут через неделю-другую обнаружить в выгребной яме. Заверни их в газеты и тоже брось в ящик.

Я набрал побольше воздуха в легкие и, возясь с потрохами, старался не дышать. Прежде чем разрезать прямую кишку и пищевод, мне пришлось снова зарядиться свежим воздухом. Я вырезал легкие, сердце и печень и сунул в полость тряпку, чтобы она впитала скопившуюся жидкость. Потом мне захотелось пива. Я стянул перчатки и отошел к выходу, но даже там меня преследовал запах гниющих внутренностей. От него не так просто было отделаться. Несколько дней мне чудилось, что все вокруг пахнет кишками Файльбёка.

Другие начали рубить туловище и ноги. Все кости были измельчены. Я тоже приложил к этому руку. Труднее всего оказалось раздробление большой берцовой и тазовых костей. Мы обливались потом. Но действовали уже вполне уверенно. А мясо кромсали с каким-то остервенением. Нам все казалось, что оно изрублено недостаточно мелко. Пузырь сказал:

— Гуляш будет отменный.

— Фирменный раппоттенштайнский гуляш из собственноручно заколотой свиньи, — уточнил

Бригадир.

В конце концов Файльбёк превратился в массу зловонного крошева. Мы отнесли ящики в сарай, набили их сверху соломой и хворостом и окатили горючей смесью из запасной канистры для бензопилы.

Когда мы убирали доски и инструмент, приехали Панда и Жердь. Бригадир объяснил им, что здесь произошло. Панда покрылся испариной. Ему захотелось во что бы то ни стало заглянуть в один из ящиков. Может, он не поверил нам. Он поднял пропитанную бензином солому и случайно наткнулся на тот ящик, где лежали осколки черепа. Оттуда таращились глаза Файльбёка. Панда грохнулся на пол. Он весь побелел. Я подложил ему под ноги пару поленьев и принес остаток мятного чая.

Было уже восемь вечера. Гостей на праздник приглашали к десяти. Приходилось спешить. На поляне позади двора мы, как и в прежние времена, выложили круг из камней там, где еще сохранились следы прежних. Диаметр примерно четыре метра.

Ящики мы вынесли из амбара и поставили один на другой в центре круга. Вскоре их накрыла целая гора дров. Под конец нам даже стал

помогать чуть живой Панда. Сначала мы забросали ящики досками, на которых рубили труп, потом нагромоздили столько дров, что получилась куча в два метра высотой. В прорехи мы совали хворост и в половине десятого с разных сторон запалили костер. Через несколько минут взвилось пламя, которое можно было увидеть издалека. Вскоре стали приходить деревенские. Они приносили корзины со снедью и выпивкой. Один парень приехал на тракторе с прицепом, доставив ящики с пивом и весы. Надо было возобновить обычай прыгать через костер.

Нижайший собрал волосы в косицу и упрятал ее под шляпу. Местные предлагали ему пива, он отказывался. Зато колбасу в тесте принял с благодарностью. Школьная учительница начала с ним разговаривать по-английски. Не могу точно сказать, что он ей впаривал. По-моему, что-то про Ирландию и костры, которые там любят жечь. Но всякий разговор он быстро заканчивал. До самой ночи я чувствовал исходивший от костра сладковатый запах сгоревшей плоти Файльбёка. Никто не заметил ничего необычного.

В полночь какой-то парень отважился прыгнуть. Все его отговаривали. Время еще не пришло. Но он разбежался и прыгнул. И хотя он пере-

махнул через пламя, приземлился на тлеющие головешки и сильно обжегся. Боль заставляла его бегать по кругу. Но он все же встал на весы. Правда, тут же соскочил и опять начал бегать, воя от боли. Мы вызвали «скорую». Панда и Жердь подкладывали дров. На питейные нужды мы выделили шестьдесят литров пива.

К трем утра у костра осталось лишь несколько пьяных молодых крестьян. И те, что стояли на ногах, старались пустить в расход поленницу, сложенную еще Сачком. Жердь и Панда выполняли свою задачу по поддержанию огня до девяти утра. Потом их должны были сменить Пузырь с Бригадиром, которые ушли в дом и завалились спать. Бригадир заявил:

— Если потребуется, я готов подбрасывать дрова все выходные.

Но этого не потребовалось.

Ночью мы с *Нижайшим* уехали в Вену на машине Файльбёка. Прежде чем выйти на Хейлигенштадтском шоссе, он сказал мне:

— Теперь мы увидимся не скоро. Армагеддон откладывается на год. Регулярно покупай «Журнал для всех», через него я дам о себе знать. Ты ведь уже знаешь, что такое акростих. Не забудь, главное — вторая буква.

Он обнял меня и пошел своей дорогой.

— Постой! — крикнул я.

Он вернулся в машину и закрыл дверь.

— Что делать, если мне надо будет срочно связаться с тобой? — спросил я.

— В крайнем случае, но только в самом крайнем, установишь контакт со Стивеном Макэльпайном в Далласе. Спросишь номер пастора Батлера из Айдахо. Пастор Батлер. Легко запомнить.

Он вышел и двинулся вверх по шоссе в сторону Нусдорфа. Какое-то время я наблюдал за ним через зеркало заднего вида, потом поехал в Хернальс на Гюртеле. Возле дома Файльбёка нашлось место для парковки. Там я и поставил его машину. Руль, панель и дверные ручки протер носовым платком. Ключ зажигания выбросил потом в щель решетки канализационного люка. Уже светало. Вообще-то я собирался идти до Фаворитенштрассе пешком. Это заняло бы не меньше часа. А я едва держался на ногах. Поэтому пришлось сесть в такси на Эльтерайнплац. Водитель плохо знал немецкий и, прежде чем поехать, долго рассматривал карту города. На щитке висели четки. У лобового стекла лежала книга с арабскими буквами на переплете. Я спросил, что это за книга.

— Коран, — ответил он.

Мне захотелось посмотреть ее. Он отказался выполнить мою просьбу.

— Священный кныга, — сказал он. — Нэ для нэвэрных.

Я уж было решил настоять на своем или выйти. Не мешало бы назвать его черножопым засранцем. Но я промолчал. Я открыл окошко, мне казалось, я чувствую запах кишок Файльбёка. Даже после того как я принял дома душ и прогнал всю одежду через стиральную машину, запах все еще раздражал обонятельные нервы. С ним я и лег спать.

Разбудил меня звонок в дверь квартиры. Полиция! — первое, что пришло мне в голову. Я посмотрел в дверной глазок. Действительно, двое полицейских. Они не стали звонить у входа в дом, а, вероятно, вызвонили сперва соседей. Я начал соображать, не надо ли чего убрать от глаз подальше. Но ничего не лезло в голову. Зазвонили еще раз.

Таким образом я имел честь лично познакомиться с Резо Дорфом. Он обошел всю мою мансарду, будто каждый предмет обещал стать для него козырной картой. Сам Резо Дорф был в штатском, сопровождавшие полицейские — в

форме.

— Где Файльбёк? — спросил он.

— Не знаю. Я звонил ему несколько дней назад, хотел пригласить. Вчера у нас был праздник солнцеворота. Но дома его не было. Тогда я позвонил матери. Она на меня спустила всех собак и сказала, что его нет уже две недели. Я не решился сказать, по какой причине звоню.

— А где Джоу?

— Это я у вас хотел бы спросить. О нем уже два года ни слуху ни духу.

— Парни из вашей группы исчезают один за другим. Что же это за напасть такая?

— Наша группа? О чем вы? Нет никакой группы. Ее запретили.

— Она стала еще больше.

— С чего вы взяли?

— Не придуривайся. Мы знаем все.

— Тогда вам незачем меня расспрашивать.

Он схватил меня за грудки так, что пижама затрещала, и притянул к себе. Но при этом воротил нос — видимо, у меня несло изо рта.

— Кто он? — рявкнул Резо Дорф и так крутанул зажатые в кулаках лацканы, что мне стало трудно дышать.

— Кого вы имеете в виду?

Тут он выложил, что они наблюдали за нами во время праздника. Для меня это не было неожиданностью. Ляйтнер предупредил *Нижайшего* о такой западне. Но мы не были уверены, что они следят за нами, потому что не видели их. Я предполагал, что они могли затесаться в толпу.

— Ах, этот? — воскликнул я, изобразив некоторое удивление. — Он приехал из Ирландии. Несколько дней назад я случайно встретил его в закусочной. Он плохо говорит по-немецки и не пьет спиртного. Даже пива. Зовут его Джорджем. А больше я ничего о нем не знаю. Я высадил его на Шварценбергплац.

— Неужели?

— Да, на Шварценбергплац.

Тут я сообразил, что они наверняка ехали за нами. На обратном пути я все время поглядывал в зеркальце. Правда, никакого хвоста не приметил. Резо Дорф разжал пальцы, но был все так же нетерпелив.

— Давай, давай, не тяни резину. Чем он занимается? Где живет? Когда у вас следующая встреча?

— Больше мне нечего сказать. Ни о какой встрече мы не договаривались. Где живет, я тоже не знаю.

— Но вы же о чем-то болтали в машине.

— Совсем чуть-чуть. Я врубил музыку, чтобы не заснуть.

— И по дороге туда?

— Я был в машине один. И даже не ожидал, что Джордж и в самом деле придет. Скорее всего, он доехал автостопом. Или на автобусе. Ей-богу, не знаю. Мы возились с дровами, и вдруг появился он.

— Еще увидимся, — сказал Резо Дорф.

Но больше я его не видел. Зато приходили какие-то его подчиненные. Полгода они доставали меня одними и теми же вопросами: где Джоу? где Файльбёк? Где Джордж? Как он доехал до Раппоттенштайна? То же самое пришлось терпеть моим товарищам, но они знали еще меньше.

Рихард Шмидляйтнер, фабрикант
Пленка 3

Обогнать процессию их императорско-королевских высочеств обоего пола было невозможно. Они заняли весь коридор. С обоих концов хлынули толпы подобострастных зевак, с ними смешались те, кому не терпелось озарить свои физиономии вспышками фотокамер, я уж не говорю о случайно затесавшихся вроде меня. Ваши операторы, отъезжая назад, рассекли этот поток, точно снегоочистителем, на две половины, которые встали шпалерами вдоль оконных ниш и простенков. Кто не хотел посторониться добровольно, тех трамбовали руки ассистентов. Но прилив был так велик, что не успела телевизионная команда пройти собственноручно проложенным путем, как толпа вновь осмелела и наделала бы дел, если бы не яростное сопротивление второго ассистента, который волчком крутился между камерой и высочествами, не стесняясь хватать публику за вечерние платья и брюки и угрожающе шипеть. Не знаю, удалось ли вам вообще отцедить на пленке персон, которых

вы намеревались снять. Вся эта человеческая лава смахивала на гигантскую змею, заглотившую в качестве закуски телевизионную бригаду и отпрянувшую назад, чтобы спокойно умять главное блюдо. Единственным комком, сохранявшим первоначальную форму в пищеводе с окнами и люстрами, были четыре невозмутимо шагающих принца и принцессы. И мне ничего не оставалось, как присоединиться к их шествию, чтобы выбраться из толчеи. Я сумел пристроиться к арьергарду «вечных престолонаследников», по язвительному выражению прессы. Передо мной шагал человек необычайно высокого роста. Плотно спрессованные толпы с обеих сторон то и дело разражались криками: «Императорские высочества» и даже «Величества». Сзади так напирали, что мне стоило немалых усилий пощадить пятки венценосного великана. Он явно уверовал в свое теоретическое наследственное достоинство и всерьез внимал восторженным воплям и благоговейному шепоту, сопровождаемому поклонами, и даже с пониманием кивал головой. Родись он лет на сто пораньше, подумал я, это был бы великолепный образец императорской породы, и не знал бы он, счастливец, что значит охотиться за голосами и лезть в парламент, исполнял бы

лишь одну обязанность — экспонировать самого себя. Ему не пришлось бы благодарно улыбаться кланяющимся толпам, словно совершая магический обряд оживления своего былого величия. Будь он настоящим императором, я бы не боялся наступить ему на пятки, а изо всех сил старался бы идти за ним по пятам. Если меня оттеснят охранники, испугался я, мне уже не увидеть спускающуюся по трапу в аэропорту Швехат Екатерину Малую.

Так оно потом и случилось. Под напором толпы я задел-таки ногами августейшие пятки, которые неожиданно приросли к полу. Фалды фрака перед моим носом сдвинулись в сторону испанской принцессы. Его высочество обнял какого-то человека, стоявшего в первом ряду и с таким же орденом, как и у принца. Это было подобие золотого кольца, стягивающего прядь золотой шерсти. Оба орденоносца соприкоснулись сначала левыми щеками, а потом правыми, и вдруг я услышал произнесенные шепотом слова, которые адресовались его высочеству:

— Приветствую вас, мастер!

Я не имею понятия о статуте ордена Золотого руна, сувереном которого был принц, но для меня эта фраза: «Приветствую вас, мастер» —

прозвучала подобно смертному приговору. Могу поклясться, что я не ослышался, поскольку стоял совсем рядом. Эти слова прошептал господин с пышной бородой и скудной растительностью на голове. Он был невысок ростом — суверену, или гроссмейстеру, пришлось согнуться в три погибели. Меня удивило, что такого рода приветствие ничуть не шокировало кронпринца — создавалось впечатление, что он ожидал это услышать. Ласточкин хвост его фрака вернулся в прежнее положение. Поскольку принц принял обращение как должное, я подумал, что это — формула, предписанная пятивековым обычаем, что именно так кавалер ордена Золотого руна должен приветствовать своего суверена.

Ему бы радоваться, думал я, глядя на черные, изготовленные на заказ туфли по меньшей мере сорок шестого размера, которые снова пришли в движение, — ему бы радоваться, что он должен лишь изображать наследника престола, учитывая то обстоятельство, какой жребий был уготован настоящему, а не бутафорскому кронпринцу. Этот верзила, размышлял я, подняв глаза на его загривок, на котором во время кивков показывалась прикрытая волосами бородавка, — этот верзила, должно быть, страдает оттого, что

всю жизнь ему приходится ходить в спецшколу без всякой надежды работать по специальности. А бесконечная вереница жемчужных колье и орденов тешила его иллюзией.

В то время как этот принц то и дело показывал мне свою бородавку, другой принц увлекся беседой с принцессами. Они говорили по-французски и вели себя так, словно не было никаких зрителей и будто не ведая о том, что на них смотрят не только те, кто давится в фойе Венской оперы, но и несколько миллионов телезрителей. Говорила в основном французская принцесса, но я не мог сосредоточиться на ее речах, так как ее плавно колыхающийся, обтянутый шелком зад, на котором проступали очертания трусиков, привлек внимание такого множества фотографов, что меня чудом не выпихнули из свиты и не оттеснили к зевакам. На немецком принце, шагающем под ручку с испанской принцессой, был самый стандартный фрак серебристого цвета. Его я слышал хорошо, он говорил громче всех, хотя всегда только одно слово: «Absolument». «Absolument. Absolument».

Правда позднее добавил: «По официальной версии. Нет, нет. Это официальная версия. Абсолютно».

Я еще не добрался до артистического бара, когда вдруг на пол грохнулась поскользнувшаяся дама в синем платье с рюшами. Она пыталась поцеловать руку престолонаследника. Эта сцена была лакомым кусочком для изголодавшихся фотографов. Они мигом отлипли от принцессиного зада, и я понял, что моим пяткам несдобровать. Аппараты прямо-таки раззуделись, а меня все больше оттирали от процессии. Дзззн. «Изните». Дзззн. «Пардон». Дзззн. «Изните». И тут случилось то, чего я больше всего боялся: меня втиснули в толпу, и я не мог двигаться ни вперед, ни назад и начал покрываться потом.

Свое пальто я получил в гардеробе уже после полуночи. Выйдя из дверей Оперы, я понял, что такое конец света. Меня оглушил адский шум — всеобщий ор и вой сирен. Лучи прожекторов скользили по бегающим и дерущимся людям. Я даже не сразу охватил взглядом всю картину. Перед Оперой была полоса сравнительно свободного пространства метров пятьдесят шириной. Здесь сновали взбудораженные фотографы и телевизионщики. Слева от них стоял грузовик с подъемной платформой, которая уже поехала вверх вместе с тремя мужчинами в железной корзине. Не успела металлическая рука поднять их

на максимальную высоту, как они врубили еще один прожектор. Теперь побоище освещалось сверху, и вокруг стало светло, как днем. Передо мной открылась арена, усыпанная суетящимися фигурками, которые что-то кричали в мобильники и микрофоны, постреливали фотовспышками и носились в крайнем возбуждении. Их окружал полицейский заслон в семь, нет, в восемь рядов. За ними шла настоящая битва. Демонстрации мне не в диковинку, в молодости я и сам любил побузить и потолкаться на площадях. Тогда тоже случались эксцессы. Однажды я даже свистнул бумажник. Это было в середине семидесятых, когда старый каудильо, то бишь Франко, перед смертью не отказал себе в удовольствии прикончить еще несколько человек. Но наши демонстрации были детской забавой в сравнении с тем, что я увидел здесь, возле Оперы. Это уже не демонстрация, а гражданская война. Беснующиеся толпы, детский крик, в воздухе мелькают камни, дорожные знаки, стулья, доски, фонари, бутылки. Все это градом сыпалось на полицейских. Опрокинутые автомобили. Объятая пламенем полицейская машина. Люди из Службы спасения уносят раненых. Над крышами кружит вертолет. Атаки напоминали внезапные шквалы. То со стороны

Опернгассе, то из глубины Кертнерштрассе. Баталия развивалась необычайно стремительно. Парни из толпы — многие в черных шерстяных масках — набрасывались на полицейских, сминали первые ряды, бросали бутылки с «коктейлем Молотова», камни и все, что можно было подобрать в окрестностях Карлсплац. И тут же началась контратака. Полицейские дубасили толпу, сбивали с ног каждого, кто попадал под руку. Толпа отхлынула и растаяла так же быстро, как и собралась для атаки. Полицейские гнались за арьергардом по Опернгассе до самого Сецессиона, чем воспользовались другие демонстранты, чтобы пойти в наступление со стороны Кертнерштрассе. Полицейским дали команду вернуться на прежнюю позицию. Когда они подбежали к Опере и пришли на помощь тем, кто бился с демонстрантами в дыму горящего асфальта, спотыкаясь о раненых и всякий хлам, смутьянов оттеснили на Рингштрассе и погнали в сторону Шварценбергплац. Тем временем на Опернгассе сформировалась новая штурмовая группа. Я договорился с шофером, что без четверти двенадцать он подъедет к отелю «Бристоль», где будет ждать меня. Но Малерштрассе примыкала к арене боевых действий, и со стороны Кертнерштрассе

ее преградил полицейский кордон. Однако он оказался слабоват. Его теснили.

«Вы, униформисты, — прихвостни фашистов», — скандировала толпа. Только когда в это место перебросили сотню полицейских, которые стояли вокруг вашей телевизионной машины, удалось снова перекрыть Малерштрассе. Я был уверен, что мой шофер не настолько глуп, чтобы ждать меня на Малерштрассе, которую в любой момент могли захватить демонстранты, а точнее, эти городские партизаны. Вероятно, решил я, он отъехал на Шварценбергштрассе и ждет меня там. Я пошел на Вальфишгассе в сторону кордона — группы полицейских в зеленой камуфляжной форме. Они беспрепятственно пропустили меня.

— Что, бал успел наскучить? — спросил один из них.

— Нет, я еще собираюсь вернуться.

— Я бы вам не советовал. Если в ближайшее время не подойдет подкрепление из Граца, мы можем не удержать позицию.

И вдруг послышались выстрелы откуда-то со стороны Карлсплац. Несколько выстрелов подряд. И снова короткая очередь. Несмотря на рев, доносившийся из глубины Рингштрассе, я отчетливо слышал пальбу. А так как я не знал,

что она означала — предупреждение, устрашение, сигнальный огонь, или же там и впрямь стреляли в людей, — меня охватил панический страх. Да и полицейских тоже. Они вытащили из кобур пистолеты, хотя на Вальфишгассе, кроме нас, никого не было. Я побежал вниз по улице. На углу, где ее пересекает Академиештрассе, я наткнулся на группу юнцов, их было человек двадцать. Завидев вооруженных полицейских, они повернули назад.

Я двинулся к Шварценбергштрассе. Там, справа от Шварценбергплац, мелькали фигуры демонстрантов, они срывали дорожные знаки и использовали их в качестве инструментов для выковыривания камней брусчатки. А слева от площади все было спокойно. Я побежал в этом направлении, надеясь взять такси. Как выяснилось, напрасно. По другой стороне улицы расхаживал взад и вперед какой-то человек. Я так разволновался, что чуть не пробежал мимо. А это был мой шофер. Я уж и не рассчитывал найти его.

— Господин директор! — крикнул он. — Ну наконец-то. Через десять минут самолет будет в аэропорту.

Машина стояла поблизости. Мы поехали по улице с односторонним движением, но за бли-

жайшим перекрестком транспорт двигался в обратном направлении. Если бы мы проехали к стоянке, нас не выпустил бы полицейский кордон. Мы попали в ловушку центральных улиц с односторонним движением. Проехать к аэропорту, не нарушая правил, было невозможно. Мы свернули на Зингерштрассе и, проскочив через Штефансплац, вопреки всем правилам скатились к Волльцайле, где вообще проезд запрещен. Но в ту ночь у дорожной полиции и без нас дел хватало. Когда мы пересекли Рингштрассе у Луэгерплац, перед нами открылся путь, по которому мы могли ехать без нарушений. Оставалось только лететь во весь опор, что нам и удалось.

Мы договорились с ее высочеством, что я буду ждать ее в помещении для важных особ. Там сидел газетный фотограф в какой-то затрапезной куртке. Он пил пиво из горлышка бутылки и смотрел телевизор, иными словами — наблюдал бал в Опере. Когда я вошел с букетом белых роз, он меня сфотографировал.

— Кто вас прислал? — спросил я.

— Секрет фирмы, — сказал он и ослепил меня еще парой вспышек.

Я не решился выставить его за дверь. Не исключено, что информация о приезде Катрин Пети

поступила в отдел музыкальной критики. Но скорее всего, газета имела контакты с авианачальством. Тут трансляция бала прервалась, и репортер начал рассказывать о том, что происходило возле театра. И наверняка не в первый раз. Он с волнением сообщил о прогремевших выстрелах. Я сказал фотографу:

— Вы оказались не в том месте. Здесь вы сможете заснять лишь скромные остатки той высокой культуры, которую сейчас уничтожают на Рингштрассе.

— За нас не беспокойтесь, — ответил он. — Наших и там хватает.

Он достал мобильник и доложил:

— Говорит Вашек. Через четверть часа закончу дело в аэропорту. Куда потом? Сопровождать? О'кей.

Он плутовато улыбнулся:

— Придется оказать мне немного чести.

— В моей машине вам не место, — отрезал я.

— Не бойтесь, — с ухмылкой ответил он. — Я поеду следом.

Тем временем подошел мой шофер. Поскольку барышня, прислуживающая гостям салона для важных шишек, куда-то отлучилась, я попросил найти ее, чтобы нам принесли бутылку шампан-

ского и бокалы.

— Сколько? — спросил он.

— Побольше. Один для любезнейшего фотографа Вашека. Все равно нам от него не отвязаться.

Вашек салютовал мне бутылкой пива.

— Теперь мы понимаем друг друга.

Я начал волноваться: Катрин все не появлялась. Возможно, перед отлетом она узнала о беспорядках в Вене и отказалась от поездки. Но ведь у нее есть номер моего автомобильного телефона. Телерепортер продолжал свой рассказ:

— Сначала они вели себя мирно.

Тут показали молодых людей, раздававших красные гвоздики полицейским на Шварценберг-плац. По его словам, первые эксцессы произошли на Карлсплац, где молодчики в масках пытались прорвать полицейский кордон.

«Обратите внимание, дамы и господа, — говорил репортер. — Здесь, на боковой улице, в стороне от потока собственно демонстрантов криминальные элементы втягивают полицию в настоящий уличный бой. Они бьют витрины, выламывают шесты из ограждений трамвайных остановок, срывают дорожные знаки, разбивают стеклянные конструкции у выходов из метро. Справа в кадре мы видим уже явное мародер-

ство. Вероятно, там какой-то офис. Вскоре все это обрушится на головы полицейских. Пока полицейские очищают улицы, здесь, на Карлсплац, и другие группы демонстрантов переходят к насильственным действиям. Полиция все еще уверяет, что держит ситуацию под контролем. Но мы видим, что это ей уже не удается. Вот смотрите, какая же это демонстрация? Скорее, это толпы безумцев, решивших поиграть в войну. Дубинками и водометами смутьянов сумели оттеснить назад, в сторону Карлсплац. Но в этот момент пошли в наступление те, что собрались на Шварценбергплац. Полицейские зажаты в клещи».

Вы вообще не показали ни одного кадра с выстрелами. Они только слышались. И было видно, как полицейские достают пистолеты. Я буквально заметался по комнате. Показалась барышня со столиком на колесиках и доставила нам шампанское. Шофер все-таки отыскал ее. Полиция, как нам сообщили, опять овладела ситуацией. Снова показывали бал. А Катрин все не было. Боже, да вот она. На экране. Запустили отрывок из «Травиаты». Потом ее высочество появилась в гримерной, на ней был бархатный наряд Виолетты. Она сказала, что любит публику Венской оперы. На заднем плане был виден засохший бу-

кет роз, который я подарил ей после премьеры. И тут в комнату вошел таможенный чиновник. Он спросил меня, не жду ли я певицу Катрин Пети. Вашек защелкал фотоаппаратом.

— Я? Да ее вся Вена ждет, — сказал я, указывая на телеэкран.

— У нас с ней проблема. Она везет собачку, маленькую такую, комнатную.

— Ну и что? Собачка наелась героина?

— Нет справки о прививках.

Тут даже фотограф забыл про свой аппарат.

— Какой ужас! — ахнул я. — Комнатная собачка без справки. Над страной нависла угроза. А вам выпала честь предотвратить катастрофу. Отправляйте самолет обратно. Завтра вы проснетесь знаменитым.

Чиновнику было неприятно красоваться перед объективом фотоаппарата. Он сказал:

— А как мне быть? Я должен выполнять предписания.

— В такую ночь, как эта, грех находиться на службе. Через год приходите с женой на бал в Опере. О билетах я позабочусь. И давайте кончать эту комедию.

Он как будто замялся.

— Прошу вас, — взмолился я. — У вас все по-

лучится.

— Посмотрим, как получится, — сказал он, покидая нас.

Получилось, как видно, очень легко и просто, поскольку тут же вышла Катрин Пети в длинном манто из белого меха. В руке она держала изящную корзиночку. Катрин была невысока ростом и, пожалуй, полновата, но в долгополом манто казалась стройной и элегантной. Я поцеловал Катрин ручку и протянул цветы. Вашек фотографировал нас в разных ракурсах. Потом выпили шампанского. Таможенник составил нам компанию. Он извинился перед Катрин и вновь помянул предписания. Она с истинным благородством приняла это к сведению. На экране появилась ложа коммерциального советника Шварца. Катрин радовалась предстоящему свиданию с Оперой. Поскольку я ее поторапливал, таможенник не преминул дать мне свой адрес, имея в виду обещанные билеты. Шофер понес чемоданы, мы двинулись за ним.

По дороге я рассказал Катрин о демонстрациях.

— Полицейские, должно быть, успели очистить Шварценбергплац, — предположил я. — Мы сможем, как подобает, подъехать по пандусу.

Катрин делилась впечатлениями от вечернего

спектакля в Базеле. Она сказала:

— Альфред Жермон[50] с величайшим удовольствием отправился бы вместе со мной. Но я не хотела огорчать тебя таким сюрпризом.

— Теперь я твой партнер по сцене. Будь уверена, в Вене тебя встретят овациями. И зрителей куда больше. Чем ближе к ночи, вернее, уже к утру, тем…

— …тем тщеславнее гости, — продолжила она.

Я попросил шофера включить радио. Где-то в районе Зиммерингской пустоши музыка вдруг оборвалась. Какое-то время вообще ни звука, не последовали и ожидаемые сигналы, предшествующие сообщению дорожной полиции. Вместо этого послышался чей-то кашель. Затем глухо, словно из глубины пространства, динамик прохрипел: «Включение!» И наконец мы услышали дрожавший от волнения голос. Говоривший с трудом подбирал слова:

> *«Внимание… мы в связи… неожиданно прерываем программу. Внимание… экстренное сообщение… В Венской государственной опере происходит… несколько*

---

[50] Примечания: 50
Герой оперы Джузеппе Верди «Травиата».

минут назад произошла катастрофа… Люди кричали и падали… совершенно беспомощно. Пока никакой ясности. Кажется, все еще продолжается, люди валятся на пол, сотни людей. Как будто они… будем надеяться, что это не так… умирают. Это ужасно, просто передать невозможно. Сейчас мы еще не можем сказать, что здесь случилось. В этом году у нас нет микрофона в театре. Мы вынуждены все наблюдать по телевизору, программа ETB. Нет, это просто какой-то кошмар. Дорогие радиослушатели, молитесь, чтобы на самом деле все было не так страшно, как выглядит на телеэкране. Совсем скоро мы вновь выйдем в эфир».

Приемник умолк. Я взял Катрин за руку и попросил шофера остановиться. Мы молча сидели. Через несколько минут включили скорбную музыку. Песик Катрин лизал мою ладонь. Гладя его, я с ужасом представил, что было бы, если бы имелась справка о прививках. Я благодарил Бога за то, что он послал нам столь усердного таможенника. Несколько недель спустя я выразил ему

свою признательность, разумеется, не вручением билетов в Оперу. Бал кончен навсегда.

Мы сидели в машине, слушая траурную музыку, прерываемую очередными сообщениями, и тут я вдруг понял, что до сих пор жил иллюзией. Будучи предпринимателем, да к тому же успешным, я воображал себе, что жизнь можно лепить собственными руками. Ничего подобного. Какая-то справка о прививках, недобросовестный чиновник, завершенный раньше обычного спектакль в Базеле или болезнь ее высочества вполне могли иметь роковые последствия, и меня бы уже не было в живых. Так же как Яна Фридля. В первые дни я исказнил себя упреками, может быть безосновательно, но заглушить их не удавалось. Но потом, когда на горизонте появилась алчная подруга Яна, да еще с намерением вмешаться в мои финансовые дела, я перестал упрекать себя. Напротив, я проклинал себя за то — хоть об этом не стоит говорить вслух, — что не сумел затащить ее на бал.

Около получаса мы простояли на обочине автобана. За это время проехало всего лишь несколько машин. Над крышами города мигали огнями вертолеты. Я заказал для Катрин апартаменты в отеле «Бристоль», в двух шагах от Оперы. Из

радиосообщений мы поняли, что там сейчас невообразимый хаос. Мне не хотелось, чтобы Катрин хоть краешком глаза увидела этот ужас. Кроме того, я был уверен, что к «Бристолю» сейчас вообще не подъехать. Другой приличный отель найти в Вене тоже не представлялось возможным. Она сказала, что хочет вернуться в Базель.

— Боюсь, — ответил я, — что из-за такого множества спасательных вертолетов над городом частному самолету не дадут разрешения на взлет. К тому же не хотелось бы пока оставлять тебя одну.

— Но не торчать же нам всю ночь на обочине.

Я велел шоферу ехать в Зальцбург. Катрин однажды была там, во время фестиваля она жила в отеле «Золотой олень». Я несколько раз навещал ее, мы чудесно провели время. По дороге в Зальцбург мы слушали радио, вести были одна ужаснее другой. Шоссе казалось абсолютно пустым, похоже, только мы и ехали в сторону Зальцбурга. Мы притормозили у заправки близ Ансфельдена. Когда песик, дрожа от холода, поднял ножку, я обнял Катрин и сказал:

— Ты мой ангел-хранитель.

Она помедлила с ответом и, уже садясь в машину, заметила:

— Вы, жители Вены, носите катастрофу в самих себе. Я всегда чувствовала это, слушая музыку ваших композиторов.

Тут сзади к нам подъехала какая-то машина. Из нее вылез фотограф Вашек. Я сказал ему:

— Мы едем в отель «Золотой олень». А вы возвращайтесь в Вену. Для газеты вы нужнее там, а не здесь.

Он последовал моему совету. Продолжая путь, мы выключили радио. В какой-то момент Катрин запела. Это была нежная, чарующая мелодия, звуки воспаряли на высоких нотах и плавно переходили в нижний регистр. И я был заворожен их мелодичным повтором.

Дай руку мне, красавица душа!
Поверь, я – друг и не могу карать я…
Узнаешь ты, как сладко, не дыша,
Вкушать покой в моих объятьях!

Потом я часто слушал эту песню. Но тогда еще не знал, как она называется. Я спросил:

— Что это?

— Вторая строфа, партия Смерти из «Смерти и девушки» Шуберта.

Около пяти утра мы прибыли в гостиницу «Золотой олень». Для нас нашелся номер.

Реквием

Во время трансляции бала позвонили из генеральной дирекции в Париже. Это было где-то в половине двенадцатого. Я не хотел тратить время на разговоры. Но технический ассистент включил динамик, и я мог все слышать. Кто-то возмущался по-английски с французским акцентом: «Что там у вас? Си-эн-эн показывает уличные бои в Вене. Сейчас даже в прямом эфире. А чем занимается ETB? Немедленно дайте картинки с улиц. Вытащите из театра какую-нибудь принцессу и покажите ей этот ад. И пожалуйста, побольше динамики. Мы хотим видеть все, по полной программе. О'кей?»

Я очень хорошо представлял себе, что творится снаружи. Шум временами был слышен даже в студийном автобусе, обладающем хорошей звукоизоляцией. Кроме того, на улице у нас работала ручная камера, которая с десяти часов отслеживала самые малоприятные сцены. Демонстранты временами подбирались к нам угрожающе близко. Краем глаза я следил за одним из мониторов, на котором мог видеть события на улице. Но я бы не решился включить их показ в передачу. Не

хватало еще, чтобы мерзкими сценами я испоганил нами же самими организованную программу респектабельного шоу. О том, что Си-эн-эн, не получив доступа в Оперу, делает хорошую мину при плохой игре и ведет съемку на улице, я, правда, не знал. Три бригады, которым были поручены самые никчемушные, на мой взгляд, интервью, я отозвал с бала. Наши техники смонтировали подъемные платформы с мощными прожекторами. Если уж показывать буйство толпы, то надо, чтобы все было видно как на ладони. Перебросить на улицу Фреда мне как-то не пришло в голову, хотя я не сомневался, что потолкаться там ему было бы интереснее, чем торчать в зале и снимать оркестр. К тому же он томился в единственной ложе, где запрещалось курить. Я просил сделать для него исключение, но пожарные оказались непреклонны. Осветительская ложа была нашпигована оборудованием, которое уже не соответствовало новейшим требованиям. Но я был уверен, что Фред и там не изменит своей привычке.

Вопросами на этот счет я, вместо того чтобы заниматься монтажом, мучил спасателей.

— Вы не находили, — спрашивал я, — пепельницы в осветительской ложе?

На меня смотрели как на повредившегося умом. Тут тысячи мертвых, трупам конца не видно, а этот сумасшедший журналист интересуется пепельницей в какой-то ложе.

Как ни старался я воссоздать общую картину, с фильмом ничего не получалось. О чем бы я ни думал, все вытеснялось мыслью о смерти Фреда. Кроме того, мне не давал покоя вопрос о том, как и почему это случилось. Каким образом удалось осуществить теракт? Отснятый материал не давал на сей счет никакой информации. Пресса в основном перечисляла различные версии. Как получилось, что маленькая группа, именовавшая себя *Друзьями народа,* через три года после ее разгона не только сохранилась, но и сумела превратить Венскую государственную оперу в газовую камеру? Действия полиции отличались невероятным дилетантизмом. Только спустя две недели она расчухала, что этот самый Стивен Хафф из Аризоны — реальная личность, человек из плоти и крови, житель штата Огайо. Прошло еще сколько-то дней, пока не выяснилось, что погибший при совершении теракта тип по имени Стивен Хафф — не кто иной, как скрывшийся после поджога на Гюртеле предводитель *Движения друзей народа.* Газеты печатали бесконечные

списки убитых, каждый день появлялись новые имена. На улицах чернели траурные флаги. Временное правительство, руководимое министром сельского хозяйства, объявило тридцатидневный траур. После чего без предвыборной борьбы должны были состояться новые выборы.

Через день после смерти Фреда ETB показало фотографии своих погибших сотрудников. Я увидел лицо Фреда. В состоянии крайнего изнурения я мог лишь тупо смотреть в пространство и внушать себе, что все это какой-то сон. Потом я выключил телевизор, напился и завыл, не видя ничего, кроме бесконечной пустоты. В какой-то момент зазвонил телефон, я даже не дернулся. Из динамика автоответчика донесся голос моего отца: «Курт, мы просто убиты горем. Скажи, что можно для тебя сделать? Может, приехать в Вену? Бланка считает, что нам надо вылететь завтра. Как будет лучше для тебя?»

Я не стал звонить им. Я вообще не знал, что мне делать. Потом уснул на кушетке в гостиной. Следующий день я провел в вымершем здании нашего офиса. На том этаже, где кабинеты начальников, заседал кризисный штаб. Коллеги выражали мне соболезнования и с пониманием отнеслись к тому, что я не принял участия в засе-

дании. Четыре съемочные бригады, уцелевшие после катастрофы, получили долгосрочное задание. В коридорах не было ни души. Несколько дней назад здесь в воздухе свистели циничные реплики, какие можно услышать во всякой большой редакции. Но тс, кто был горазд на них, либо сидели в штабе, либо ушли в мир иной. Секретарши с заплаканными лицами сидели в пустых приемных. «Я так сочувствую вам, господин Фрэйзер». Двери держали открытыми, будто приглашая к себе духов жизни, которые еще оставались в этом здании. Некоторые из сотрудниц выбегали ко мне в коридор и начинали рассказывать какие-то истории про Фреда. Я не мог это выслушивать.

Позвонил Мишель Ребуассон, он хотел непременно поговорить со мной лично. У него нашлось удивительно много слов для выражения соболезнования. Мне сказать было нечего. Он знал, что значил для меня Фред. Мы говорили о нем еще во время нашей первой встречи в лондонском отеле. Затем Ребуассон перешел ко второму пункту, то есть к документальному фильму. Он прекрасно понимает, в каком я теперь состоянии. Но ведь у меня в запасе целый месяц, пока этим делом занимается отдел новостей. По словам ге-

нерального директора, мне сам Бог велел делать такие фильмы, кроме того, никто лучше меня не знает материал в целом. А сам он на собственном опыте убедился, что лучший способ пережить утрату близкого человека — это с головой уйти в работу.

Вечером меня ждали дома три телефонных сообщения. Сначала звонила мать, потом отец и снова мать. В конце она спрашивала: «Ты уже говорил с Хедер? Если нет, позвони ей непременно. Мы не можем не сказать об этом. Пожалуйста, позвони».

Мать права. Я должен позвонить Хедер. Но я был не в состоянии. Возможно, мать предполагала это. Поздно ночью я слушал «Песни об умерших детях» Густава Малера.

Я должен был позвонить ей. Если бы я просто дал ей услышать одну из этих песен и затем положил трубку, может быть, она бы поняла. Нет, ничего бы она не поняла. Она бы решила, что даже в этой ситуации я хочу досадить ей. И все-таки через какое-то время я заставил себя найти свой старый лондонский номер. Было уже где-то три часа ночи.

— Я разбудил тебя?

— Да.

— Ты знаешь, почему я звоню?

— Да.

Я не мог сообразить, какие слова еще надо сказать. Она начала плакать. У меня тоже слезы наворачивались на глаза. Мы уже не говорили, только плакали. Мне не приходила в голову ни одна уместная фраза. Когда она вроде бы перестала плакать, я пробормотал:

— Созвонимся в другой раз. Или ты хочешь что-то сказать?

Молчание. И вдруг срывающийся голос:

— Фред должен быть похоронен в Лондоне.

— Об этом не может быть и речи. Я хочу, чтобы он был рядом.

Снова молчание. Она пыталась отнять у меня Фреда, подумал я. После бесконечно долгой паузы я сказал:

— Поговорим об этом в другой раз. Спокойной помп. И положил трубку.

Похороны состоялись только через три недели. Столько времени понадобилось для вскрытия и экспертизы. Этим занимались специалисты со всего мира. Поскольку холодильные камеры моргов всех венских больниц не могли вместить такое количество трупов, для их хранения приспособили холодильный цех одной из боен. В

пристройке лежали неопознанные трупы. Сюда предлагалось приехать всем, кто не нашел имени пропавшего в списке погибших. Я, конечно, понимал: у администрации не было иного им хода. Но при мысли о том, что Фреду отведено место рядом с убоиной, у меня кошки скребли на сердце. Я был вправе увидеть мертвое тело Фреда. Однако, взглянув на показанную по телевидению картину перекладывания и сортирования трупов, я отказался от намерения ехать на бойню.

Мне позвонила Хедер, она спросила, когда будут похороны. По всей видимости, она поняла, что перевезти тело в Лондон ей не удастся. Точную дату еще не назвали. Я обещал сообщить ее, как только узнаю. Родители тоже собирались приехать. Отговорить их я не мог. На тот день, когда тела были выставлены дня прощания, правительство назначило общенациональное траурное шествие. Жителей Вены присыпали собраться в полдень на Ратушной площади. Предполагалось, что после выступления главы временного правительства люди направятся по Рингштрассе к зданию Оперы, где в час дня память погибших почтят минутой молчания. Затем шествие, двинется по Кертнерштрассе на Штефансплац, и траурная церемония закончится речью карди-

нала. Похороны Фреда должны были состояться день спустя на Центральном кладбище.

Хедер хотела не только прийти на похороны, но и принять участие в траурном шествии. В половине двенадцатого я встретил ее в аэропорту Швехат. Вместо флагов всех стран на здании развевались черные стяги. В зале прибытия стояли люди, одетые в черное, в ожидании родственников и знакомых. Я выпил в кафетерии большую чашку крепкого кофе и, листая газеты, поглядывал на автоматические двери, которые беспрестанно открывались и пропускали прибывших. Какая-то женщина приветствовала родных, в этот момент с ее багажной тележки упал тугой целлофановый мешок. Из него потекла густая жидкость. Дама беспомощно посмотрела по сторонам. Потом положила мешок рядом с автоматической дверью и ушла. Темно-желтое пятно стало расползаться по полу, и вскоре у самой двери образовалась целая лужа. Скорее всего, это был ликер. Пассажиры, толкавшие тележки с багажом, не смотрели под ноги. Они везли свой груз прямо по луже и, лишь почувствовав, как ноги прилипают к полу, стали брезгливо поглядывать вниз. Жидкость, как видно, оказалась довольно липкой. Вскоре ею было покрыто все

пространство перед дверями, и грязно-желтые вереницы следов протянулись к обоим выходам. Благо до появления Хедер уборщица в синей спецовке успела пройтись по полу шваброй.

О посадке лондонского самолета сообщили еще пятнадцать минут назад. Я встал и подошел к автоматическим дверям. Хедер я узнал издалека. Прежде всего по походке. Раньше у нее были длинные светлые волосы, которые она укладывала волнистыми прядями. Теперь я видел коротко стриженную голову с темно-красными волосами. Длинное черное пальто из искусственного меха расстегнуто, под ним черное шелковое платье.

Хедер подошла ко мне с дорожной сумкой в руках. Она подставила на миг щеку, и я мимолетно коснулся ее своей. От нее исходил какой-то чужой запах. Я спросил:

— Как полет?

— В самолете не я одна летела на похороны. Командир экипажа сказал по радио слова соболезнования.

Мы сели в машину. Почти всю дорогу молчали. Правда, она спросила, пришлось ли Фреду мучиться.

— Да, но какие-то секунды.

Мы опять ехали молча. Потом я сказал, что

она Может остановиться в квартире Фреда, где я ничего не тронул. На Шюттельштрассе мы наткнулись на таблички: «Проезд в центр города закрыт». Вскоре образовалась пробка. Мы пересекли Дунайский канал и оказались в 3-м районе. Случайно вышло так, что я вырулил на Разумовскийгассе. Но и там была пробка. Я показал на дом справа.

— Здесь когда-то жил мой отец.

Хедер посмотрела в окно и не сказала ни слова. Был уже полдень. Даже если траурное шествие задержится на полчаса, вовремя подъехать к Ратушной площади я бы уже никак не успел. Я продолжил путь по Унгарштрассе, а потом свернул направо — на Реннвег. Но и здесь мы застряли. Чтобы выбраться из пробки, я нырнул вбок, на Райснерштрассе, и несколько раз проехал по кругу. Наконец возле русского посольства я увидел, как кто-то садится в автомобиль. Можно было ехать следом.

Мы вернулись на Реннвег и, миновав парковую стену замка Бельведер, устремились на Шварценбергплац.

— Мы как раз подоспеем к минуте молчания у Оперы, сказал я.

Был холодный, хотя и солнечный день. Впервые

за долгое время небо совершенно прояснилось. Мы молча шли рядом, при каждом шаге выдыхая пар. Поравнявшись с памятником русским воинам, мы удивились множеству людей, скопившихся на Шварценгерцлац. Чем ближе мы подходили к Рингштрассе, тем гуще становился поток. Люди большей частью были одеты в черное. В руках у многих — горящие свечи или факелы. В импровизированном киоске антирасистского движения *Братья, спасите наши души* я купил для себя и Хедер два факела с картонными манжетами на ручках. Пробиться к Опере было невозможно. Объявленное траурное шествие не получилось, поскольку улицы даже на специально выбранном отрезке пути не могли вместить такое множество народа. Продвинуться не удавалось ни на шаг. Дальше кафе «Шварценберг» мы не ушли. В час пополудни раздался звон церковных колоколов. Голоса внезапно стихли. Слышался только колокольный звон. Люди опустили головы. Рядом с нами стоял кельнер из кафе «Шварценберг». Он узнал меня и, когда смолкли колокола, пожал мне руку.

— Это мать Фреда, — сказал я.

Он пожал руку и ей. Возвращаясь к машине, мы по-прежнему хранили молчание. Путь на Му-

зеумштрассе тоже был долгим и замысловатым. Подъехав к дому, я взял сумку Хедер, и мы поднялись к квартире Фреда. Я отпер дверь и передал ключ Хедер. Медленными тихими шагами она обошла все помещения. Я следовал за ней. Только бы она сейчас не расплакалась, подумал я, мне бы не удалась роль утешителя. Она сказала, что хочет остаться одна. Я пошел к выходу. Но, сделав несколько шагов, обернулся:

— Если что-то возьмешь отсюда, пожалуйста, скажи мне, чтобы потом не пришлось из-за этого цапаться. — Она кивнула. — Случилось так, что мы наказаны оба. Я не хочу новых ссор. Все должно быть иначе.

Она растерянно взглянула на меня и пробормотала:

— Но почему наказана я?

Я поднялся к себе. Из «Вечерних новостей» узнал, что в траурном шествии участвовало не менее шестисот тысяч человек. На снимках, сделанных с вертолета, было видно целое море черных фигур, заполонивших все пространство от университета до Штефансплац со всеми прилегающими улицами и площадями. Где-то в десять вечера я выглянул в окно: в квартире Фреда все еще горел свет. Я позвонил Хедер и спросил, не

принести ли ей бутылку красного вина. Прежде она охотно его пила.

— Нет, благодарю, — ответила Хедер. Кажется, она плакала. — Я поставлю бутылки у двери.

С двумя бутылками «Бордо» я спустился к квартире Фреда и прислушался, но за дверью все было тихо. Я поставил бутылки у порога, постаравшись сделать это достаточно громко, чтобы Хедер могла услышать. Не успел я подняться на свой этаж, как в подъезде выключили свет. Дальше пришлось двигаться в темноте. На лестничной площадке я перегнулся через перила и посмотрел вниз. Если бы Хедер открыла дверь, я увидел бы полоску света. После нескольких минут напрасного ожидания я удалился в свою квартиру.

Утро следующего дня я провел в студии. Снова и снова просматривал кадры, перед глазами бесконечно повторялась одна картина — как убивают Фреда. В три часа я заехал за Хедер. На ней была черная шляпа с шелковой вуалью, наполовину закрывавшей лицо. В остальном она была одета так же, как вчера. Увидев ее шляпу, я содрогнулся от ужаса. Ведь это был знак невозвратимой потери, а я все еще внушал себе, что несчастье можно как-то отвратить.

Я был против каких бы то ни было услуг со

стороны Церкви и не хотел видеть у могилы Фреда священника. Коммерческого директора ETB я попросил не оповещать сотрудников о времени погребения. Им и так хватало траурных впечатлений и переживаний в тот день, да и в последующие тоже. А лучше всего, думал я, если бы я стоял у гроба один. Но оказалось, что присутствие Хедер уже не мешало мне. Опасения, что это лишь усугубит мое мучительное состояние, не оправдались. Вскоре я даже почувствовал некоторое облегчение оттого, что она рядом. Так же как и я, она принадлежала Фреду. С того момента, как она появилась здесь, боль моя, вопреки ожиданиям, как будто немного утихла.

На Центральное кладбище мы прибыли на целых полчаса раньше назначенного времени. У главных ворот я купил два букета красных роз, мы немного проехались вокруг. Хедер впервые была в Вене. Однажды я прогуливался с Габриэлой по еврейской часта кладбища. В другой раз побывал здесь один, чтобы увидеть могилы знаменитых людей. А теперь мне хотелось показать Хедер, насколько велик весь некрополь. Поэтому я заплатил небольшую пошлину, и мы въехали в главные ворота. Привратник в черной униформе выдал нам карту кладбища. Я припарковал ма-

шину у главного зала торжественного прощания, и мы молча обошли несколько рядов надгробий. Скромные большей частью могилы выдающихся музыкантов, художников, писателей и ученых терялись в окружении пышных надгробий совершенно забытых политиков и генералов. Мы снова сели в машину, проехали половину кладбища по поперечной аллее в сторону церемониального зала у восточных ворот. Всюду, куда ни глянь, шли похороны. Проезжая мимо могил, вокруг которых стояли люди, я максимально сбавлял скорость, чтобы не помешать им. К моему удивлению, у дверей зала нас ждали несколько секретарш и техников из отдела светской хроники. Я представил им Хедер. Они говорили ей подобающие слова. Человек в черной униформе объяснил мне, что погребение откладывается на сорок пять минут. Мне было досадно, но кладбищенские работники просто разрывались на части. Едва человек в черной униформе успел предупредить меня, как его куда-то вызвали по рации, которую он держал в руке.

Вокруг собирались группы людей, пришедших на похороны. Каждую четверть часа из зала выходила очередная процессия. Гроб переносили в черный автомобиль, увешанный по бокам венка-

ми. После чего процессия медленно шествовала к месту захоронения. Впереди шел священник с ближайшими родственниками покойного, за ними — прочая родня, друзья и знакомые. Как только процессия сворачивала на аллею, в дверях появлялся новый священник и приглашал для прощания следующую группу. Мы с Хедер несколько раз обогнули здание и приглядывались к людям, стоявшим в ожидании церемонии. Вот уж никак не думал, что сумею настолько владеть собой. Вся эта помпезная обрядовость казалась смешной и какой-то фальшивой. «Я есть смерть, воскресение и жизнь. Кто верует в меня, тот живет, даже если умер».

Человек с маленькой рацией командовал целым отрядом гробоносцев, которые курсировали со своим грузом между зданием и машинами. Выяснилось, что многие группы дожидались торжественного погребения своих близких в самом зале, а там этот процесс затянулся более чем на два часа. Распорядителю приходилось то и дело выслушивать нарекания. Кто-то ему даже пригрозил:

— При таком бардаке на чаевые не надейтесь.

Распорядитель, сохраняя почтительную мину, отвечал:

— Простите великодушно, уважаемый. Мы делаем все, что в наших силах, и даже больше. Простите великодушно.

И он вновь поторапливал своих подчиненных.

Я заказал похороны по самому простому обряду. Как и было обещано, через сорок пять минут могильщики в серых спецовках выкатили навстречу нам ручную тележку. Один из них спросил:

— Вы родственники Фреда Фразера?

Фамилию он так и произнес — с отчетливым «а». Услышав утвердительный ответ, сказал, как учили:

— Просим прощения за некоторую задержку и выражаем свои соболезнования. Теперь мы в вашем распоряжении.

Они вынесли дубовый гроб и установили его на тележку. Распорядитель снял с боковой ручки номерок. Другой работник похоронной команды, к моему изумлению, возложил на гроб венок. Я прочитал надпись на ленте: «Нашему незабвенному сотруднику Фреду от ЕТВ».

Мы двинулись к могиле. Могильщики катили тележку, мы с Хедер шли за гробом, а за нами сотрудницы и сотрудники ЕТВ. Под обитыми железом колесами шуршали камешки. Хедер

взяла меня под руку. Я посмотрел на нее, пытаясь увидеть сквозь вуаль глаза. Мы встретились взглядами, глаза у нее были сухие. Мы вышли на асфальтированную дорогу, ведущую к восточному участку, и через десять минут поравнялись с рядами свежевыкопанных могил с венками на глиняных бугорках. У одной из них могильщики остановились. Они поставили гроб на возвышавшийся над ямой помост. Потом встали рядом и уперлись взглядами в гроб. Поскольку с нашей стороны за этим ничего больше не последовало, один из них поднял голову и спросил, не хочет ли кто сказать какие-то слова. Я не был к этому готов. И все-таки произнес: «There will be no more tears in heaven. Good bye, Fred, good bye».[51]

И тут вдруг мои глаза затуманились слезами. Хедер прижалась ко мне. Я приобнял ее за плечи.

Один из могильщиков начал крутить ручку лебедки, и гроб стал медленно опускаться. Я слышал рыдания Хедер и плотно сжимал губы. Когда гроб коснулся дна, один из могильщиков выпрямился со словами:

— Упокой, Господи, навеки его душу!

— Аминь, — сказал другой.

---

[51] Примечания: 51

И слез не будет больше в небесах. Прощай, Фред, прощай *(англ.)* — первая фраза — строка из песни Эрика Клэптона «Слезы в небесах».

Он наполнил какой-то сосуд землей, сверху положил лопатку и поставил все это рядом с нами. Я бросил свои цветы в могилу. Могильщик протянул мне лопатку с горстью земли. Я поднес ее к могиле и медленно высыпал на гроб. Хедер сделала то же самое. Мы отошли в сторону. Цветы и комья земли с глухим шумом усыпали фоб. Розы, гвоздики, лилии, тюльпаны. Какие-то падали на крышку, какие-то скользили мимо. Кладбищенские подошли к нам:

— Выражаем вам искреннее сочувствие.

Но ведь они уже выражали его перед погребением. Я не сразу понял, в чем дело. Только когда они шагнули к тележке, чтобы отправиться в обратный путь, я вспомнил о разговоре возмущенного господина с распорядителем. Я догнал могильщиков и вручил каждому по сто шиллингов. «Премного благодарны», — услышал я в ответ, после чего они со своей тележкой удалились хоронить следующего покойника по дешевому обряду.

Сотрудники ЕТВ еще стояли у могилы. Я признался, что не ожидал их появления здесь, и пригласил всех на ужин. Они в один голос вежливо отказались.

— Но я хотел бы устроить большое застолье в

память Фреда.

Они поочередно попрощались с нами. Мы с Хедер остались у могилы одни. Глядя на гроб, я вспомнил слова Фреда: «Вот это да. Прибавление в семействе». Получилось все наоборот. Мне не верилось, что я больше никогда не увижу его. Хедер подняла вуаль. У нее были красные глаза, у меня, наверное, тоже. Мы долго смотрели друг на друга. Наконец я сказал:

— Поедем домой.

Она кивнула.

У самой двери квартиры Фреда я спросил, нельзя ли мне немного побыть здесь.

— Я сама хотела просить тебя об этом.

Хедер успела прибраться в квартире. Мы сели рядом на стулья из стальных трубок, обтянутых светлым полотном. Хедер сказала:

— Чудесная квартира. Ты сохранишь ее?

Я не мог ничего ответить. Знал только, что не в состоянии быстро освободить площадь.

— Можно, я закурю?

— Ладно уж. Лучше теплый дым, чем застарелый табачный дух. Я все утро безуспешно проветривала комнаты.

Я не чувствовал никакого неприятного запаха. Пепельниц не было видно. Хедер пошла на кухню.

Вернулась она без шляпы. Принесла пепельницу, бутылку «Бордо» и два бокала. Я открыл бутылку и разлил вино. Мы подняли бокалы. Она долго не отрывала взгляд от моего лица.

— Курт, я давно хотела сказать тебе, но все не решалась позвонить. Даже когда ты приехал на Рождество в Лондон.

Я смотрел на нее и ждал разъяснений.

— Хочу поблагодарить тебя за то, что ты помог Фреду. Я уже не знала, что делать. Фред совершенно отдалился от меня.

Мне стеснило грудь, когда она это сказала. Я был настолько взволнован, что не мог ничего ответить. Но неужели надо было пережить Фреда, чтобы услышать эти слова. Я всегда надеялся услышать их от самого Фреда. Но теперь мне казалось, что на самом деле я ждал этого признания только от Хедер.

Мы пили вино. Я рассказывал Хедер о том, как лечился Фред. Потом — о нашей жизни в Вене. Хедер принесла сыр и белый хлеб.

— В холодильнике, — сказала она, — все покрылось плесенью. Я очистила его и купила кое-что свежее. Завтра возьми продукты к себе.

Я сделал бутерброды с маслом, а Хедер занялась сыром. Потом я открыл вторую бутылку вина. Я

гладил и целовал ее руку. Поначалу она никак не отвечала на мою ласку, но и не противилась ей. Затем взяла мою ладонь и прижала ее к своей щеке.

— У тебя был кто-нибудь? — спросила она.

— В сущности, нет. А у тебя?

— Не знаю. Он женат. На молоденькой. Ничего хорошего я не жду.

Она разглядывала мои пальцы, играла ими. Передо мной был чужой человек. И все же пробудившиеся воспоминания настолько завладевали мной, что меня опять влекла к себе эта мягкая жаркая плоть. Вновь велико было искушение прильнуть к этому телу.

Поутру, проснувшись в своей квартире, я почувствовал запах Хедер. Он был у меня на губах, на пальцах. Я вдыхал его, закрыв глаза. Встав в половине десятого, собирался отвезти через два часа Хедер в аэропорт, а после ехать на работу. Я очистил несколько апельсинов и сунул их в соковыжималку. Потом пошел и купил в кондитерской сдобы. Возле овощного магазина продавали чилийский виноград, я взял килограмм. На лотке стояли узкие вазы с розами. Я купил лиловую. И вскоре со сверкающим, тяжелым от яств подносом спустился к двери Хедер. Я нажал на кнопку

звонка. Никакой реакции. Вероятно, Хедер еще спала. Я позвонил несколько раз кряду — и вновь безрезультатно. Пришлось поставить поднос на подоконник и достать запасной ключ. Но прежде чем воспользоваться им, я позвонил еще пару раз. В комнате было чисто, никаких следов нашей вчерашней встречи. На кровати Фреда — голый матрац, а с краю — новый комплект белья. На письменном столе — записка.

«Дорогой мой и глупый экс!

В аэропорт я еду на такси. Не забывай следить за холодильником. Но прошу, не вспоминай о минувшей ночи. Нас связывает только одно – наш покойный сын. Хедер.

P. S. В ящике письменного стола я нашла фотографию. Я взяла ее с собой. Там вы с Фредом на реке Колорадо».

Инженер
Пленка 10

Какие же вы, христиане, собаки!
Крестом вас стращает хозяин ваш строгий.
Смиренно ль хвостами виляете, бяки,
Да ангелу жирному лижете ноги?

О глупые, прочь от елейного смрада!
Безумцы, забудьте поповскую ересь.
Сдвигайтесь в фаланги, сбивайтесь в отряды
И драться учитесь, по-волчьи ощерясь!

Молитесь на силу во благо измены,
Сносите все храмы, ломайте все стены!

Это анонимное стихотворение было напечатано в «Журнале для всех». Я отыскал его несколько месяцев назад и выписал в один ряд вторые буквы каждой строки. Стихотворение само по себе невразумительное, но из букв составилось слово «Армагеддон». Это было первое послание

Нижайшего.

Вскоре Мормон появился в бета-сети. Споры вокруг Тысячелетнего Царства давно утихли. *Нижайший* вновь подлил масла в огонь, только на сей раз не своими комментариями, а цитатами. Каждый день он выбирал новый отрывок из «Книги Мормона».

Сначала — в оригинале, по-английски, потом — в немецком переводе. Речь в этих текстах всегда шла о Страшном суде. Но напечатаны они были с какими-то мудреными пробелами между буквами, с отступами и разбивкой строк. Напрасно искал я в них зашифрованное послание. Я уж начал думать, что *Нижайший* изменил код и мне не добраться до сути. Я проделывал разные комбинации с третьими, четвертыми, предпоследними и последними буквами, читал их в обратном порядке. А потом до меня дошло, что эти первые цитаты из «Книги Мормона» были чем-то вроде пробных шаров. Пользователей сети надо было приучить к необычной ломке строк. И вот наконец пришло послание — отрывок из 26-й главы книги Нефи.[52] Как всегда, я прежде всего обратил внимание на вторые буквы. Несколько

---

[52] Примечания: 52

По вероучению мормонов — один из древних вождей и пророков, предсказавший явление Христа.

«а» и «н», которые при обычных сбоях в строке не выстраивались в одну вертикаль. Мало-помалу я углядел слово «помощь». Это уже не могло быть случайностью. Я сделал распечатку и выписал эти буквы в один ряд. До сих пор я храню заветный листок. Он означал для меня второе рождение.

And they that kill prophets, and the
saints, the depths of the earth
shall swallow them up,
saith the Lord of Hosts;
and mountains shall cover them and whirlwinds shall carry them away, and
buildings shall fall upon them
and crush them to pieces and grind them to
powder. And they shall be visited with
thunderings, and
lightings, and earthquakes, and
all manner of destructions, for the fire
of the anger of the Lord shall
be kindled against them, and they shall be as stubble, and the
day that comedi shall consume them, saith the Lord of Hosts.

Се они, что убивают пророков
и святых – и бездны
земные
поглотят их, – рек Господин сил небесных, —
и горы найдут на них, и ураганы
сметут их,
и домы обрушатся на
них и раздробят и
в пыль сотрут их. И грянет
гром небесный,
и спалит их молния,
и заходит земля под ногами, и будет всякое разрушение, ибо
гнев Господень
подобен огню, и станут они
словно стерня, и
грядущий день
испепелит их, – рек Господин воинства небесного.

Из вторых букв в строках английского текста получились немецкие слова. *Нижайший* извещал меня о месте нашей встречи: *Близ ООН. Помощь*

дорогим гостям. Восток.

Как-то зимой, перед последним нашим праздником солнцеворота, мы собрались для причастия на Дунайском острове. Мы встретились в так называемом санитарном домике на западной стороне длинной, почти десятикилометровой отмели. Летом на асфальтовых дорожках было полно туристов, велосипедистов, купальщиков. А зимой попадались лишь редкие прохожие. Санитарный домик — иначе говоря, медпункт — обычно пустовал. Им пользовались только во время концертов под открытым небом и при проведении разных мероприятий.

Я понял сообщение так, что на другой стороне острова, к востоку от расположенной прямо у Имперского моста резиденции ООН, должен находиться другой домик, в котором меня ждет *Нижайший.*

Когда я расшифровал послание, было часов семь вечера. Вообще-то мне хотелось пораньше лечь. Меня бил озноб, донимали боли в суставах и спине. И все-таки я тут же собрался в путь, прихватив целлофановый мешочек с апельсинами, которые купил после работы в супермаркете. И еще взял с собой карманный фонарик. Шел мокрый снег. Несколько дней назад уже был

снегопад. Но о нем сейчас напоминала только грязная жижа, которую дворники, сновавшие между припаркованными машинами, гнали к обочинам. Однако опять начинало холодать.

Я поехал в метро по направлению к зданию ООН. И, не доехав до него, вышел на остановку раньше, то есть на острове. Вы знаете эту станцию. Она соединяется с Имперским мостом и ночью с наружной стороны тоже освещена. Кроме меня, никто на улицу не вышел. Сначала я двинулся в западном направлении по асфальтовой дорожке, с двух сторон светили фонари. Вокруг ни души. Погода не для прогулок. Потом я свернул на тропу, ведущую вниз, к Дунаю. Мокрые хлопья становились все гуще и тяжелее. Прибрежная тропинка утопала во тьме. Справа проклевывались огоньки Торговой набережной на той стороне. Впереди виднелась вереница желтых фонарей на Имперском мосту. Это служило мне ориентиром.

Двигался я, можно сказать, на ощупь. Фонарем предпочел не пользоваться. Иногда я в испуге замирал на месте. Когда волны накатывали на камни, порой раздавались столь странные звуки, что, казалось, там внизу кто-то возится. В спину мне ударил луч света. Я шагнул в тень, вернее,

в черное пространство, куда не пробивался свет с Торговой набережной. И чуть не наткнулся на дерево, за которым и укрылся. А луч шел от судна, плывшего в Будапешт и шарившего прожекторами по берегам. Я не выходил из своего укрытия, пока судно не проплыло мимо. И тут же пошел за ним вслед. Теперь темнота была уже не такой непроглядной. Возле Имперского моста я остановился; если идти дальше, не сворачивая, подумал я, не придется делать крюк. Я ковылял по скользким камням вдоль берега. Мешочек с апельсинами стал невероятной обузой. Два раза я оступался и сползал вниз. Когда я на безопасном расстоянии от ярко освещенного моста вновь взбирался на тропу, в ботинках хлюпала вода. Я прилег, растянувшись на студеной земле. Меня трясла лихорадка. Лоб покрылся холодным потом, смешавшись с растаявшим снегом, он заливал мне лицо. И тут колотун стал еще сильнее. Если сейчас не поднимешься, подумал я, уже не встанешь. Я с трудом выпрямился и попытался попрыгать, чтобы согреться. Меня всего ломало. Надо было как можно быстрее отыскать этот проклятый санитарный домик. Если он вообще был в природе.

«Помощь дорогим гостям» могла много чего

значить. Возможно, это вовсе не санитарный домик. Но если имеется в виду он, то его следует искать там, в 22-м районе, восточнее здания ООН. В послании *Нижайшего* нет даже намека на остров. Я ощущал себя неподготовленным альпинистом, который совершенно выдохся перед самой вершиной, но и для возвращения уже слишком ослаб. Я убеждал себя: ты справишься, ты сумеешь на пару часов обуздать свою хворь, твоя задача настолько значительна, что перед ней отступит ничтожный вирус.

На восточной стороне острова освещение главной дорожки кончалось уже через сотню метров. Но, не дойдя до асфальтового покрытия, я упал на решетку от гриля и поранил локоть. Шаря руками по мокрой траве, я собирал рассыпанные апельсины. Потом сел на ледяную железку и впился зубами в апельсин. Удивляюсь, как еще не заплакал. *Нижайший* ждет меня, а я, как мокрый куль, прилип к месту, может быть, совсем близко от него. Я прижал апельсиновую корку к стеклу фонарика. Вспыхнул слабый красноватый свет. Его как раз хватало, чтобы осветить землю прямо перед собой. И я как-то собрался с духом. Потом съел еще один апельсин и снова двинулся в путь. Снежинки на земле уже не таяли. Надо

было торопиться, иначе за мной потянется след. Ботинки отяжелели от воды. Я слышал, как они чавкают при ходьбе, но уже не чувствовал ног. Как будто волок какие-то гири.

И все же я дошел до одного из домиков. Обе двери были заперты. Я не увидел ничего похожего на сообщение, если не считать слов «Мужчины» и «Дамы». Я уже настолько удалился от моста, а стало быть, и от здания ООН, что двигаться дальше на восток не имело смысла. От туалета шла дорожка к так называемому разгрузочному каналу, искусственному притоку Дуная. Уголок на этом берегу превращается летом в излюбленный пляж нудистов. Дорожка здесь широкая и покрыта асфальтом. Я пошел по ней в сторону Имперского моста. Вскоре я увидел какие-то чурки. Я чуть было не проскочил мимо них. Но что-то заставило меня оглянуться. Присмотревшись, я увидел, что они сложены в виде восьмерки. Я разметал их носком ботинка и выключил фонарик. В полной темноте у меня вдруг подкосились ноги. Началось сильное головокружение. Я стал опускаться, упираясь руками в землю, иначе бы просто грохнулся. Справа послышались чьи-то шаги.

— Кто здесь? — крикнул я.

— Стивен Хафф, *Нижайший* из братьев.

Эти тихие слова были произнесены с хорошо знакомым мне американским акцентом. Я сел на мокрый асфальт и начал плакать. Я выглядел как полный идиот, но ничего не мог с собой поделать.

— Оставайся на месте, — сказал *Нижайший.*

Я слышал приближавшиеся шаги. Он легонько толкнул меня ногой. Потом его волосы упали мне на лоб. Он обхватил мою голову своими большими ладонями, притянул к себе и стал целовать мокрое от слез лицо.

— Мне не хватало тебя, — сказал он.

А я не мог выдавить из себя ни слова. Он помог мне встать и повел куда-то, видимо зная дорогу и в темноте. Открылась и захлопнулась какая-то дверь. Мы оказались в теплом помещении. Он подвел меня к покрытой клеенкой лавке. Я мог присесть. Когда он зажег какой-то ночничок, я понял, что мы находимся в помещении санитарного пункта. Я сидел на носилках, под ними виднелись колесики передвижного штатива для капельницы, в руке я держал пакет с апельсинами.

— Это для тебя, — сказал я.

Он взял пакет, стянул с меня промокшую куртку и повесил ее над электрообогревателем, стоявшим в середине комнаты. Правый рукав

моего свитера был пропитан кровью. *Нижайший* уложил меня и стал рассматривать рану на локте. Затем открыл металлический шкаф, набитый всякого рода перевязочным материалом, достал бинт и вату и аккуратно перевязал мне руку, после чего снял с меня ботинки и поставил их между ребрами электрообогревателя. Он вытер мне ступни марлей и начал массировать их. Раньше я представить себе не мог, что он способен на такую трогательную заботу о ком-то. Голова у меня пылала. Я отвернулся к стене, меня опять душили слезы. Со мной возился мой идеал, поистине небожитель. Он гладил меня и кормил апельсиновыми дольками.

К сожалению, в домике не нашлось никаких медикаментов. Но приступ лихорадки прошел, и мы могли поговорить. Я узнал, что *Нижайший* приехал из Штатов, он жил в поселке у канадской границы. Это было поселение приверженцев Иисусовой церкви христианских арийских наций. Профессор когда-то поддерживал с ними связь через интернет.

— Они молятся и начетничают, — рассказывал *Нижайший,* — не имея ни малейшего представления о том, как надо делать дело. У них есть деньги, но нет духовной опоры. Отметелят какого-нибудь

негра — и довольны. А пастор Батлер даже не слышал об Иоахиме Флорском.

— Теперь ты живешь здесь?

— Нет, этот домик я использую только для встреч. Ляйтнер оставил мне ключ. Но телефона нет. Я не выхожу в сеть. Кроме того, торчать здесь весь день опасно. Иногда тут шныряет патруль.

Потом он взял меня за руки и во всех деталях изложил план Армагеддона. И хотя я пытался внимательно его слушать, сосредоточиться мне было трудно. Я просто любовался этим изумительным человеком, который точно знает, чего хочет. Его глаза ласкали меня и улыбались мне. Они яснее всяких слов говорили мне о моей миссии. Господи, думал я, как я мог жить без этого человека?

После этой встречи, первой после праздника солнцеворота, я еще неделю пролежал в постели. Позднее мы вновь увиделись с *Нижайшим* в санитарном домике. Ему вновь пришлось знакомить меня с планом. А вообще мы встречались каждый месяц. Пузырь, Бригадир, Панда и Жердь виделись с *Нижайшим* раз в два месяца. Обсуждение каких-то текущих дел происходило, как правило, при отсутствии *Нижайшего.* В основном это были короткие встречи, которые мы по-прежнему

называли причастиями. Почти всегда речь шла только о предстоящей операции.

Пузырь с Бригадиром, как обычно в зимнее время, были безработными. Весной они вновь устраивались на стройку. Но на этот раз вышло иначе. Фирма теперь вела работы на Востоке, там дешевле рабочая сила. Меня хотели послать на одну стройку в Лейпциге. Я отказался. Я мог себе это позволить, **так** как чертежникам, особенно освоившим свое дело, не **так** просто найти замену. В наказание мне подкинули работенку в главном офисе, я сидел в огромном помещении, дверь в дверь с шефом фирмы, и занимался чертежами навесов для автобана вдоль набережной Дуная.

Вы думаете, мы отошли от нашего плана? Ни в коей мере. Мы сосредоточились на тщательной разработке всех его деталей. Бригадир и Пузырь были свободны. Большинство подготовительных мероприятий легло на их плечи. Они охотно работали вместе. Я, насколько позволяли обстоятельства, был на подхвате. И хотя за нами вроде бы не следили, ничего нельзя было исключать. Мы не имели права на риск. Летом, когда пособие по безработице уже не выплачивалось и Бригадир с Пузырем могли рассчитывать только на

общественные работы, они еще не были готовы к Армагеддону. Первую машину они украли за два месяца до запланированного срока. Тогда, это было уже осенью, *Нижайший* на несколько дней отлучился, поскольку у него вновь истек срок пребывания. Я предлагал утопить машину в том же пруду, куда должен был спустить после акции предназначенный для бегства автомобиль с пустыми баллонами. Таким образом можно было проверить, насколько надежно выбранное мною место. Мне то и дело приходилось остужать пыл моих товарищей. Вернувшись, *Нижайший* сказал, что был в арендованном нами доме на Мальорке. Дом следовало сохранить. *Нижайший* сообщил, что на этот раз бал в Опере будет транслироваться по ETB и задуман как грандиозное шоу.

Откуда он это знал? Я не задавал ему таких вопросов. Я даже про Ляйтнера никогда не спрашивал. Если он считал нужным посвятить меня в какие-то дела, тут обходилось без вопросов с моей стороны. Возможно, о ETB ему рассказал Ляйтнер. А позднее об этом заговорили в газетах. Годичное опоздание оказалось нам на руку. Более подходящего случая и придумать было нельзя.

Да, я знаю, вы потеряли сына. Скверная история. А я потерял все, это кое-что похуже. Или?…

Прекратите перебивать меня! Меня это не интересует. Я вам информацию, вы мне — покой.

Видели в той комнате синюю сумку из искусственной кожи? Она долго простояла в моем платяном шкафу. Я купил ее еще перед наказанием Файльбёка. О ней уже не вспомнит ни одна продавщица. Сумку я тщательно почистил и упаковал в нейлон, чтобы на ней не было ни пылинки, ни мельчайшей частицы моего белья. С этой сумкой в ночь бала я должен был без пяти два прибыть в Бурггартен и забрать три пустых баллона. В Бурггартене находится втяжная шахта вентиляционной системы Оперы. Армагеддон мыслился как заключительный пункт трансляции бала, которая, как мы могли чуть ли не ежедневно слышать по вашему каналу, должна была длиться до двух ночи. Мы долго ломали голову над тем, где лучше Бригадиру оставить для меня машину на случай бегства. Идеальным местом мог бы стать пятачок у ворот Бурггартена, на Ханушгассе. Но когда инородцы объявили о своей демонстрации, мне пришлось искать другой путь отступления. С Ханушгассе я был бы вынужден проезжать мимо Оперы. А там все ходы и выходы наверняка забили бы полицейские или демонстранты. *Нижайший* предложил поста-

вить машину возле Фолькcгартена, поблизости от Бундесканцелярии. В ту ночь вряд ли ей обеспечат особую охрану. Может, машина все еще стоит там. Красный «гольф». Бригадир увел ее в Капфенберге и приделал к ней венский номер.

Газовые баллоны мы раздобыли еще накануне предыдущего бала. *Нижайший* где-то спрятал их. Он намеревался в ночь бала два из них передать Панде, а третий спустя полчаса и уже в другом месте — Жерди. Так оно, вероятно, и было. Я видел эти баллоны уже после акции по телевизору. Я тогда находился в Барселоне. Но *Нижайший* заранее описал их мне. Они должны были умещаться в дорожную сумку. Сверху имелся предохранительный клапан. Сначала требовалось свинтить железный колпачок с просверленным в нем ушком. Это можно было сделать, как, вероятно, предусматривалось в инструкции изготовителя, с помощью ружейного ствола или какого-либо железного стержня. Колпачок привинчен туго. Коротким гаечным ключом тут ничего не добьешься. Когда Панда и Жердь получили свои баллоны, предохранительные колпачки были уже отвинчены. Так, наверное, и было задумано. Бригадиру, Пузырю и Жерди предстояло открыть клапаны. Но по нашей договоренности — ровно

без четверти два, а не на час раньше, как это случилось. Это диктовалось соображениями предосторожности. Третий баллон Жердь должен был один доставить к шахте и там открыть клапан — на тот случай, если Панде по какой-то причине не удастся оттранспортировать оба баллона к Бурггартену или если Бригадир и Пузырь не смогут их получить.

Вообще-то *Нижайшему* не следовало ехать вместе с Жердью. Возможно, он приехал с Пандой или каким-то иным путем добрался до Бурггартена. Я понятия не имею, как там было на самом деле. Знаю только, как должны были развиваться события. Во всяком случае, за работу в Бурггартене *Нижайший* не отвечал. Может быть, он каким-то образом исследовал содержимое баллонов и понял, что его надули. О синильной кислоте вообще не было речи. Мы же не команда смертников. *Нижайший* описал мне химический состав как особую разновидность угарного газа. А в этом случае последствия были бы совершенно иные. Прежде всего, не возникло бы смертельной угрозы моим товарищам. Возможно, Ляйтнер настаивал на более раннем сроке. А может быть, *Нижайший* сам решился на это, поскольку узнал, что Ляйтнер готовит ему ловушку. А в общем я

мало что знаю. Выясняйте сами! Авось заработаете лавры.

Не знаю я и о роли Резо Дорфа. Возможно, Ляйтнер и Резо Дорф хотели помешать акции в последний момент и стяжать себе славу великих героев. Вот и шевелите мозгами, ройтесь, выясняйте! Мстите *Нижайшему!*

Это мученик. Он умер, чтобы мог жить я. Он спас мне жизнь. Понятно вам? Я его наследник. Но что я могу теперь без него? Я дилетант. Я не дорос до его миссии. Что мне остается? Ехать на озеро у канадской границы и мордовать негров? С кучкой пустоголовых олухов? То, что они видели *Нижайшего,* уже непомерная честь для них.

Он принял смерть, чтобы спасти меня. И с этим я вынужден жить.

Как спас? Он не доверял Ляйтнеру. Поэтому в день бала никто из нас не должен был находиться дома, никто, кроме меня. Вполне вероятно, что Ляйтнер вдруг принял бы решение арестовать нас. А так как мне не отводилась роль непосредственного исполнителя, а было поручено лишь устранять следы, я подвергался наименьшему риску. Если бы меня арестовали, акция все равно была бы совершена, только по другому плану. В семь вечера я должен был выйти в сеть под

именем *Мормона 2* и передать сообщение: «Будьте внимательны». В восемь — «Будьте очень внимательны». В девять — «Будьте сверхвнимательны».

Если в назначенный час не подаю вестей, значит, меня накрыли. В десять часов *Нижайший* уже не имел бы возможности прочитать послание. Но мы исходили из того, что полиция не нагрянет с арестом в квартиру до десяти часов.

Я знал, где находятся наши. На тот случай, если будут отступления от плана, предусматривалось, что *Нижайший* известит меня через сеть. Мы договорились использовать в качестве кода «Книгу Мормона». При такой ситуации мне надлежало уехать, а Армагеддон был бы осуществлен по другому сценарию. Мы все тщательно рассчитали, каждый шаг предполагал альтернативный вариант, если будет какой-то сбой. И, однако, все вышло иначе.

После работы я поехал домой и сразу же включил компьютер. От *Мормона* никаких сообщений. А вообще вся Вена в основном обменивалась информацией о бале, вернее, о демонстрациях перед театром. Кто-то призывал принять в них участие, кто-то отговаривал из тех соображений, что *Общество помощи иностранцам* будет лишь

злоупотреблять правом на демонстрации в своих узких целях.

Ровно в семь я под именем *Мормона 2* напечатал: «Будьте внимательны». Где-то через полчаса я вышел на кухню сделать себе бутерброд. Вернувшись, я нашел несколько новых сообщений от *Мормона.* Текст везде был один и тот же: *«Мормон* огнем и мечом сражается за Тысячелетнее Царство. *Мормон 2* ждет под миндальным деревом». И хотя я тут же догадался, что это значит, поначалу я отказывался понимать сообщение. Я не был к этому готов, такое мы даже не обсуждали. Я попытался выяснить, не является ли послание акростихом. Нет, это было однозначным призывом бежать на Мальорку, в дом, который мы когда-то сняли для Файльбёка. Я стер все файлы. Выключил даже операционную систему. Потом вытащил синюю дорожную сумку, побросал туда какие-то шмотки и вытащил конверт из распределительной коробки в стене. Я был казначеем *Непримиримых.* В конверте было четыреста тысяч шиллингов пятитысячными купюрами. Пачка не выглядела слишком пухлой. Восемьдесят бумажек вполне умещались в кармане пиджака. Я поехал в аэропорт. Моя машина, пожалуй, и сейчас там стоит. А может, ее успели

отбуксировать.

В Барселону был только один рейс. Я хотел сразу купить билет, но передумал — это могло броситься в глаза. Я решил вылететь во Франкфурт. Оттуда можно было лететь куда угодно. Я выбрал Лондон. И в одиннадцать вечера уже сидел в самолете. Из Лондона я ночным поездом отправился в Париж, а оттуда поехал в Барселону. Мой паспорт ни разу толком не проверили. В Барселоне я нашел портовый кабачок с телевизором и посмотрел вашу программу с балом в Опере. Потом вы показали моих погибших товарищей и еще не опознанного *Нижайшего.* Вы его видели? Других оттащили. Они лежали на траве и дорожке. А *Нижайший* уперся головой в решетку шахты, зажав в руках баллон, чтобы тот не откатился в сторону. Он точно знал, что делал. Уж он-то знал.

На следующий день после акции, то есть когда я сидел в портовом кабачке, *Нижайший* был идентифицирован как Стивен Хафф из Аризоны. Эта мразь Ляйтнер помалкивает о том, что ему известно. Добейте Ляйтнера и Резо Дорфа! Расскажите миру, что это за сволочи! И пусть все узнают, каким был на самом деле *Нижайший.*

Что дальше? А дальше, собственно говоря, все и кончилось. Рано утром я на пароме доплыл до

Пальма-де-Мальорка, а оттуда на автобусе доехал до Сантаньи. Последние километры проделал пешком. Местность я знаю, поскольку в позапрошлом году провел здесь несколько дней. Осенью, как уже говорилось, тут побывал и *Нижайший.* Он обеспечил мне запасную позицию на случай бегства, о чем я и не догадывался. Без него я не смог бы сейчас держать вас за горло. Я обязан ему всем. Больше мне нечего сказать. Вырубайте свой проклятый кассетник.

Нет, куда уж мне. Как же я могу продолжить дело? *Нижайший* — бог в сравнении со мной. Конечно, и он совершал ошибки. Но я о них не знаю. Ну, может быть, поджог на Гюртеле. Он сам потом признал эту акцию мелкотравчатой.

Да еще Файльбёк свинью подложил. Вначале мы хорошо понимали друг друга. Наверняка тогда нас продал он. А кто же еще? *Нижайшему* не пришлось бы бежать за границу, и все получилось бы иначе. В сущности, это Файльбёк угробил все дело.

Вина? Виновен? Полная чушь. Этот ярлык не для *Нижайшего.* Он по ту сторону всякой виновности. История не знает такой категории. Я никогда не утверждал, что… мы достигли успеха. Прокрутите для себя еще раз. Мои товарищи по-

гибли, Резо Дорф — начальник венской полиции, я еще не тронулся, чтобы выдавать это за успех. А что Ляйтнер? На пенсии? Резо Дорф прищучил его, иначе бы это было невозможно. Не для того Ляйтнер сотрудничал с *Нижайшим,* чтобы уйти на пенсию. Нет, это не успех. Это катастрофа.

У меня это в голове не укладывается. Я вообще уже ничего не понимал, что происходит. Я был убежден, что *Нижайший* знает путь. А может, он и не знал. А только хотел найти. Во всяком случае, мне казалось, он знает, куда идти.

Он мог бы спастись. Он мог бы одолеть все. Он не был трусом. Только он и был по-настоящему непримиримым. Он знал, как снова взяться за дело. Пожалуй, так. Я не знаю. Или и он не знал? Возможно, вы правы. Возможно, он тоже не знал, что делать дальше. Но почему он спас меня? Зачем одному мне дал выжить после катастрофы? Ведь он любил меня. А теперь точка. Выключайте.

Клаудиа Рёлер, домохозяйка
Пленка 3

В вестибюле театра стояли полицейские, они то и дело запрашивали обстановку по рациям. Тот, что дежурил у двери, через которую мы собирались выйти, спросил, куда мы хотим попасть. Услышав, что нам надо в отель «Империал», он попросил немного подождать — пока не очистят улицу. Он открыл дверь и выглянул. На улице было светло, как днем. Кругом беспрестанно вспыхивали «мигалки». Над домами кружил вертолет. За стальным решетчатым заграждением, перекрывавшим выход с Кертнерштрассе на Карлсплац, кипел настоящий бой. Мы слышали крики, но слов разобрать было невозможно. Мы только видели скопище полицейских и несколько водометов, которые поворачивали свои стволы, точно пушки на танках. На Рингштрассе местами горел асфальт. Повсюду в крайнем возбуждении носились люди. Полицейский закрыл дверь и встал к ней спиной. Он сказал, что началась стрельба. Придется переждать. Когда его рация вдруг замолчала, он вызвал двух че-

ловек, чтобы обеспечить нам сопровождение. Они прибыли необычайно быстро. Я подумала, не лучше ли нам захватить с собой отца. Герберт спросил, какова здесь может быть обстановка через два часа.

— Через два часа все уляжется. Мы держим ситуацию под контролем, — ответил полицейский.

Мы с Гербертом решили, что сейчас отца лучше уберечь от этой вакханалии. Гости бала не знали, что творится снаружи. Сопровождающие нас полицейские советовали не медлить. Несмотря на очаги загорания и множество обломков, по Рингштрассе вполне можно было пройти. По обе стороны стояли вереницы полицейских машин. И мы двинулись по мостовой, перешагивая через камни, бутылки, железные палки, доски и вырванные дорожные знаки. У Шварценбергплац Рингштрассе была блокирована полицией. Перед кордоном горела какая-то машина. Несколько человек, в том числе и носильщик из нашего отеля, заливали пламя пеной из огнетушителей.

Герберт был в приподнятом настроении.

— Если бы они дали машине сгореть, им пришлось бы меньше возиться с мусором, — шутил он.

Когда полицейские благополучно довели нас

до отеля, Герберт обнял и поцеловал меня.

— Я думал, это будет скучный бал, — сказал он. — К тому же Вена встретила нас таким уличным фейерверком.

Администратор не слышал, как мы вошли. Он уставился в экран маленького телевизора, на котором в качестве заставки возник транспарант с надписью: «Отменить грабительскую квартплату». Потом показали молодых людей с повязками на нижней части лица. У некоторых лица вообще были закрыты черными масками с помпонами и прорезями для глаз. Администратор беспрестанно качал головой. Герберту пришлось дважды пожелать ему «доброй ночи».

— Ну разве это не ужас? — всплеснул руками администратор.

— А что предложили бы вы?

— Я уж лучше промолчу.

— Нет, все-таки? — настаивал Герберт.

И знаете, что ответил сей добропорядочный гражданин?

— Травить газом.

— Лучше пришлите нам в номер бутылку шампанского.

— Будет сделано, господин, — тут же подтянувшись, сказал администратор. — Бутылку

шампанского в номер пятьсот четыре.

Проследовав через анфиладу комнат, Герберт первым делом включил телевизор. Репортер сообщал, что полиция овладела ситуацией. Пока нет никаких данных о раненых и тем более убитых. А количество пострадавших могло быть значительным. У Службы спасения и Красного Креста покуда дел хватает. Никогда еще демонстрации не переходили в такое побоище.

— А как же тысяча девятьсот двадцать седьмой год? — сказал Герберт.

— А что тогда было? — спросила я.

— Поджог Дворца правосудия. Полицейские расстреляли сотни рабочих.

Мне стало стыдно: уроженке Вены напоминает об этом коренной берлинец. Принесли шампанское. Герберт достал бокалы. Репортер сказал: «Через час мы снова познакомим вас с мнением начальника венской полиции. А теперь вернемся на бал».

Мы увидели заполненный танцующими парами партер и услышали инструментальную версию «Леди Мадонны». На переднем плане оказался господин с перекошенным ртом и широкой лентой, пересекавшей грудь. Он танцевал с супругой бундесканцлера. Комментатор сказал:

«После стольких малоприятных сцен мы снова в блистательном мире Оперы. Давайте посмотрим на ложу немецкого фабриканта, короля напитков, которого причисляют к давним завсегдатаям этого бала балов».

Камера оторвалась от канцлерши и ее партнера, которого нам так и не представили, фигурки танцующих стали меньше, а их круг расширился. Затем по экрану медленно поплыли ложи, приближаясь к нам. Я надеялась увидеть отца, но лож у сцены не показали. Герберт подошел ко мне с бокалом шампанского. Он выключил звук и сказал:

— У нас два часа медового месяца здесь, в отеле «Империал». Об этом можно было только мечтать.

Мы поцеловались. Он плеснул мне шампанское в вырез платья и стянул его с меня. Но я бы не хотела посвящать вас в подробности. Так или иначе, это был чудеснейший час в нашей жизни. И под конец мы в полном изнеможении лежали на мокрых простынях. Сквозь закрытые окна доносился звук сирен. У меня пересохло во рту.

— Дай чего-нибудь выпить.

Он приподнялся и замер.

— Который час? — спросила я. — Тебе пора за

отцом?

Он не ответил. Я посмотрела на него. С отвисшей челюстью Герберт уставился на экран, повторяя одними губами:

— Нет. Нет. Нет.

Я встала. На экране — ничего, кроме мертвых тел. Какой-то страшный сон. Я закричала. Герберт крепко обнял меня. Да, это были трупы в бальных костюмах, они лежали вповалку, с распахнутыми в ужасе глазами и открытыми ртами. По фракам и платьям стекала рвотная масса. Потом дали другую картинку. Здесь люди еще двигались. Я слышала их крики, хотя звук был отключен. Они взмахивали руками и вдруг падали замертво. Многие уже распластались на полу, а некоторые еще искали опоры, цепляясь за перила и парапеты. Я видела пары обнявшихся людей, хвативших ртами воздух, им удавалось какие-то секунды продержаться на ногах, после чего их тоже сокрушала неведомая сила. Меня охватил такой ужас, что я не могла вздохнуть. Хотелось кричать во всю глотку, но я не могла издать ни звука.

Герберт сказал:

— Оденься. Надо бежать к отцу.

Точно лунатик, я нашарила в чемодане какие-то тряпки. Кажется, я оделась. Но как это было,

не помню. Провал в памяти. Я ничего не видела вокруг. Первое более или менее ясное ощущение реальности возникло на Рингштрассе, где мы стояли, напрасно пытаясь пройти в Оперу. Перед нами — сплошная стена синих сполохов. Всюду пожарные и санитарные машины. Со всех сторон на нас кричат врачи, полицейские и пожарные, требуя освободить дорогу. С какой бы стороны мы ни пытались подступиться к зданию, все было бесполезно. Нас просто оттоняли. В воздухе один над другим зависли вертолеты, четыре или пять. Самый нижний приземлился за Оперой, видимо на Альбертинаплац. Другие ждали, когда он вновь поднимется в воздух. Уши закладывало от рева динамиков. Хаос был невообразимый. Дальше всего мы продвинулись по Малерштрассе. Люди в противогазах вытаскивали трупы из-под аркад. Вскоре нас, как всех столпившихся здесь, оттеснили назад, чтобы освободить улицу для пожарной команды.

Мы бродили по округе, пока не выбились из сил. И тогда решили идти к Зигрид. Она смотрела помертвевшими от ужаса глазами, будто перед ней были призраки. Потом бросилась обнимать нас.

— Где отец? — был первый ее вопрос. И хотя я

и не ожидала другого вопроса, он прозвучал для меня как слова Бога, обращенные к Каину: «Где Авель, брат твой?»

Герберт еще как-то владел собой. Он обнял Зигрид и попытался ей все объяснить. В квартире работал телевизор. На экране все еще сменялись разные планы зала. Они были так же неподвижны, как и тела, попавшие в кадр. Музыканты лежали на своих инструментах. Ни слова комментария. Мертвая тишина. Я не могла больше этого видеть и выключила телевизор. По радио передавали траурную музыку, то и дело прерываемую одними и теми же сообщениями. Говорилось о чудовищной катастрофе, никакими подробностями редакция не располагала. Герберт нашел в телефонной книге номера полиции и Службы спасения. До кого бы ни удавалось дозвониться, всюду его попросту облаивали, требуя не занимать линию. Сейчас-де не время для справок.

Когда уже рассвело, сообщили наконец номер, по которому можно узнать, не попал ли кто из близких в городские больницы. Дозвониться было невозможно. Но Герберт не сдавался. Я сидела рядом в кресле и слышала бесконечный процесс нажатия на кнопку повтора и одни и те же монотонные сигналы. Это длилось часами.

Зигрид варила кофе. В конце концов Герберт не выдержал:

— Ну и черт с ними! Придется побегать!

Он собрался уходить. Я бы отпустила его. Поскольку уже мало что соображала. Но Зигрид удержала Герберта.

— Одно из двух, — сказала она. — Либо отца нет в живых и ты ему уже не поможешь, либо он в какой-нибудь больнице, и сейчас ты его не найдешь.

По радио передали, что больных отправили на вертолетах и в другие города: в Санкт-Пёльтен, Хорн, Цветтль, Баден, Винер Нойштадт, даже в Линц и Грац. Герберт остался и продолжил свои попытки дозвониться. В десять утра это удалось. У Зигрид был телефон с громкоговорителем. Мы услышали женский голос:

— Минутку.

Потом раздался шелест. Бесконечно долгий шорох бумаг.

— Имя?

Герберт назвал еще раз.

— Восемьдесят три года?

— Да. Он у вас?

— Его поместили в лечебницу Христа Спасителя.

Герберт положил трубку и прикрыл глаза. Мы смотрели на телефон как на дорогое существо.

— Ну так едем же.

Это была первая фраза, произнесенная мной за несколько часов. Зигрид вызвала такси. По крайней мере, на этот вид транспорта еще можно было рассчитывать. Мы проехали Шварценбергплац и по Принц-Ойгенштрассе поднялись к Гюртелю. На Южном вокзале развевались черные флаги. Их вывесили и на некоторых муниципальных домах. Поездка длилась не меньше сорока пяти минут. Вначале мы тешили себя надеждой. Потом возобладал страх. Отец мог находиться в ужасном состоянии. Герберт сказал:

— Если он лежит в больнице, значит, успел вовремя выйти из Оперы. Возможно, у него просто шок, и мы сможем забрать его домой.

Если бы это было так! На Гюртеле Зигрид попросила таксиста остановиться и купила букет красных роз. Мне было немного неловко, но я бы сочла себя идиоткой, если бы мне вздумалось купить сейчас цветы. Вы знаете лечебницу Христа Спасителя? Это маленькая больница на Дорнбахской улице. Там нас ждало следующее потрясение. Привратник долго рылся в списках, но фамилии отца не нашел. Зигрид объяснила,

что его доставили ночью.

— Ах, вот как. Стало быть, бал в Опере? Чего же вы сразу-то не сказали? У меня еще нет на них списка.

Он позвонил куда-то и направил нас в отделение интенсивной терапии. Отец лежал в коме. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Старшая сестра впустила нас в палату. Нам показалось, что отец просто спит. Белоснежные волосы слегка растрепались, мерно попискивали приборы, посапывали трубки. Сменяя друг друга, мы прикасались к его руке, чтобы убедиться, что она теплая. Помещение было так плотно заставлено всякими приборами, что для цветов Зигрид не нашлось места. На стене висело большое распятие.

— Можно надеяться? — спросила Зигрид.

— Он один из немногих новеньких, которые еще позволяют надеяться, — ответила сестра.

Она попросила нас покинуть палату. Мы хотели поговорить с кем-нибудь из врачей. Но все они были так заняты, что пришлось ждать несколько часов, пока один из них сумел почти на ходу ответить на наши вопросы. Он сказал, что у моего отца — симптомы тяжелого отравления. От прогнозов лучше воздержаться. Но одно то, что

больной еще жив и у него стабильный сердечный ритм, дает основания для осторожного оптимизма. Врач поспешно откланялся. Мы оставили номер телефона Зигрид и попросили старшую сестру сразу же позвонить, как только состояние отца как-то изменится.

В течение четырех дней никаких звонков из больницы не было. Тем не менее дважды в день мы ездили в лечебницу и всегда заставали все ту же ситуацию. У врачей находилось больше времени для разговоров с нами, но они по-прежнему мало чем могли утешить. Возможно, они хотели подготовить родственников к тому моменту, когда придется огорошить нас вопросом: может, имеет смысл отключить приборы? Ситуация становилась все более напряженной.

Дети уверяли по телефону, что отлично обходятся своими силами. Но однажды ночью Тим известил нас, что уже сутки не работает отопление. В доме — собачий холод. А они не знают, как выйти из положения. Для Герберта это стало последним сигналом. Он и так уже два дня улаживал дела по телефону и переносил сроки и встречи. Теперь была веская причина вернуться домой. Как только он улетел, нам позвонили из больницы — отец вышел из комы.

Мы тотчас же отправились к нему. У него были веселые глаза. Он жал нам руки. Шланг аппарата искусственного дыхания теперь был подведен к носу, а не ко рту. Врач объяснил нам, что пока это еще необходимо, так как искусственное дыхание сопровождается медикаментозным лечением. Позднее будет предпринята попытка заменить постоянное подключение к аппарату несколькими ингаляциями в день. Отец силился заговорить с нами. Но мы не могли понять ни слова. Зигрид и я поочередно склонялись над ним, прикладывая ухо к самым его губам. Он старался лаконично и четко сформулировать мысль. Но получалось нечленораздельное клокотание, для артикуляции не хватало воздуха. И лучше было не прислушиваться, а угадывать смысл речи по движению губ. К тому же отец пояснял слова жестами руки и покачиванием головы. Нам пришлось подробно рассказать ему обо всем, что случилось.

А о том, как пережил он это сам, отец смог поведать нам лишь неделю спустя. Бывший студент, занимавший какую-то директорскую должность, стал раздражать отца. Единственной возможностью отделаться от навязчивого собеседника было возвращение домой. Когда он стоял

у выхода и застегивал пальто, в воздухе вдруг запахло горьким миндалем. Отцу стало плохо. Как только он шагнул к дверям, чтобы глотнуть свежего воздуха, сзади раздались громкие крики. Его вытолкнули на улицу. Бегущие с истошными криками люди — последнее, что осталось у него в памяти.

После того как отец вышел из комы, его состояние стало вроде бы заметно улучшаться. Через несколько дней в дыхательный шланг вставили тройник и к нему присоединили отводок. Конец его был опущен в сосуд с водой, приделанный к раме кровати. Там же висел мочеприемник. Когда отец выдыхал воздух, в сосуде начинала клокотать вода. Однажды я видела, как сестра вставила в дыхательный шланг гибкую трубочку потоньше, через нее отсасывалась слизь из легких. Это причиняло отцу сильную боль. Грудная клетка ходила ходуном, пульс учащался, ступни дергались. Сестра объяснила мне, что эту процедуру надо проделывать каждые четыре часа. Она удаляла также жидкость из полости рта и дезинфицировала его.

Позднее дыхательный шланг убрали. Теперь несколько раз в день проводили получасовую ингаляцию. Отец добросовестно следовал всем

предписаниям. У него появилось желание перечитать кое-какие книги. Мы приносили их в больницу. Зигрид готова была читать вслух, но отцу это предложение не понравилось. Я все-таки не ребенок, сказал он. Сестра соорудила над кроватью нечто вроде пюпитра. На нем раскрыли «Процесс» Кафки. Я надела отцу его роговые очки. Ему трудно было перелистывать страницы. Да и установить оптимальное расстояние от глаз до книги тоже удалось не сразу. То она оказывалась слишком близко, то слишком далеко. А стоило ему наконец сосредоточиться, страница вдруг вставала торчком. Я принесла канцелярские скрепки и с их помощью фиксировала разворот страниц. Когда отец кивал, я переворачивала и закрепляла страницу.

Зигрид приходилось ездить на работу, и мы сменяли друг друга. Я дежурила с утра, Зигрид приходила после обеда и оставалась до девяти или десяти вечера. Когда из отделения интенсивной терапии отца перевели в обычную отдельную палату, мы облегченно вздохнули. Мы надеялись, что уже недалек день выписки. Его желание побыть в одиночестве даже успокаивало нас. До обеда я отлучалась из палаты на час или два, ходила за покупками, гуляла или сидела в ка-

фе. Зигрид делала то же самое, только ближе к вечеру.

Однажды, вернувшись после одной из таких вынужденных прогулок, я услышала новость. Сестра сказала:

— Ваш отец не один.

— Кто у него?

— Криминальная полиция.

Я расхаживала по светлому мраморному полу. Потом встала у оконной ниши, пытаясь проделать дыхательные упражнения. За окном в желтой траве рылся клювом черный дрозд, усердно и сердито. Спустя время я услышала за спиной уверенную целеустремленную поступь — шаги занятого человека.

— Вы дочь господина профессора? — спросил мужчина.

На нем был светлый пуховик с капюшоном. Гладко зачесанные волосы были слишком длинны для комиссара полиции. Не представившись, он начал задавать вопросы. От отца он узнал, что я тоже была на балу. Он спросил, не заметила ли я чего-то необычного.

— Подумайте, — сказал он с легким славянским акцентом. — Постарайтесь все вспомнить в спокойной обстановке. Я еще приду.

Затем он поинтересовался, почему мы так рано покинули театр. Я рассказала о досадном казусе. Это показалось ему малоубедительным. Меня взяла злость — создалось ощущение, что он причисляет меня к кругу подозреваемых.

— А кто вы, собственно, такой?

Он сказал что-то повеявшее деревней. Его фамилия была Дорф.[53] Я подумал, до чего она подходит ему. Но по сути он был не Дорф, не большая деревня, а скорее хуторок, Дерфль, как говорят в Вене. У отца он оставил карточку со своим полным именем, на ней крупными буквами было написано: РЕЗО ДОРФ.

Отец уже пять недель пролежал в больнице, и тут мы узнали, что он наконец сможет покинуть ее. Отцу мы не говорили об этом. По ночам я не знала покоя: только бы ему удалось поспать, думала я. И каждое утро он уверял меня, что хорошо поспал. И при этом поглядывал на капельницу.

— Если бы мне все давалось так же легко, как сон.

Но еще до наступления ночи я жила одной надеждой — только бы он уснул. Это было вроде бесконечной молитвы, а больше мне ничего не

---

[53] Примечания: 53
Dorf — деревня *(нем.)*.

оставалось. Если уж он не бессмертен, то пусть хотя бы отдохнет во сне.

Только рядом с ним я могла как-то успокоиться. Но и это было не просто. Он спрашивал: «Думаешь, я умру?»

Когда отец чувствовал, что я страдаю, он проделывал отвлекающий маневр. Начинал цитировать все, что запомнил из мировой литературы, изыскивал какую-нибудь лазейку для юмора. Я помогала ему и старалась улыбаться.

Он позволял ухаживать за собой, как за ребенком. Я водила его в душ и делала ему втирания. В ванной он просил, чтобы под конец его обильно окатили холодной водой. Раньше он всегда заканчивал процедуру холодным душем. Если я медлила, боясь, что он может простудиться, он выхватывал у меня рожок и обливал себя. При этом действовал так неловко, что я всякий раз оказывалась под дождем.

Брить его надо было непременно лезвием. Электробритва не годилась. Сестре это надоело. Он спросил меня, не желаю ли я быть его брадобреем, словно речь шла о высшем отличии. Но мне стоило немалых усилий оправдывать такую честь. Он хотел, чтобы кожа была идеально гладкой, и постоянно ощупывал ее дрожащей, покрытой

старческими веснушками рукой. Затем требовалось протереть лицо горячим полотенцем и тут же смазать кремом. На всю процедуру у меня уходило не меньше часа. Когда я спрашивала: «Ну, теперь ты доволен?» Он проводил рукой по лицу и говорил: «Я хочу быть гладко выбритым».

Чтобы не порезать его, споткнувшись бритвой о морщины, я растягивала кожу пальцами. Складки становились белыми бороздками, но до последнего часа это были красивые линии. Я выстригала ему волосы из ноздрей и ушных раковин. Приходилось наносить много крема. Ему нравился сильный аромат. Мне кажется, он уже не чувствовал запахов, поскольку требовал все новых умащений.

Вначале я купила ему карманное зеркало, оно оказалось слишком маленьким. Я принесла большое. После бритья, когда он, глядя в зеркало, придирчиво изучал состояние кожи, я забывала о том, что он на краю могилы.

Никогда в жизни я не чувствовала такой близости с ним. Я не стеснялась нежностей и гладила его. Он наслаждался этим. Да и я тоже. Мне хотелось, чтобы кто-то (мать? Зигрид?) ревновал меня. Иногда в ванной или же укутывая отца, я видела его член. Он был изрядной длины. Я

представляла себе, как мать принимала его в свое лоно. Интересно, хотелось ли отцу, чтобы я прикоснулась к его детородному органу? Я предоставляла отцу мыть его самостоятельно, чего он, однако, не делал.

Наступил день, когда отец с самого утра пожелал, чтобы его никто не беспокоил.

— Теперь вам уже недолго терпеть, — сказал Резо Дорф, встретив меня в коридоре.

Я бы вытерпела, мужлан деревенский. Это была наша вторая, и последняя, встреча. Идет и мотает себе на ус, что сюда ему являться уже незачем. Резо Дорф не заплачет. Умеют ли такие типы вообще плакать? И хотя отец уже не мог говорить, он чувствовал мою близость. Когда я держала в руках его теплую ладонь и вдруг открывалась дверь, он сжимал пальцы, будто боялся, что я покину его. Мой отец умер ровно через пятьдесят четыре года после своей свадьбы. За день до этого врач тихо сказал мне: «Сегодня ночью».

Эту ночь я провела в больнице. Зигрид — две ночи накануне до двух и трех часов. Она еле держалась на ногах. В ту последнюю она уехала домой после полуночи. На чем врач строил свой прогноз, оставалось загадкой. Никаких изменений я не замечала.

Я сидела на краю кровати и наблюдала за капельницей. Над изголовьем была натянута влажная простыня, которую я спрыскивала водой каждые пятнадцать минут. Мне было страшно. Как умирают люди? Откуда я узнаю, что это последние минуты? Всякий раз, когда я щупала у него пульс, мне казалось, сейчас наступит смерть. Я непроизвольно отдергивала руку. Пусть отец думает, что я не могу ожидать ничего плохого. Я уже не смела касаться запястья.

Мысленно я возвращалась к нашему разговору на балу. Я никому не рассказывала о нем. Да и с отцом больше не говорила о подруге его юности. Но это не было молчанием. Тема как бы сама напоминала о себе, когда он вдруг закрывал глаза, не произнося ни слова.

Ночью шумело ненастье. Сильный ветер швырял листья в оконное стекло. Штора колыхалась. Ветер задувал в щели окон. На деревьях орали вороны. У меня было такое чувство, что все уже пройдено и изведано, но я не знала, что будет дальше. Из головы не выходил предстоящий телефонный разговор. Но кому следовало звонить? Не могу же я взять трубку и сказать мужу: «Скоро я буду с тобой».

Отец дышал тяжело и замедленно. То и дело

раздавались клокочущие звуки, точно в водостоке. И странно было находиться наедине с этим дыханием и теплой ладонью, к которой я все время прикасалась.

Около семи, когда уже стало светать, заступила новая смена медперсонала. Отец еще дышал. Почти с гордостью я указала на него тому самому врачу, который предрек смерть отца минувшей ночью. Я не чувствовала ни усталости, ни голода. Перед работой в больницу заехала Зигрид. Было заметно, что она испытывает облегчение.

День выдался очень светлый, слишком светлый для комнаты с умирающим. Я задернула шторы. Одна из сестер пожелала сменить меня. Надо идти домой и передохнуть, сказала она. Но я не хотела оставлять отца. Я бы не вынесла телефонного известия: «Ваш отец скончался».

Мой отец умер. Мне вдруг показалось, что это — фраза из моего детства, как будто я часто слышала ее. Я долго размышляла над этим. И она всегда связывалась с каким-то телефонным разговором. Сначала звонок, а потом слова: «Мой отец умер». Больше мне ничего не приходило в голову.

Прошло, наверное, два часа после того, как я задернула шторы. Я сидела рядом с кроватью и теперь уже почти клевала носом. Руку отца я

выпустила. И вдруг он приподнялся, его пальцы хватали железные прутья по бокам кровати. Потом вытянул руки и открыл глаза, очень медленно. Мы замерли, глядя друг на друга. Мне казалось, он сейчас встанет и пойдет. Он шевельнул губами, будто пытался что-то сказать, но не издал ни звука. Глаза были широко раскрыты, отец колотил себя по груди.

— Он задыхается! — крикнула я так громко, что не узнала собственного голоса. Появились две сестры и доктор. Он удерживал меня сзади за плечо. Сестра гладила мне руку.

— Видишь, — сказала сестра, — он преставился.

Отец как по команде откинулся на спину и в мгновение ока стал чужой восковой фигурой. Кожа была совершенно гладкой и неестественно белой. Глаза успел закрыть сам.

Позднее, когда врач начал осматривать тело, я даже не отважилась прикоснуться к этой плоти, которую только что гладила. Обручальное кольцо с него уже сняли. Я взяла это кольцо и вышла из палаты.

Блуждая в поисках истины

Присутствие Хедер на похоронах Фреда принесло мне поразительное облегчение. Но после ее скоропалительного отъезда мои мучения стали еще тяжелее, чем неделю назад. Я так и этак кромсал и перекраивал пленку и не находил никакого решения, которое казалось бы мне убедительным. Самым естественным было бы сделать отправной точкой смерть Фреда и показать катастрофу в ретроспективе личной истории. Однако я знал, что ETB будет всю жизнь тыкать мне в нос этим фильмом. Мишелю Ребуассону нужен был такой документальный фильм, какой он вправе был ожидать от меня — напряженный, динамичный, будоражащий нервы и в то же время с суховатым, трезвым комментарием, который не оставляет сомнения в том, что все изображенное — правда, и ничего кроме. Фред в таком случае стал бы просто деталью, фигурой маленького эпизода. Но разве катастрофа не была вместе с тем концом для тысяч человеческих судеб? А ведь с ними связано столько других судеб. Я был не единственным, кто пережил утрату — потерял

сына, дочь, отца, мать или спутника жизни. Погибло много полицейских и сотрудников Службы безопасности. Один даже вне здания — во время демонстрации. Что, черт возьми, творилось в головах террористов? Как возникла у них маниакальная идея превратить Оперу в Освенцим? И почему? Мой материал не давал на сей счет никакой информации. Два террориста объявлены в розыск. Один — Файльбёк — уже давно, второй — чуть ли не в ночь бала.

После похорон Фреда я еще неделю работал с материалом, помучился и бросил. Мишель Ребуассон рвал и метал. Но на сей раз ему не удалось бы приневолить меня с помощью трудового законодательства. Я взял месячный отпуск. А потом, обещал я, вероятно, найду в себе силы заняться Кавказом.

Габриэла сказала мне, что и Ян Фридль погиб во время катастрофы. Я нашел его имя в списке. А в моем режиссерском плане, где было расписано распределение лож, он значился как гость фабриканта Рихарда Шмидляйтнера. Но того в списке не было. Возможно, он отлучался, чтобы встретить Катрин Пети. Я позвонил ему. Он меня знал. И знал о смерти моего сына. Несколько лет назад он потерял своего. Это было, как он сказал,

его незаживающей раной, и до сих пор он терзает себя беспочвенными упреками. Мы договорились о встрече в кафе «Шварценберг». Это был стройный, спортивный мужчина с загорелым лицом и седыми висками. Этакий человек-монолит, который, казалось, родился бизнесменом. В нем не было ни грана искусственности. И хотя я заверил его, что разговор будет приватный, он никак не протестовал, когда я включил свой маленький магнитофон. Он счел это само собой разумеющимся. Шмидляйтнер доверял мне. Я почти не задавал вопросов и редко прерывал его. Частная и деловая сферы обладали для него одинаковым суверенитетом. Этой позиции он изменил, пожалуй, только когда заговорил о спутнице жизни Яна Фридля. Ее он ненавидел. Когда я менял кассету, он сказал:

— Прошу прощения, я талька дам указания шоферу.

Он вытащил телефон из внутреннего кармана пиджака и набрал заложенный в электронной памяти номер: «Мне придется задержаться. Передайте фрау Вайнштайн, что сегодня я уже не буду в офисе. Пусть отменит встречу с доктором Штерном. Я позвоню ему завтра в первой половине дня».

Он убрал телефон.

— Так на чем мы остановились? Ах да, коммерциальный советник Шварц.

И он снова разговорился. В какой-то момент у меня мелькнула сумасшедшая мысль, что Шмидляйтнер мог финансировать террористов, чтобы разом отделаться от вышедшего из-под контроля художника и флорисдорфского конкурента по хлебобулочному бизнесу. Но полная откровенность, с какой он рассказывал о Яне Фридле и советнике Шварце, развеивала это подозрение. И, однако, я поделился потом своими соображениями с Габриэлой. Она даже вздрогнула.

— Потише. Он затаскает тебя по судам, мало не покажется.

Вечером в день выборов я встретил ее в баре. У Габриэлы было дежурство. Она вбежала сама не своя и, остановившись, посмотрела на меня глазами, полными ужаса:

— Я уезжаю из страны!

В тот вечер она не раз повторяла эту фразу. Национальная партия становилась огромной силой. И хотя она не набрала абсолютного большинства, можно было не сомневаться, что этой партии поручат сформировать правительство. Социал-демократы получили меньше 25 % го-

лосов. Габриэла выпила несколько бокалов шампанского.

— Ты это серьезно? — спросил я.

— Да.

— Куда же ты собираешься?

— В Соединенные Штаты.

— И что будешь там делать?

Она пожала плечами и уткнулась головой мне в плечо.

В дополнительном списке я нашел имя одного берлинского профессора. Судя по всему, он скончался позднее — от последствий теракта. Не знаю, почему мой выбор пал именно на него. Скорее всего, просто случайность. В справочной междугородной сети я узнал его берлинский номер. На мой звонок ответила женщина, по голосу можно было догадаться, что она в подавленном состоянии. Я представился. Она сказала, что не настолько оправилась от горя, чтобы беседовать с журналистом. Я заверил:

— Мною движет вовсе не профессиональный интерес. В Опере погиб мой сын Фред. У меня просто душевная потребность поговорить с людьми, которые тоже потеряли близких.

Женщина ответила не сразу.

— Я здесь случайно, — сказала она, — мне надо

все разобрать в квартире моего отца. А вообще я живу во Франкфурте.

— Вы позволите мне приехать во Франкфурт?

— В этом нет необходимости. Через четыре дня я буду в Вене. Там живет моя сестра. Мы должны решить вопрос с наследством.

Она дала мне телефон сестры.

— Ваш отец был на балу один?

— Нет, со мной и моим мужем. Но мы ушли раньше.

Спустя пять дней мы встретились с Клаудией Рёлер в молочном кафе Городского парка. Она оказалась моей ровесницей и очень привлекательной. Лицо человека с мягким характером. Но на меня она смотрела недоверчиво. В глазах читался вопрос: «Что надо от меня этому типу?» Я рассказал ей о Фреде и о том, как до сих пор не могу примириться с мыслью о его смерти. Она стала слушать меня внимательнее. Малопомалу ледок недоверия растаял. Она задавала все новые вопросы. Порой они смущали меня. Ей хотелось узнать, как зародилась во мне эта всепоглощающая отцовская любовь. Именно так — навязчивая. Я признался, что раньше почти не уделял внимания Фреду. Потом рассказал о разводе, И она вдруг спросила, не страдал ли

Фред оттого, что я смотрел на него как на создание рук своих. Боже, подумал я, откуда она это знает? Домой я вернулся с чистой пленкой. На следующий день мы увиделись там же и в тот же час. Стояла прекрасная предвесенняя погода. Клаудиа Рёлер предложила прогуляться. Мы медленно двинулись вниз по набережной вдоль парапета и от моста возле отеля «Хилтон» дошли до так называемого Венского затвора — помпезно оформленного входа в туннель, через который река Венка течет в сторону Карлсплац. Потом повернули назад. Мой диктофон был прикреплен к верхнему кармашку пиджака. Иногда она останавливалась и брала меня за руку, чтобы показать, как останавливался посреди улицы ее отец. Мне хотелось думать, что это делалось не только для наглядности. На набережной были ниши с каменными скамьями. Мы присели, и она взяла у меня сигарету. Ведя свой рассказ, Клаудиа редко смотрела на меня. Кончиком туфли она механически передвигала лежавший на земле обломок ветки. Когда она заговорила о смерти отца, в ее глазах блеснули слезы. Лицо раскраснелось, но Клаудиа продолжала рассказ. В конце она призналась, что рада нашему разговору, это позволило ей излиться, и она чувствует облегче-

ние. Я спросил:

— А откуда эта всепоглощающая любовь к отцу?

Она рассмеялась. Но ее лицо тут же приняло серьезное выражение. Она посмотрела на меня и тоже спросила:

— Мы еще увидимся?

Я дал ей свой номер телефона. Но она не пожелала дать мне свой, франкфуртский.

— Я мог бы его найти, — сказал я.

— Да, могли бы. Но не станете этого делать.

До сего дня я жду звонка от нее. Я несколько раз прослушивал пленку с записью ее рассказа. Меня глубоко тронуло то, как она говорила о своем отце. И тут впервые я подумал о том, что из этих записей и истории Фреда могу сделать книгу.

В подземном переходе на Карлсплац навстречу мне шли двое молодых полицейских. Того, что выше ростом, я узнал. Это был тот самый неуклюжий парень, которого я вставил в анонс перед трансляцией бала. Фред сделал мне два варианта, но посоветовал: «Возьми первый. Он позабавнее».

Когда мы уже разминулись, мне вдруг стало интересно: что думает обо всем случившемся полицейский? Каково ему пришлось в ту ночь?

Я вернулся и заговорил с молодым человеком. О том, что работаю на ETB, я намеренно умолчал. Я назвался английским журналистом и сказал, что пытаюсь понять, кто стоит за событиями той трагической ночи, когда в числе погибших оказался и мой сын.

— Ваш сын? — удивился он и, чуть помедлив, сказал: — Сочувствую.

Только одно это слово: «Сочувствую». Я не знал, как вести разговор дальше. Тут он полюбопытствовал, откуда я так хорошо знаю немецкий.

— Мой отец родился и вырос в Вене.

— Интересно, — заметил он. — Так сказать, визит на родину?

— Не совсем. Я вырос в Лондоне.

— Ах, в Лондоне. Это крупный город. Больше Вены?

— Да, намного.

— Стало быть, и проблем навалом. Наркота и прочее. У вас в Лондоне много наркоманов?

— Да, к сожалению. Больше, чем в Вене.

— Мне-то и здесь их хватает. Пройдитесь по переходу, сами увидите.

Он оглянулся в сторону спуска к метро линии 4, где несколько юнцов расположились прямо на полу. Его напарник не проронил ни слова.

Он переминался с ноги на ногу и слушал наш разговор.

— Я хотел вас кое о чем спросить.

— Пожалуйста.

Он приветливо кивнул и повернул голову вполоборота, будто был туговат на ухо. Его профиль имел два резких выступа: длинный нос и выпиравшую верхнюю губу.

— Я бы охотно взял у вас интервью. Как вы пережили это катастрофическое событие? И что вы думаете об этом?

— Нет, избави Бог, этого я не могу.

— Не можете?

— У нас есть указания. Вам надо обратиться в пресс-центр Управления федеральной полиции. Но они вам наверняка подыщут кого-нибудь другого.

— Почему? Никакой закон не запрещает говорить с вами при условии, что вы сами не возражаете.

— Нет, так нельзя. Извините, нам сейчас надо на задание. Я не могу тратить время на разговоры. Но завтра я свободен. Вы позвоните, и я вам обстоятельно объясню, почему не могу давать никаких интервью.

Он назвал свое имя — Фриц Амон. И оставил

номер телефона. Полицейские пошли своей дорогой. Мне казалось, что удалялись они поспешнее, чем двигались мне навстречу. Второй полицейский так ничего и не сказал.

Вечером я размышлял о том, как лучше разговорить этого парня. У моего знакомого был дом в Брайтоне, который он иногда сдавал. Я мог бы предложить полицейскому с женой, если, конечно, у него есть таковая, провести отпуск на взморье. Но на следующий день выяснилось, что я зря ломал голову.

Фриц Амон сообщил мне в телефонном разговоре:

— Ясное дело, я вас проинформирую. Только напарник об этом знать не должен. Он у нас новенький. И я пока не знаю, можно ли на него положиться. Может, зайдете ко мне?

Договорились, что к обеду я навещу Амона в его квартире. Он жил на Реннбанвег, по ту сторону Дуная, в огромном комплексе государственной застройки, подъезд 16. Из предосторожности я захватил с собой старую визитную карточку с шапкой Би-би-си. Он либо ждал меня за входной дверью, либо наблюдал за моим приближением из окна, поскольку дверь открылась, как только я прикоснулся к кнопке звонка. Фриц Амон

проводил меня на кухню и познакомил с женой. Она выглядела на несколько лет старше него и потряхивала светлыми кудряшками химической завивки. На комоде против кухонного стола стоял включенный телевизор. Передавали какую-то викторину из Германии.

— Как вас зовут-то?

— Фразер. Курт Фразер. — Я произнес свою фамилию через «а», как ее огласили на похоронах Фреда. Затем протянул свою визитную карточку. Он долго ее рассматривал, а потом взглянул на жену.

— Это телевидение, что ли?

— Да. Но ваш голос я не буду давать в эфире, — сказал я, доставая магнитофон. — Это так, для памяти.

— Так вы хотите записать разговор?

Он покачал головой и посмотрел на жену, занятую стряпней.

— Да, но, как я уже сказал, это для моих приватных целей, но никак не для телевидения.

— Английского-то? У нас все равно никто его не смотрит. Так что, если надо, можете спокойно использовать.

Он повернулся к жене:

— Как думаешь? Никто не увидит? Или что?

Она окунула шницель в горячий жир и покачала головой:

— Да уж вряд ли кто.

Мы сели за письменный стол, накрытый на трех едоков.

— Пивка не хотите? Кристль, принеси, пожалуйста, две бутылки. А что вас, собственно, интересует?

— Как вы пережили все это? Должно быть, вам туго пришлось.

— Не то слово. Жуть! За все время службы мне такое и не снилось.

Я взглянул на телевизор.

— Можно выключить звук?

— Ясное дело.

Он взял пульт, и телевизор затих. Хозяйка принесла две бутылки пива. Затем — мясной суп с мелко нарезанным омлетом. Я прирос к спинке стула, когда она наполняла мою тарелку. В углу над кухонным столом висела пустая подарочная коробка. Фриц Амон проследил мой взгляд.

— Это мне к пятилетию службы преподнесли.

Фриц Амон заработал ложкой и при этом начал свой рассказ о том самом дне, который перешел в ту самую ночь. Я включил магнитофон. О своей жене он говорил, не обращая на нее внимания.

Иногда его взгляд задерживался на картинке, возникшей на экране, и он ненадолго прерывался. Похоже, он любил приврать. Я не был уверен, что он и в самом деле нашел палец. Хотя Бог его знает. А то, что он мог присутствовать при разговорах высокого начальства, казалось мне просто неправдоподобным. Возможно, он знал об этом из рассказов того самого сослуживца, которого называл «старшим напарником». А что касается *Общества помощи иностранном,* то на сей счет я узнал много нового. Правда, я слышал о смерти одного из демонстрантов, но в то время, когда это произошло, был слишком поглощен югославской темой, а позднее — подготовкой к трансляции бала в Опере. Свидетельства Фрица Амона больше всего пригодились бы мне, если бы удалось доказать, что к теракту в Опере действительно причастно *Общество помощи иностранцам.*

Он разрезал шницель на продольные ломтики, а потом, к моему удивлению, ловко поделил их на части, даже не сдвинув с места. Его тарелка напоминала рекламную картинку для детей, страдающих отсутствием аппетита. Первым делом он съел боковые куски, имевшие небезупречную геометрическую форму. После чего методично расправился с прямоугольником из

идеальных мясных квадратиков. Когда я перематывал пленку, он использовал паузу для того, чтобы послушать телевизор. Но как только я приводил диктофон в рабочее состояние, он убавлял звук. Странное дело — чем больше Фриц Амон входил во вкус своего устного повествования, тем симпатичнее он мне казался. Пока не заговорил о политике. Напоследок он пригласил меня зайти в гости еще раз. И я, пожалуй, зайду. Во всяком случае — до публикации книги.

В газетах появились фотографии Файльбёка и человека, которого сообщники называли *Инженером.* Родители Инженера жили в Бургенланде. Мне они дали от ворот поворот. Запретили приезжать, отказали в любой информации. Голос матери мне удалось услышать по телефону. Но она тут же передала трубку мужу.

— Оставьте нас в покое! — гаркнул тот, на чем разговор и закончился.

С родителями Файльбёка повезло больше. Мне было позволено посетить их. Они жили в одном из муниципальных домов Хернальса. Отец Файльбёка — осанистый мужчина с курчавой темной шевелюрой. Он работал на мотостроительном заводе.

— Я всю жизнь был за социалистов, — сказал

он. — Но теперь баста.

Мать оказалась женщиной благовоспитанной, с хорошими манерами. Работала в мобильной службе по уходу за престарелыми и немощными.

— Я совершила большую ошибку, — сокрушалась она. — Сболтнула полицейским, что у Карла в подвале имеется шкаф. Они взломали его и конфисковали все содержимое. Теперь он не может вернуться, ведь они арестуют его.

Она не допускала мысли о смерти сына, который пропал почти два года назад.

— К теракту в Опере Карл наверняка не имеет никакого отношения, — сказал отец. — Он бы ни в жизнь такого не учинил. Карл — человек исключительно порядочный, только вот попал в плохую компанию. И ведь хотел вырваться, да поздно было. Полиция говорит, террористы ему палец отрезали. Вот до чего. Прямо муллы какие-то. Он и к дому-то боится близко подойти.

— Не надо мне было говорить про шкаф, — вновь запричитала мать. — Все, что они там нашли, могут использовать против него.

Муж попытался успокоить ее:

— Ты даже не знаешь, что было в шкафу-то. Мы понятия не имели, что он водился с этими терро-

ристами. Правда, он хотел вытурить инородцев. Ну и что тут такого? Я тоже хочу. Посмотрите, кто у нас ходит по улицам. Слова на немецком не услышишь. Я всю жизнь был за социал-демократов. Но теперь баста. Они продают своих людей.

Фрау Файльбёк устремила на меня умоляющий взгляд:

— Вы сумеете найти Карла? Прошу вас, найдите его.

— Вы можете дать мне какие-то зацепки?

— Не знаю… А вы ничего не скажете полиции?

— Нет.

— Он журналист, — вмешался муж. — Не ихнее дело держать язык за зубами.

— Обещаю, что дальше меня информация не пойдет.

Фрау Файльбёк посмотрела на мужа. Похоже, ему не нравилось намерение жены, но он и не стал ей мешать, когда она стала осторожно излагать кое-какие подробности, все еще неуверенно поглядывая на супруга.

— Недавно мы освободили квартиру Карла. Какой смысл платить деньги, если он не живет в ней. Полиция перевернула там все вверх дном. Я разбирала вещи, стирала и гладила. И тут в кармане пиджака нашла записку. Вроде описания

какого-то маршрута где-то за границей. Муж даже атлас листал, но ничего выяснить не удалось. Об этом мы никому не говорили. И кроме того, мы решили, что если бы он действительно находился там, то этот листочек взял бы с собой.

— Можно посмотреть?

— А вы не разболтаете? — спросил Файльбёк.

— Нет, обещаю вам.

Он подошел к столу и поднял верхнюю доску, которая, видимо, служила для удлинения столешницы. Внизу лежал лист бумаги. Текст, похоже, был напечатан на лазерном принтере.

От Сантаньи – два километра в сторону Феланича.
Потом проселком налево.
На перекрестке – пальма.
Потом еще два километра.

Я знал оба упомянутых здесь населенных пункта, так как один из первых моих отпусков провел с Хедер в этой местности.

— Это на Мальорке. Я поеду туда.

— На Мальорке? Это не так уж далеко! — Фрау Файльбёк задумчиво помолчала. — Но что вы там собираетесь делать? Вы ведь найдете Карла?

Этот вопрос немного смутил меня. Я не расска-

зывал им о Фреде. И понятия не имел, что буду делать с этим типом, если он мне повстречается. Разумеется, я поговорил бы с ним. А потом, скорее всего, сдал бы полиции. Но им я не мог этого сказать.

— Он будет снимать для телевидения, — сказал господин Файльбёк. — Теперь я знаю, где это, и могу сам поехать.

Он забрал записку.

— Не хочу препятствовать вашим планам. Но, возможно, вы знаете своего сына не так хорошо, как думаете.

— Перестаньте. Мне Карл не сделает ничего плохого. Мы не всегда понимали друг друга. Я — старый соци. Но Карл был прав. Он учился и разглядел всю гадость раньше меня. Только вот связался не с теми людьми.

Господин Файльбёк вышел на кухню и вернулся с двумя бутылками сливовицы.

— Это вам. А вы — молчок. Договорились?

Я не хотел брать бутылки, но он всучил мне их, можно сказать, силой.

Уже в передней он сказал:

— Я не нуждаюсь в услугах полиции. Если Карл замешан в этом деле, я убью его. Если нет, ему не место за решеткой.

Я обещал родителям приехать на несколько дней в Лондон. Но поездка на Мальорку не терпела отлагательства. Я позвонил в Лондон и сказал, что буду на неделю позже. Отец был возмущен результатами выборов:

— Преступники наверняка из правых радикалов. Как люди могут голосовать за правых?

В конце разговора он не преминул посоветовать:

— Возвращайся-ка ты в Лондон. Я уж точно больше не увижу Вену.

— Я думал, ты приедешь в мае.

— Встречу отменили. Сейчас есть дела поважнее, чем прием для эмигрантов.

Текст записки Файльбёка я запомнил, однако не был уверен, что и в самом деле застану его на Мальорке. Маршрут был составлен по меньшей мере полтора года назад. Я предполагал, что им пользовались для давних встреч с испанскими или французскими правыми радикалами. Однако попыткой не стоило пренебрегать. Чем ближе я подходил к цели, тем больше нервничал. В Сантаньи я совершил, как догадался позднее, серьезную ошибку. Мне надо было сразу отправиться в отель, а я, вместо того чтобы в муниципальном управлении или хотя бы в баре

узнать, где можно остановиться, сразу двинулся в сторону Феланича, ориентируясь по дорожным указателям. Моя сумка не слишком оттягивала плечо. В ней были только полотенце, плавки, нижнее белье, магнитофон, восемь кассет и маленький фотоаппарат. Но я не учел, что, коль скоро я нигде не остановился, меня никто и не хватится, если я не вернусь.

Дорога становилась все уже, по обе стороны тянулись сложенные из камней стены. За ними виднелись бесчисленные миндальные деревья. В некоторых окруженных стенами садах разгуливали на воле свиньи. Они глодали кору миндальных деревьев. Куда ни глянь, ни одной человеческой фигуры. А время было уже за полдень. Солнце не только светило, как в Вене, но и припекало. Изредка проезжали автомобили. Водители не сразу могли меня заметить, так как дорога петляла. И мне приходилось прижиматься к стене. Примерно через полчаса моего пешего похода я увидел с левой стороны одинокую пальму, здесь дорога разветвлялась. Я огляделся и пошел по каменистому проселку. Но и он был стиснут стенами, правда перед ними росли кусты. Местами дорогу преграждали целые заросли. Машины тут, надо полагать, давненько не ездили.

Во всяком случае следов от колес я не обнаружил. Чем дольше я шел, тем более зловещей казалась мне местность. Я то и дело останавливался, чтобы оглядеться и прислушаться. Где-то вдалеке блеяли овцы. Однако миндальные деревья затрудняли обзор. Двигался я очень медленно и прошел, наверное, уже не меньше часа, когда путь мне преградило поваленное дерево. Я перелез через него и продолжал плестись дальше. Дорога сворачивала вправо. Я осторожно выглянул из-за угла стены. Совсем близко стояли два дома: маленькая лачуга и в двадцати метрах от нее каменное строение с плоской крышей. На лужайке торчали какие-то светлые колонны и обрубки колонн. Когда яростное солнце немного успокоилось, я начал приглядываться. Оба дома казались пустующими. Оконные ставни были закрыты.

Я собрался с духом и пошел к большому строению. Колонны, мимо которых я прошагал, оказались кернами, или столбиками выбуренной породы. Перед домом была терраса. Я поднялся по двум ступенькам и еще раз огляделся. Потом постучал в деревянную дверь. В ответ — ни звука.

— Есть тут кто-нибудь?

Тишина. Я мобилизовал весь свой скудный

запас испанских слов.

— Permiso? Hay alguien?[54]

Я прошелся вокруг дома. Все ставни были закрыты. Никаких признаков жизни. Я постучал еще раз и громко спросил:

— Permiso?

Тогда я взялся за ручку, дверь оказалась незапертой. Я толкнул ее, продолжая стоять на террасе. Только порог отделял меня от просторного помещения с высоким потолком. Прямо напротив двери — окно. Справа — лестница, ведущая на антресоли, под которыми находилось какое-то другое помещение, возможно, там была кухня. Еще я разглядел небольшую полку с книгами, высокое плетеное кресло, плиты пола. Через полуоткрытую дверь я не мог видеть правой половины комнаты. Я поставил сумку на пол и шагнул в дом. Справа стоял большой круглый стол, на нем — немытые стаканы и чайник. Под антресолями действительно была кухня. Дверь оставалась открытой. На маленьком столике полно грязной посуды — тарелки, кастрюли, ложка, вилка и нож. И тут я понял, что надо немедленно уносить ноги. Но было уже поздно. И оглянуться

---

[54] Примечания: 54
Можно войти? Кто здесь? *(исп.)*

не успел, как за спиной услышал тихий голос:

— Поднимите руки и не оборачивайтесь.

Я вздрогнул и тут же поднял руки. Голос доносился с антресолей.

— Что вам здесь надо?

Значит, у меня есть шанс, подумал я. Он говорит со мной. А пока говорит, стрелять не будет.

— Вы Карл Файльбёк? Я пришел от ваших родителей. Я обещал им никому ничего не говорить, если найду вас.

— Не полощите мне мозги, господин Фрэйзер. Думаете, я не видел вас по телевизору?

— Да, я журналист. И тем не менее я обещал вашим родителям молчать.

Я подумал: почему бы не обернуться? Может, у него нет оружия? Он начал спускаться по лестнице. Я медленно повернул голову в его сторону. Окрика не последовало. Но я увидел направленный на меня ствол пистолета. Однако его держал вовсе не Файльбёк. Короткая белесая борода, впалые щеки, воспаленные глаза. Это был Инженер.

— Как вы меня нашли?

— Записка в пиджаке Файльбёка.

— Файльбёк — покойник. Да и вы скоро отправитесь вслед за ним.

— Если вы сделаете это, вам самому будет

крышка. Есть люди, которые знают, где я. А ваше фото попало и в испанские газеты.

— Тогда будет два трупа. Или как?

— Я мог бы помочь вам найти более надежное пристанище. У меня есть верные люди во многих странах.

— Так вы ради этого сюда пожаловали?

— Нет, я хотел разыскать Файльбёка.

— Чего вам от него надо?

— Хотел просто поговорить с ним. Но можно и с вами. У меня сын погиб во время вашей акции.

— Меня там не было.

— Тогда вам нечего опасаться.

— Но я был одним из них.

Я заметил, что его бьет дрожь. Он приказал мне сесть в плетеное кресло. Затем попятился к двери, держа меня под прицелом. Он взял мою сумку. Когда захлопывал ногой дверь, едва не упал на пол. Он вытряхнул все содержимое и обследовал боковые карманы. Сквозь щели закрытых ставней все же пробивался какой-то свет, и в комнате было не так темно.

Он выглядел настоящим доходягой, который не спал целую вечность. Выдвинув на середину комнаты стул, он уселся напротив меня, ближе к двери. Руку с пистолетом опустил. Какое-то время

мы молчали. Потом он спросил:

— Ну и что будем делать?

— Вы расскажете мне, почему вы убили моего сына Фреда.

— Да не убивал я, черт побери!

Вновь тягостное молчание. Он начал расхаживать по комнате. Иногда его пошатывало, как при головокружении. Он снова сел. Щека под левым глазом дергалась в тике.

— Когда они явятся?

— Скоро.

— Пристрелить вас сейчас или подождем, пока они не придут?

— Если честно, они не придут. Никто не знает, что я здесь.

— Никто?

— Здесь может появиться отец Файльбёка, да и то не скоро.

Он опять начал ходить из угла в угол, останавливаясь у окон фасада, чтобы сквозь щели выглянуть наружу. До самого вечера он не произнес ни слова. На мои вопросы не отвечал. Когда я попытался встать, он направил на меня пистолет. Время от времени прикладывался к чайнику. Электричества в доме не было. Над столом висело металлическое кольцо с огарками свечей. Я при-

метил их и на книжной полке, и на маленьком столике возле моего кресла. Справа от входа была еще одна дверь, ведущая в смежную комнату.

Когда стало темнеть, он спросил:

— Есть хотите?

— Хочу.

— Сварите картошку на кухне.

Он сел поближе к столу. Оттуда ему видна была кухня. Когда я встал, он предупредил:

— Близко не подходить.

Вдоль стены я прошел на кухню. Там тоже было темно. К блюдцам прилипли восковые бугорки огарков. К стене крепился баллон с пропаном. Я щелкнул зажигалкой над газовой горелкой. На полу — кучка картошки. Рядом — наполовину опустошенный мешок с миндалем. На полке — несколько стеклянных банок с маринованными маслинами. Больше никаких съестных припасов. Водопроводный кран не работал. Инженер сказал:

— Дождевой колодец за железной дверью.

В капитальной стене была белая крашеная дверца метровой высоты с тяжелым засовом. Я открыл ее и увидел ворот с канатом. Я начал поднимать ведро. Оно появилось не очень скоро. Видимо, вода была довольно глубоко. Я отцепил

ведро и поставил на пол. Мне бросились в глаза какие-то железные прутья, торчавшие из стены за дверцей. Я поставил картошку на плиту. Пока она варилась, мне нельзя было покидать кухню. Из комнаты послышался голос Инженера:

— Куда вы можете меня переправить?

— Возможно, в Аргентину.

— Как вы собираетесь это сделать?

— Пока не знаю. Но это можно организовать.

— Чего хотите взамен?

— Правды.

Он снова умолк. Когда картошка сварилась, стало совсем темно. Я вынужден был оставаться на кухне. Он сказал:

— Через пять минут отбой.

Я очистил две картофелины и попил колодезной воды, затем спросил:

— Соль здесь есть?

Он не ответил. Не успел я доесть вторую картофелину, как услышал приказ:

— А теперь в колодец!

В его руке снова блеснул пистолет.

— Я никуда не убегу. Заприте меня где-нибудь. Только не в колодце.

— В колодец! — снова крикнул он.

Ствол был нацелен прямо мне в лоб. Я открыл

дверцу, нащупал канат и холодные железные скобы и спустился в холодный мрак. Он тут же закрыл дверцу и щелкнул засовом. Я подумал, что это конец. Снизу тянуло холодом. Я слышал удаляющиеся шаги Инженера. Потом все стихло. Через какое-то время он снова начал ходить. Иногда позвякивала посуда. У меня заныли ноги, упиравшиеся в железные прутья. От напряжения ломило руки. Меня знобило. Я ощупывал стену. Зажигалку я оставил на кухне. В карманах не нашлось ничего, что могло бы пригодиться в этой ситуации. У железной дверцы был узкий выступ. Я снял туфли и поставил их на него. Потом сунул носки в туфли и полез вниз, цепляясь за скобы. Одной ногой я болтал в темном пространстве, пытаясь коснуться воды. Внизу колодец был намного шире, чем наверху. Стены гладкие. Никакого уступа, чтобы можно было сесть. За спиной висела веревка. Вот и все, что я мог нащупать.

Я полез наверх и надел носки и туфли, затем присел на выступ, на котором они лежали. Ступнями я опирался на железки, спиной — на дверцу. Я начал изо всех сил давить на нее, но она не поддавалась. В доме стояла гробовая тишина. Я растирал тело руками. Потом сделал из каната петлю, просунул в нее ногу, а конец прикрепил к

крюку. Так можно было избежать падения, если бы меня сморил сон.

Но уснуть не удавалось из-за холода. Хотя временами накатывала дремота. Я снова начал растирать туловище. Надо было продержаться всю ночь. Поскольку я не мог уловить ни малейшего звука, меня мучила страшная мысль о том, что Инженер просто сбежал.

Позднее я снова услышал шорохи. Они доносились с антресолей, а потом из комнаты. Вероятно, Инженер перетаскивал какие-то вещи. На антресоли он поднимался несколько раз. Когда он опять спустился в комнату и, возможно, сел за стол, мне показалось, будто он листает книги. Потом он пришел на кухню и поставил на плиту воду. Через какое-то время послышалось журчание, — скорее всего, он наливал чай. Затем за моей спиной загремел засов, и дверца распахнулась.

— Вылазьте! Есть работа!

Он отступил, размахивая пистолетом. Его как подменили, он был полон энергии. Когда я выполз из своей ямы, стало только светать. У меня ломило все тело. Размочаленные веревки каната словно вросли в ногу. Инженер прошел к столу, держа меня под прицелом. Я выпил чашку креп-

кого черного чая и доел последнюю картофелину. Это все, что оставил мне Инженер.

— Мне надо по нужде.

— В таз.

Он положил перед собой несколько книг и начал их перелистывать. Среди них — «Майн Кампф» Гитлера. Я узнал ее по портрету автора на одной из первых страниц. Некоторые места были подчеркнуты и снабжены комментарием на полях. Облегчившись, я взял из мешка горсть миндаля. Мне было велено пройти в комнату к плетеному креслу. На нем лежал мой кассетник. Инженер сел напротив и опять ближе к двери, как бы преграждая мне путь к бегству. Перед ним стояли на стуле чайник и чашка. На полу — стопка книг. У Инженера были по-прежнему воспаленные глаза и дергалась щека, но выглядел он куда свежее, чем вчера.

— У меня нет собственной истории, — сказал он. — Вы слышали про *Нижайшего.* Его история была моей историей. Во всяком случае до недавнего времени. Включите магнитофон.

Я сказал, что микрофон слабоват, надо придвинуться поближе. Инженер настоял на том, чтобы приблизился я. Теперь мы сидели в трех метрах друг от друга. Пистолет он не выпускал из рук.

Я заметил, что юность *Нижайшего* он сравнивал с юностью Адольфа Гитлера. Вначале, рассказывая об отце *Нижайшего,* он явно пользовался выражениями Адольфа Гитлера, когда тот описывал своего отца. Потом Инженер отступил от этого принципа. Он взял в руки другую книгу. Это была Библия. И голос его зазвучал с торжественной патетикой. Он хотел представить мне своего кумира в ореоле святого. Я даже не сразу сообразил, что речь идет о главаре *Движения друзей народа.* О других сотоварищах он говорил попроще. Иногда он делал паузы между фразами, очевидно подбирая слова. Когда пленка кончалась, он бросал мне новую кассету. Со временем получилась более или менее цельная картина. Но я не знал, чему можно верить, а чему нет. Когда я прерывал его, он грубо меня осаживал и грозил пистолетом.

Наговорив три пленки, он потребовал, чтобы я прошел в смежную комнату, куда я еще не заглядывал. Я увидел стол с пишущей машинкой и стопкой бумаги. Еще там была книжная полка, на полу под ворохом одеял лежал матрац. Он велел мне перепечатать все, что было записано на пленках. Да поживее.

— И чтобы слово в слово.

Каждую страницу он вычитывал, в то время как я печатал следующую. Кажется, он был доволен. Его даже не смутили те фразы, которыми он отвечал на мои возражения.

Когда я перенес на бумагу три пленки, уже наступил полдень. Мне было позволено съесть несколько миндальных орехов и маслин. Потом он велел мне заварить чай. Зажигалку я должен был оставить на кухне. Курить он мне не разрешал. Мы вновь начали записывать. Мне пришлось вставлять старые кассеты для новой записи. Когда он говорил о «Книге Мормона», я не мог не заметить, что он воображает себя кем-то вроде Джозефа Смита, хочет стать основателем новой религии. *Нижайший* был для него ангелом Морони.

У меня слипались глаза. Я напрягал все силы, чтобы не клюнуть носом. Когда он рассказывал о наказании и убийстве Файльбёка, он мерил шагами комнату, иногда останавливаясь и в упор глядя на меня. Я уж было подумал, что мне снова придется печатать текст трех пленок. Но, видимо, этого уже не требовалось. Инженер не забывал подбрасывать мне новые кассеты — из тех, что выгреб вчера из моей сумки. Он ни разу не приблизился ко мне. Временами тер ладонью

лицо. При этом наблюдал сквозь пальцы за мной. Прежде чем помочиться в таз, он прогнал меня на кухню. Пришлось постоять у железной дверцы.

Когда речь зашла о встрече с *Нижайшим* на Дунайском острове, на глазах у Инженера выступили слезы. Он смотрел в пол. Был момент, когда пистолет он положил в кресло перед собой. И хотя я по-прежнему понятия не имел, что меня ожидает, то, о чем он рассказывал, заставляло опасаться самого худшего, но я был не в силах воспользоваться оплошностью Инженера. Под конец он казался скорее отчаявшимся, чем властным. Он принимал мои возражения. И даже задавал вопросы. Но потом вдруг начинал кричать на меня. Грозя пистолетом, заставил выключить магнитофон. Мне пришлось опять переместиться к стене. Между тем шел уже десятый час. Вот-вот стемнеет.

Инженер носился по комнате, как сумасшедший. Ему снова с трудом удавалось удерживать равновесие. Лицо у него подергивалось.

— Как ты мыслишь побег?

Он впервые заговорил со мной на «ты».

— Мне надо позвонить.

— Исключено.

Он опять начал молча бегать. Не позволял мне

ни есть, ни пить. Я сидел и смотрел, как он носится, как временами бессильно падает в кресло. Мне казалось, я вот-вот засну. Вместе с тем не давала покоя мысль о том, что я могу снова оказаться в колодце. Второй ночи там я бы не выдержал.

Когда сумрак сгустился и я мог видеть лишь смутную тень на том месте, где сидел Инженер, он отправил меня на антресоли. Когда я поднялся, он вырвал из пазов деревянную лестницу и бросил ее на пол. Наверху лежали матрацы, одеяла и книги. Было уже настолько темно, что я не сумел прочитать названий. Я начал шарить вокруг, пытаясь найти какой-нибудь предмет, которым мог бы убить этого безумца. Но ничего не нашел.

Он ненадолго затих. Потом я услышал, как он плачет, вернее, по-собачьи скулит. Потом послышались шаги, он все время на что-то натыкался. В кухне смахнул на пол стеклянную банку, затем разбил вторую. После этого вновь стало тихо. Не знаю, надолго ли, потому что заснул.

Когда меня подбросило от звука выстрела, я был почти уверен: больше мне не жить. Теперь он шутить не будет.

Но тут внизу началась странная возня. Со стола полетели на пол какие-то предметы. Послышались пронзительные стоны, переходившие

в утробное мычание, глухие удары, как будто кто-то бился в агонии на каменных плитах пола. Шум постепенно стихал. И наконец, я услышал хрип, который ничем не отличался от последних звуков, исторгнутых из груди Фреда.

НА СТРАЖЕ – «СТРЕЛЯНЫЙ ВОРОБЕЙ»

Наконец-то произошло назначение на пост директора Службы безопасности Вены. Начальник столичной полиции Резо Дорф долгое время оттягивал решение этого вопроса. Тем неожиданнее оно оказалось. На государственную службу вернули отправленного в отставку гофрата майора Ляйтнера. Как сказал Резо Дорф: «В этой ситуации мы никак не можем отказываться от столь заслуженного офицера, "стреляного воробья", каким является гофрат Ляйтнер. Я лично просил его и в дальнейшем быть нашим деятельным соратником. Теперь он может брать быка за рога. И это именно то, что нам нужно».